СОДЕРЖАНИЕ

М. Покровский

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ЗАДАЧИ ИСТОРИКОВ-МАРКСИСТОВ

(РЕЧЬ НА ЗАСЕДАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ОТКРЫТИЮ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ ПРИ КОМАКАДЕМИИ, 18 НОЯБРЯ 1929 ГОДА)

Институт истории при Комакадемии возник как трансформация Института истории, входившего в систему РАНИОНа. Почему мы передвинули это учреждение из системы РАНИОНа в систему Комакадемии? На это были свои причины. Я должен эти причины назвать со всей откровенностью и ясностью. Долголетний опыт, опыт работы с Институтом истории РАНИОНа и в Институте истории РАНИОНа показал нам, историкам-коммунистам, что какие бы мы старания ни употребляли, но Институт истории РАНИОНа не сделается органом той науки, которую мы единственно признаем наукой и по пути которой мы можем вести подрастающее поколение историков.

Это, я должен сказать, явление вовсе не такое необыкновенное, каким оно кажется многим,—что то, что вчера считалось наукой, сегодня является уже не наукой, а в лучшем случае известной подготовкой к науке, известным собиранием материала и т. д. Позвольте напомнить вам, что во времена совсем не революционные, во времена, когда не происходило передачи власти из рук одного класса другому, такого рода явления, однако же, бывали и очень часто. Уже для Погодина в 20 гг. XIX в. Карамзин не был наукой. «Такую чепуху написал Карамзин в своей истории,—записывает 25-летний Погодин в своем дневнике,—что, кажется, остается за ним одно достоинство—искусство писать». Уже для 25-летнего Погодина, будущего профессора времен Николая I и чрезвычайно выразительного, как вы знаете, профессора для времен Николая I,—Карамзин перестал быть наукой. Значит ли это, что книга Карамзина стала совершенно пустым местом? Никак не значит. Карамзин собрал огромный материал—в особенности в примечаниях к своей «Истории»,—материал, к которому приходилось обращаться иногда и нашему поколению. До книжки Ржиги и я пользовался примечанием Карамзина, у которого была воспроизведена челобитная Пересветова. Это было в 90-х гг. XIX столетия. Как собрание материалов Карамзин известное значение сохранил, но наукой он перестал быть даже для Погодина в 1825 г.: уже в то время он не был наукой.

Когда 30 лет после этого Костомаров принял вызов на диспут с Погодиным, он вызвал негодование всей тогдашней левой общественности и всех левых ученых, негодование, резко выраженное Чернышевским: как можно выходить на диспут с таким человеком, как Погодин!? Через 30 лет сам Погодин уже не был больше наукой, несмотря на то, что за ним числилось большое количество трудов и что некоторые из этих трудов помогали и нам, когда мы готовились к магистерским экзаменам в 90-х гг. XIX в., помогали как сборник материалов. Как сборник материалов эти погодинские исследования значение сохранили. Его шеститомник русские историки знают хорошо. Но как наука—это уже не было наукой.

Мало того: прошло еще 40 лет, и в 90-х гг. XIX в.—это уже был совсем небольшой сдвиг (я стараюсь взять примеры, где всего меньше революции)—то, чему обучал В. И. Герье для школы Виноградова было не исторической наукой, а «герьеведением», чем-то совершенно особенным, что с исторической наукой ничего общего не имеет. И наиболее забавное изображение школы Герье принадлежит одному из буржуазных профессоров, который никогда марксистом не был. Он в стихах описал школу Герье и ее собрание. «Собралися во палаты все ученые кастраты». Вы помните, что Герье преимущественно занимался историей католической идеологии в средние века и написал целый ряд статей на эту тему. В этих стихах говорится.

«О святых вы что хотите
В ваших книжках говорите...
Но о прочем ни полслова,
А не то себе худого
Наживете, в том ручаюсь
И об этом постараюсь».

Эти стихи были написаны не марксистом, не марксистом тогдашним, ни будущим, а обыкновенным буржуазным профессором. Здесь «герьеведение» изображалось не как историческая наука, а как нечто весьма комическое, не имеющее никакого отношения к настоящей науке.

Стало быть, такие сдвиги, при которых то, что вчера было наукой, сегодня уже не является таковой, возможны даже в совершенно мирные эпохи.

Вы должны себе представить, какая должна была получиться пропорция, когда произошел колоссальнейший из революционных переворотов, более грандиозный по своему классовому содержанию, чем Великая французская революция, когда власть выпала из рук не только помещиков — традиционной власти, но и из рук буржуазии, которая присосалась к этой власти на минуту и целиком попала в руки совершенно резко враждебного всему старому порядку революционного класса, пролетариата. Естественно, что тут должен был получиться разрыв гораздо больший. И удивляться нуж-

но не тому, что то, что было исторической наукой в 1910 и 1913 г., перестало быть таковой в 1919—1920 и следующие годы, а удивляться надо, наоборот, тому, что окончательно откристаллизовалось сознание этого только в 1928 г., что понадобилось 11 лет после революции, чтобы осознать тот факт, что в области истории, науки марксистской по преимуществу, науки ленинской по преимуществу, дореволюционные оценки, подходы и методы абсолютно никуда не годятся. Я не могу отказать себе в удовольствии в этот вечер напомнить известные строки Ленина: «Для того, чтобы победить, надо понять всю глубочайшую историю старого буржуазного мира». Ленин непременным условием победы считает изучение до самой глубины, до самого корня, истории старого буржуазного мира. Это—наша наука, наша наука в самом настоящем смысле слова. Я уже не буду приводить другой цитаты Ленина, где он говорит, что марксизм требует безусловно исторического рассмотрения всякого практического вопроса (в данном случае — вопроса о формах борьбы). «Не понимать этого, — говорит он, — значит не понимать азбуки диалектического материализма». Кстати, так как у нас в моде был недавно еще спор о том, преподавать историю в школе или нет, то позвольте напомнить знаменитое замечание Вл. Ильича на полях тезисов Надежды Константиновны о политехнической школе, где Ленин писал, что в школе необходимо преподавать историю вообще, историю революций, историю революции 1917 г. — три совершенно четко намеченных цикла, которые, к сожалению, еще до сих пор не проводятся в наших школьных программах и которые должны, мне кажется, напомнить людям, которые протестуют против преподавания истории в нашей школе II ступени, что они просто говорят антиленинские вещи. Это—наша наука, наша основная наука, на которой мы стоим, но только через 11 лет после революции мы, наконец, догадались, что у нас нет своего центра для изучения этой науки и что центр, где занимаются этим изучением, не наш центр, а чужой центр, заполненный историками, сложившимися до 1917 г. и с историей революции 1917 г., изучения которой требовал Ленин во всех школах, не имеющими ничего общего. Я должен сказать, что эти люди могли насмеяться над нами, и в сущности смеялись. Когда мы им говорили: «Вы пишете антимарксистские вещи», они отвечали: «Мы пишем то, что писали в 1910, в 1913 гг., что же вы не справились с нашими старыми книжками, мы то же самое повторяем». Конечно, это была совершенная нелепость, что после 1917 г. повторяются те самые вещи, которые писались в 1910 г., в разгар столыпинской реакции, в обстановке, в атмосфере глубочайшего морального упадка и разложения нашей старой интеллигенции, что эти же вещи повторяются неизменно и в 1922 г. и в 1925 г.

Должен сказать, что такого малопочтенного положения не переживали другие науки. Найдите что-нибудь подобное, скажем, в философии. Найдите в философии такую штуку, чтобы основанный советской властью

Философский институт, скажем, занимался у себя культивированием идеалистической философии. Такой вещи вы не найдете. Для того, чтобы идеалистическая философия могла существовать в советской обстановке, нужно было, чтобы эта идеалистическая философия назвала себя художественной наукой и забралась в Академию художественных наук. И тогда в этой оболочке она просуществовала еще энное количество лет и была ликвидирована только совсем недавно, на глазах присутствующих. Но в своем подлинном облике идеалистическую философию, конечно, Философский институт, нами, советской властью, основанный, не потерпел бы и 10 минут.

Возьмите политэкономию. Опять-таки под оболочкой прикладной экономики, по разным практическим вопросам буржуазные экономисты продолжали развивать свои теории еще долгое время и отчасти продолжают развивать до сих пор. Это есть. Но чтобы у нас в теоретической экономии кто-нибудь дерзнул в советском институте, основанном советской властью, открыто протаскивать Бем-Баверка и т. д. — совершенно нельзя себе такой вещи представить.

А в истории такие вещи были. Это положение вещей должно было восприять свой конец. И оно, конечно, его восприяло в тот момент, когда встала проблема создания смены в области исторической науки. Когда мы увидали, что нам начинают готовить аспирантов по рецепту 1910 г., то тут даже мы, как видите, необычайно терпеливые люди, гораздо более терпеливые, чем наши друзья и соседи философы и экономисты, — в конце концов потеряли терпение и сказали: что же будет дальше, что мы будем делать с этими молодыми людьми, подготовленными по образцу 1910 г., что мы будем с ними делать, куда мы их направим, куда посадим, что они будут делать? В конце концов получилось положение почти трагическое, из которого нужно было выходить. Выходом и было решение передвинуть Институт истории из РАНИОНа в систему Комакадемии с тем, чтобы он, во-первых, попал в чисто марксистскую обстановку, в чисто марксистскую атмосферу, а во-вторых, чтобы он при этом отделался от тех своих элементов, которые уже абсолютно никакому использованию в советских условиях не подлежат, сохранив только лишь тех научных сотрудников, которые так или иначе могут быть использованы и в Комакадемии, где, как вы знаете, и по другим разрядам имеется достаточное количество работников беспартийных. Но тем не менее, конечно, во главе этого дела стали, должны были стать, историки-коммунисты.

Нужно сказать, что эта медленность имела ту хорошую сторону, что она обеспечила нам материальную базу. В самом деле, если бы мы проделали всю эту операцию, скажем, в 1922/23 г., то в значительной степени мы должны были бы оперировать в кредит и авансом, потому что тогда у нас своего кадра историков еще не было. Сейчас у нас свой кадр историков, если брать не только коммунистов, но и близких нам исто-

риков-марксистов, есть несомненно. На конференции историков-марксистов 90% всего состава членов с решающими голосами были члены партии, и 82% всех членов с решающими голосами имели печатные работы. Таким образом подавляющее большинство коммунистов, которые присутствовали, повторяю, с решающими голосами на этой конференции, имели уже печатные работы. Историческое отделение Института красной профессуры— главный источник нашей исторической литературы — дало за истекшие 10 лет около 800 всякого рода исторических работ, считая и мелкие работы — рецензии, мелкие статьи и т. д., около 300 работ более крупных и в том числе около полусотни книг. Таким образом мы имеем весьма солидную базу. Я думаю, что и в количественном чисто отношении нисколько не более слабую, чем база некоторых старых учреждений, скажем, Археографической комиссии, которая едва ли имела большую продукцию. А если вы сравните качественную сторону, то вы увидите, что здесь вещи совершенно несравнимые. В то время, как мы издаем — уже 13-я книжка вышла — руководящий исторический журнал «Историк-марксист», руководящий журнал, который дает принципиальные статьи по целому ряду вопросов, попробуйте найти принципиальные статьи в «Известиях Археографической комиссии», в журнале Исторического отделения Академии наук. Возьмите их последнюю книгу. Мы там ничего подобного не найдем. Единственная статья общего характера, какая там имеется, это статья акад. Платонова «О проблемах Севера в русской историографии», написанная, во-первых, не специально для данного издания, а попавшая туда случайно, потому что эта статья представляет собою доклад Платонова на берлинской «исторической недели». Это написано для заграницы, для Берлина, и вы ее можете найти в немецком издании, посвященном берлинской «исторической неделе». Это во-первых. Во-вторых — это единственная и, нужно сказать, полубеллетристическая статья. Все остальное — розыскания о земской печати, которая не то была, не то не была в 1610—611 г., затем чисто описательное, без всякого анализа и без всякой принципиальной оценки собрание анкет XVIII в., экономических анкет. Это очень интересная работа, но анализа там никакого нет. Чисто описательная вещь. И правильно указывают на то, что проф. Греков в этой своей работе сделал шаг назад по сравнению со своими предыдущими работами, которые носили гораздо более углубленный характер. Затем там говорится о митрополичьем суде, о судебнике Федора Иоанновича. Словом, такого рода вещи, которые имеют значение в качестве примечания к исторической науке. Это есть собрание примечаний к тексту, но это не есть сама наука, не есть нечто руководящее. А мы, худо ли, хорошо ли — для многих, конечно, худо, мы прекрасно это понимаем — но тем не менее издаем 13-ю книжку действительно руководящего исторического журнала, который имеет все большее распространение за пределами СССР, за границей, и находит

себе все больший спрос за этими пределами, где все больше и больше интересуются этим журналом.

Таким образом все основания были для того, чтобы окончательно, наконец, перевести историческую науку на те рельсы, по которым она должна была итти понастоящему с октября месяца 1917 г., но в силу разных обстоятельств, может быть даже, — я цитирую здесь Маркса, который говорил, что в начале всякого процесса даже характер действующих лиц играет некоторую роль, — может быть из-за излишней мягкости характера некоторых из действующих лиц по этим рельсам еще не шла Возможно, что благодаря чрезмерной мягкости характера некоторых людей перемена произошла несколько позже, чем следовало бы. Но «лучше поздно, чем никогда», и теперь эта перемена совершилась.

Сначала как будто имелась в виду только смена атмосферы и личного состава. Но как только мы подошли ближе к делу, мы сразу же увидели, что этим ограничиться никоим образом нельзя, и у нас получилась структура совершенно новая. Структура, по поводу которой я не знаю, — сейчас в стенах Археографической комиссии Академии наук происходят такие события, что я думаю, что обитатели этих стен вообще несколько забыли, что такое наука и пр., и думают о некоторых вещах, более относящихся к другим плоскостям, — но я думаю, что если бы они были в полном обладании своими чувствами, имели бы досуг думать о науке, они вероятно пришли бы в величайший ужас и волосы у них встали бы дыбом. Подумайте, что же это такое! Ни западной истории, ни русской истории, ни древней истории, ни средней истории, ни новой истории, ни новейшей — ничего нет! Что это такое? Мы решили таким образом организовать нашу работу в Институте, чтобы она была сосредоточена около основных нескольких крупнейших исторических проблем. И у нас получились такие секции (я иду сверху вниз): секция истории империализма, секция истории эпохи промышленного капитала, затем, секция социологическая, секция методологическая, кстати сказать, совершенно отсутствовавшая под каким бы то ни было соусом в Институте РАНИОНа и по понятным причинам, и, наконец, превращенная в секцию наша комиссия по истории пролетариата СССР. Таким образом у нас оказалось пять проблем, вокруг которых сосредоточивается исследовательская работа Института.

Соответствующим образом и наша учебная работа, т. е. подготовка аспирантуры, также группируется в секции, только несколько иначе. Создавать для аспирантуры особую секцию пролетариата СССР, вы догадываетесь, было бы в высшей степени непрактично. Это значило бы сосредоточивать молодежь на сравнительно узкой теме—на истории рабочего класса одной страны, а мы хотим готовить настоящих образованных историков с достаточно широким кругозором. Вот почему мы решили там секционное деление поставить несколько иначе.

Секция истории империализма там остается. Секция истории промышленного капитализма тоже остается, но вместо остальных секций мы ставим одну секцию (это для аспирантов) докапиталистических формаций, куда входит и этнология, и социология, и средние века, и древний мир и т. д... Таким образом, получается по учебной линии три секции. Методологическую секцию мы, конечно, сохраняем и по учебной линии, но думаем, что в этом разрезе придется вести работу совместно с Институтом философии. Пока мы еще окончательно не оформили наших отношений, но думаю, что тут придется какую-то межинститутскую секцию создать, где была бы и философия, была бы и история. Одним историкам эту секцию нельзя поднять, одним философам — тоже нельзя поднять. Так что у нас учебное деление несколько отличается от деления исследовательского, но ни то, ни другое деление не совпадают со старыми рубриками. Конечно это величайший скандал с точки зрения учреждений, в роде Археографической комиссии, и если она не замечает этого, то только потому, что люди, потрясенные очень сильными впечатлениями, не замечают впечатлений мелких. Когда в человека стреляют из пулемета, он забывает, что у него болят зубы, ему уже не до того.

Я заранее предвижу некоторые возражения по этой линии, которые слышались и в нашей среде, когда мы устанавливали это деление. Первое: нельзя быть специалистом по истории промышленного капитализма вообще. Конечно, нельзя. Но как вы думаете: специалистом по новой истории вообще можно быть? Тоже нельзя. Это совершенно ясно. Нет таких людей, которые были бы одновременно специалистами и по крестьянской войне в Германии, скажем, и по истории Французской революции, а и то и другое относится к новой истории. Можно быть специалистом по Французской революции, а по Германии XVI в. будут другие специалисты. В порядке исследовательском нельзя быть специалистом и там и тут одинаково. Само собой разумеется, что это деление на секции описанного мной характера вовсе не означает, что человек, в данной секции состоящий, будет специалистом во всем об'еме этой секции, по всему промышленному капитализму, скажем, или по всем докапиталистическим формациям. Тема его исследовательской работы будет, конечно, гораздо уже, как она всегда была гораздо уже академической марки того или другого историка. Вы думаете, что Ключевский был специалистом по всей русской истории? Он был специалистом, величайшим специалистом по социальной истории старого русского государства, преимущественно Московского государства со второй половины XVI в. Но кто прочтет его лекцию относительно декабристов, согласится, что даже для того времени, времени 80-х гг. XIX в., Ключевский специалистом по декабристам не был, иначе он не писал бы тех странных вещей, которые там написаны, вроде того, что в общество декабристов входили молодые люди без всякого опыта и знаний

в государственных делах. А там был целый ряд генералов, полковников, были статс-секретари, обер-прокурор Сената, были люди с громадным практическим стажем, как Батенков и др. Все это можно было знать в 80-х гг. XIX в., списки декабристов тогда существовали. Человек не знал об этом и написал такие странные вещи. Ему казалось, что декабристы были чем-то вроде народовольцев, или их предшественников, — кружка чайковцев. Я уже не говорю, что вся история внешней политики целиком была вне поля зрения Ключевского, и то, что он по этому поводу говорил в своих лекциях, не выходило за масштаб школьного учебника. Ключевский не был специалистом по всей русской истории и таким не мог быть. У всякого есть своя тема. Если Ключевский был специалистом по социальной истории Московской Руси и отчасти XVIII в., то В. И. Семевский был специалистом по истории крестьянства XVIII и XIX вв. плюс история революционного движения — декабристы, петрашевцы и т. д. Само собой разумеется, что темы специальных исследований будут гораздо у́же наших секций и не могут не быть у́же. Они будут охватывать только специальные вопросы, входящие в ту или другую секцию. И я могу обрадовать тех, кто может быть несколько удручен этими перспективами, что у нас на этой почве возникнут и русская история и западная и т. д., т. е. возникнут в процессе исследования, в разборе тем. Если человек возьмет темой происхождение крепостного хозяйства в Московской Руси, это будет тема по старой русской истории, тема совершенно законная и тема, которая войдет в нашу секцию докапиталистических формаций несомненно. В этой плоскости, конечно, старое деление до известной степени сохранится, но не старое деление схоластическое, по таким-то дисциплинам, а старое деление в выборе специальных тем для исследования.

Я должен привести еще другой аргумент в пользу этого деления. Оно — это я уяснил пост-фактум, после того как у нас все это было решено здесь — оно чрезвычайно популярно среди естественников и очень крупных. Совершенно с таким же проектом группирования работ Академии наук не около формальных наук, а около проблем, выступили в заседаниях организационной комиссии Академии наук академики Вернадский и Левинсон-Лессинг. Это была удивительная вещь, когда мы, марксисты, идя со своей стороны, встретились с такими людьми как Вернадский и Левинсон-Лессинг — крупнейшими учеными, но не имеющими ничего общего с марксизмом. Они тоже самое говорили: «Позвольте, разве можно заниматься одной геологией? Всякий геолог обязательно соприкасается с физикой и химией, без этого нельзя представить геолога». Несомненно, говорили они, что следует группироваться вокруг проблем, а вовсе не по формальному признаку научной «дисциплины», хотя в естествознании формальные рамки дисциплины гораздо более твердо сложились и гораздо более разумны, чем наши «древняя», «средняя», и «новая» истории, где хроно-

логические границы устанавливаются совершенно произвольно, по случайным событиям, казавшимся очень важными триста лет назад.

Так что и эта идея, как и то, что то, что было наукой, становится в следующем поколении не наукой, не есть какая-то зловредная выдумка большевиков. Распределение научных занятий между определенными проблемами не есть зловредная большевистская выдумка, а есть просто проявление известного прогресса в науке, прогресса, который сказывается по своему и в науках естественных. Мы уверены, что это деление будет в достаточной степени прочно и несомненно оправдает себя. Такова наша структура.

Что касается наших задач, об этих задачах мне приходилось говорить и писать очень много. То, что я писал, я повторять не буду, скажу только то, что с этой трибуны я говорил не раз, что история есть самая политическая наука из всех существующих. История это есть политика прошлого, без которой нельзя понять политику настоящего. Попытайтесь взять любое из явлений окружающей нас действительности, и вы не поймете его без исторических корней.

Ту социальную реконструкцию, которая вокруг нас происходит, вы не поймете, не взяв всей истории советской власти, всей истории советского пролетарского государства, как она сложилась, начиная с Октября 1917 г.

И одна очень интересная историческая проблема это—анализ теперь, с точки зрения наших теперешних достижений, тех первых попыток социалистической реконструкции, которые к величайшему удовлетворению нэпманов потерпели как-будто неудачу в 1921 году. Ну, нэпманы, я думаю, теперь поняли, что неудачи никакой не было, я думаю, что сейчас на эту тему распространяться не приходится. Но факт тот, что эти первые попытки реконструкций теперь становятся страшно интересными. Интересно выяснить, чем об'ясняются их неудачи теперь, когда мы знаем, что в СССР существуют буквально сотни людей, сейчас, к концу 1929 г., систематически занятых тем, чтобы срывать производящуюся здесь работу, когда мы знаем, что у этих людей есть прекрасная организация, что они располагают всем необходимым материалом и действуют по плану, в плановом порядке, рассчитанном при том на годы, кажется не на пятилетку, а на гораздо больший срок (смех). И когда мы это знаем, то, повторяю, исследование причин наших неудач 10 лет тому назад очень интересно, потому что если теперь есть сотни таких людей, то я очень сильно подозреваю, что тогда их было тысячи, а может быть десятки тысяч.

Таким образом, повторяю, даже в пределах этого тесного куска, небольшого куска истории,—советской истории—исторический анализ представляет собой громадный интерес. Возьмите проблему современной деревни, проблему нарастания своеобразного мужицкого капитализма, с которым теперь мы начали настоящую борьбу. Конечно, он разросся

с гораздо более глубоких корней, и нельзя его считать только продуктом нэпа. По случайным сообщениям приходилось узнавать, например, о росте кулачества еще в 1918—1919 г., а что влияние столыпинской традиции у нас доходило до местных органов Наркомзема совсем недавно, это вы все читали в газетах.

Итак, история, политика прошлого, чрезвычайно тесно увязана с политикой настоящего. Оторвать историю от этой политики совершенно невозможно, и, само собой разумеется, что мы постараемся, чтобы будущее поколение историков, которое не только идет за нами, но которое, как я говорил в одной статье, уже пришло, уже работает с нами, было на все сто процентов нашим. Многие из этих «молодых»—уже настоящие, сложившиеся работники, дающие солидную научную продукцию, и мы, конечно, должны для них создать настоящую здоровую политическую атмосферу, большевистскую атмосферу. Для этого мы и перевели эту работу в стены Коммунистической академии, в учреждение, которое никогда не скрывало своей политической физиономии, которое всегда открыто и прямо выступало как орган определенного боевого миросозерцания и всегда таким будет.

Я глубоко убежден, что таким органом будет и составная часть Коммунистической академии—ее Институт истории—и что он будет выпускать в качестве своих питомцев настоящих бойцов за большевизм, за лучшее будущее всего мира, настоящих бойцов в рядах пролетарской армии.

Ц. Фридлянд

МАРКСИЗМ И ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ [1]

Теоретические споры между историками пролетариата и буржуазии не есть только абстрактно-логические споры. Речь идет о проблемах огромной методологической и политической ценности. В настоящее время больше, чем когда-либо, критика теоретического оружия классовой борьбы сопровождается кровавой *критикой оружием*. Верховным арбитром в теоретической дискуссии враждебных друг другу классов являются в конечном счете *ход и исход революционной* борьбы.

В классовой ясности и политической целеустремленности сила всякой идеологии. Особенно ценно поэтому признание части буржуазных историков, что их историческая наука, это—«политика, опрокинутая в прошлое»; они поэтому решительно отметают представление об истории, как «аполитичной» и «об'ективной» истории. Так, для G. von Below'a ясно, что мы должны в настоящий момент «самым решительным образом отбросить утверждение, построенное на применении формального метода, тех кругов, которые претендуют на представительство вполне «беспартийной истории», «чистой науки». «И это тем более необходимо,—замечает Белов,—что за всем этим нередко скрывается заостренная партийность». Он идет дальше, повторяя вслед за другими историками: «Der Mut des Bekentnisses zur Notwendigkeit gerade politischer Besinnung hat alle grossen Historiker erfüllt».

Таким образом так называемая «об'ективность», отказ от политических задач исторического исследования в настоящее время—пережиток исторического прошлого или оборонительного оружия буржуазного историка в борьбе с пролетариатом. «Беспристрастную» историю представляют в наши дни или ученые типа Глооца, специалиста по древнему миру, который на весенней сессии Международного комитета в Венеции предлагал историкам всего мира, приступая к исследованию, «исповедываться перед самим собою», или это удел мелкобуржуазных, в том числе социал-демократических, историков, которые повторяют зады ушедшей в прошлое либеральной историографии. В большинстве случаев мы имеем здесь дело с партийностью самого низкого пошиба...

---

[1] Доклад, читанный при открытии Института истории, 28 ноября 1929 г.

Но то, что для историка буржуазии является произвольным толкованием прошлого, его антинаучным истолкованием с известной практической целью, для историков пролетариата—лишь разрешение теоретической задачи, подлинно научное понимание законов развития классового общества. Историкам-марксистам необходимо поэтому строго следить не только за количественным расширением и накоплением своих знаний, но и за теоретическим оформлением и уточнением своей методологии познания прошлого. Руководящим положением могут и должны служить для нас следующие слова Н. Чернышевского.

«Без истории предмета нет теории предмета, но и без теории предмета нет даже и мысли о его истории потому, что нет понятия о предмете, его значении и границах».

Само собою понятно, что нам необходимо ограничить свою задачу; в одном докладе мы отнюдь не имеем в виду дать характеристику всей исторической литературы последнего десятилетия в ее отношении к марксизму. Мы имеем в виду изложить взгляды лишь отдельных, да и то не основных, а наиболее характерных представителей философско-исторической и конкретно-исторической мысли последнего десятилетия и оценку ими марксизма, как методологии истории. Поэтому такую огромную по своему значению и интересу тему, как вопрос о методологии истории у Макса Вебера или Вернера Зомбарта, мы оставляем в стороне. Мы будем иметь дело с более второстепенными, но отнюдь не менее характерными образцами современной буржуазной историографии. При этом необходимо оговориться, что мы вынуждены будем оставить в стороне анализ *системы взглядов* каждого из разбираемых нами авторов, а тем более решение огромной задачи положительной постановки основных проблем подлинно марксистской методологии истории.

Отметим прежде всего диспропорцию между тем местом, которое европейская литература уделяет марксизму в теоретико-исторических произведениях, с одной стороны, и в общих сводных работах по историографии, с другой стороны. Первые имеют своим «центром» марксизм. Их авторы строят свои системы, исходя из критики марксизма. Системы эти при всем своем разнообразии и кажущейся самостоятельности представляют собою как бы своеобразный «антимарксизм». Второй род работ—сводные и справочные книги по историографии — пренебрежительно отводят марксизму три-четыре строки. Я имею в виду, скажем, книги М. Риттера «Die Entwicklung d. Geschichtswissenschaft» (1919), где о Марксе упомянуто только в связи с Лоренцом Штейном, или вышедшую в 1925 г. в серии Белова и Майнеке книгу Ed. Fueter'a—«Geschichte der neuen Historiographie», где Марксу отведено пять строк петитом и при том сказано, что марксизм до сих пор не дал ни одного подлинно-исторического произведения, или, наконец

вышедшую в 1927 г. в издании «Revue Historique» —«Histoire et Historiens depuis cinquante ans», где России посвящена большая статья Н. Кареева.

Мы не можем здесь обойти молчанием последнюю статью, потому что она сознательно вводит в заблуждение европейское общественное мнение. Н. Кареев пишет только о русских исторических работах, вышедших до 1914 г., или упоминает из книг, вышедших за последние десять лет, только те работы, которые ничего общего с марксизмом не имеют. Когда он рассказывает о работах по русской истории, он уделяет две-три строки М. Н. Покровскому и Рожкову, причем говорит о них буквально следующее: «Les historiens marxistes s'occupent aussi de la feodalité au Russie, a qui n'était pas auparavant communié opinio doctorum»...

Подобное же «об'ективное» освещение русской исторической науки дано им совсем недавно в очередных рецензиях, посвященных книжкам Попова—Ленского и Сказкина в октябрьском номере французского журнала «Revue Historique». Н. Кареев пытается изобразить работы этих историков как типичные для нашей исторической науки революционной эпохи... Но это свидетельствует о странном понимании им марксизма и нашей науки...

Различная оценка европейскими историками марксизма зависит от социально-политической физиономии каждого из них. Мы могли бы свести их примерно к двум группам: одна—отрицает за марксизмом всякое значение научного метода. Я имею в виду философа Шпанна, историков Белова, Эд. Мейера, Дельбрюка; другая—готова признать заслуги марксизма перед наукой—Брейзиг, Трельч, Зомбарт, М. Вебер, Олар и т. д.

Шпанн в своей книге «Der Wahre Staat» (1923) и в 1928 г., в книге «Gesellschaftsphilosophie» утверждает, что «пора раз навсегда прекратить всерьез разговоры о марксизме как о научной системе».

Это повторяет и Дельбрюк в своей статье «Die marxistische Geschichtsphilosophie» (1920) «Маркс и все его молодцы думали философствовать по поводу истории, но они при этом не изучали истории. Они не историки». Таково категорическое утверждение этой реакционной группы философов и историков буржуазии.

Белов в своей нашумевшей книге «Die deutsche Geschichtsschreibung», вышедшей вторым изданием в 1924 г., ставит экономическое учение Маркса в связь с германской историко-романтической школой начала XIX в. Он пытается обосновать необходимость возрождения неоромантической методологии истории и утверждает, что экономические взгляды Маркса неоригинальны: они заимствованы у национальной и антиреволюционной школы прусских историков и экономистов, которые вели, по его мнению борьбу с диктатурой деспотизма «права». Для него собственно отцом подлинной исторической науки является Эд. Бёрк, вождь и теоретик контрреволюции конца XVIII в. Белов находит исторически бессмертные мысли «Коммунистического манифеста» в работе историка романтического направления Раумера, в

его книге, вышедшей в 1851 г. («Die Insel Wollin und das Seebad Misdroy»). Стоит только, — утверждает Белов, — заменить в работе Раумера слово «Geldreichtum» словом «капитал», несколько заострить его формулировки, перевести их на язык политического агитатора, и мы получим хорошо знакомую схему «Коммунистического манифеста»...

Отрицая научную ценность за марксизмом, как методологией истории, эта группа историков-реакционеров говорит о марксизме исключительно как о политическом учении, вернее, даже как о политической программе. Они впадают таким образом в логическое противоречие: марксизм—«жаргон агитатора», и в то же время указанные историки готовы преувеличить удельный вес марксизма, как решающего политического фактора современности. «Марксизм имеет,—утверждают они,— тлетворное влияние на человеческое сознание наших дней», но его мощь растет из современного духа материализма и экономизма, из этого, что Шпанн называет «Verwirtschaftlichung».

Более интересны рассуждения другой группы историков и философов, чье «об'ективное» сознание не затуманено задачами непосредственной борьбы с пролетариатом,—аргументы тех, кто пытается по крайней мере теоретически рассуждать. Я имею в виду работы социолога Брейзига, исключительно интересную книгу Э. Трельча «Historismus» или конкретно-исторические работы Зомбарта, Макса Вебера, Допша, Пиренна и др. Мы конечно не сможем в нашем докладе проанализировать взгляды каждого из них. Придется ограничиться краткой характеристикой отдельных произведений. Немецкий социолог Брейзиг повторяет вслед за Беловым и Шпанном, что марксизм—классическое и наиболее полное выражение «духа современности». К. Маркс рассматривал исторический процесс не со стороны индивидуально-творческих проявлений, заложенных в каждом человеке, его инстинктов борьбы за существование (Selbsterhaltung), его стремлений к Selbsterreicherung, наконец его борьбы за саморасширение (Selbsterweiterung), а со стороны того, что социолог Брейзиг называет Sachgeschichtliche Geschichtsauffassung. Т. е. марксизм имеет в виду такое рассмотрение истории, при котором ее движущие силы мы находим не в «личном», а во «в н е л и ч н о м», в «вещном или вещно-осознанном». Для Брейзига ясно, что с подобными стремлениями марксизма надо бороться во имя «национального самосознания», тем более, что взгляды Маркса коренятся в политической и социальной борьбе современности. «К. Маркс,—утверждает Брейзиг,—и его историческая концепция тем самым вырастают в «Демона наших дней». Причем сам Маркс стал жертвой этого «Демона», принеся себя на заклание экономической трезвости и практической полезности». Но сын современности, Марк одновременно сын Гегеля, правда «пожравший своего отца». («Vom geschichtlichen Werden», B. II. «Die Macht des Gedankens in d. Geschichte»).

Более интересны высказывания одного из наиболее глубоких представителей современной буржуазной философско-исторической мысли на За-

паде—Эрнста Трельча. Я имею в виду его книгу «Historismus und seine Probleme». Трельч ближе, чем другие, подошел к пониманию роли и значения марксизма как революционной диалектической системы взглядов в их применении к изучению истории. Для него экономическое об'яснение истории, несмотря на все свои преувеличения, исключительно продуктивное философское открытие, так как марксизм взял установку на изучение динамики жизненных отношений, которые в конечном счете придают истории, по его мнению, «более прочный, более глубокий, более широкий характер живого и в то же время предоставляют историку возможность и уверенность для расчленения этого живого». Э. Трельч этим об'ясняет огромное методологическое значение марксистского учения о базисе и надстройке, его значение для конкретного анализа фактов прошлого. «Нигде Маркс,—читаем мы у Трельча,— не проявил свой столь острый взгляд, как в этом вскрытии взаимоотношений базиса и надстройки, в сведении всего политического, этического и религиозного пафоса к материальным классовым интересам».

Эрнст Трельч один из очень немногих в буржуазной философско-исторической литературе обратил внимание на ценность отдельных конкретно-исторических произведений Маркса, в частности его работ о революции 48-го года. Но, как мы увидим дальше, его непонимание марксизма начинается там, где кончается понимание марксизма всеми остальными— в вопросе о практической обоснованности, а главное методологической ценности учения Маркса о революции в применении к конкретно-историческому анализу.

Мы не можем однако не отметить уже здесь, что наше деление буржуазной историографии в ее отношении к марксизму на две группы несколько искусственно, ибо, скажем, такой радикальный представитель исторической науки, как Олар, который по своим политическим симпатиям как будто ничего общего не имеет с группой Дельбрюка, Белова и т. д., все же считает необходимым заявить, что «Маркс не имел терпения изучать истории Французской революции и что он ничего не понял в истории революции». В отношении к марксизму, как к революционному учению, буржуазная историография при всех частных разногласиях занимает в основном одну общую, враждебную позицию.

Центральным спорным вопросом между марксизмом и европейской историографией является вопрос о диалектике. Это сближает научные споры в исторической науке со спорами в других областях знания. Повсюду идет борьба за и против диалектики. Посмотрим, как этот вопрос разрешается различными группами историков и философов от истории наших дней.

Для Белова, как и для всей школы так называемых «неоромантиков», характерно отрицание значения диалектики в ее применении к истории.

Белов утверждает, что, вообще говоря, влияние Гегеля в исторической науке XIX—XX вв. было или ничтожным по своему удельному весу, или «неволей» (Zwang) для исторической мысли. В известном отношении это можно сказать, утверждает Белов, о философской мысли вообще в ее применении к историческому исследованию. «Die dialektische Methode Hegels erfasst nicht das ganze Leben» (Диалектический метод Гегеля не охватывает всей жизни), таково мнение Белова. Этот аргумент против гегелевской диалектики, применяемой Марксом, представители этой школы усиливают одновременно двумя дополнительными «аргументами»: а) диалектика Маркса, вообще говоря, ничего общего не имеет с «духом учения Гегеля», хотя обычно все утверждают обратное (см. Шпанн в книге «Gesellschaftsphilosophie», (1928 г.). Для Шпанна историческая диалектика Маркса представляет собой «злоупотребление диалектическими приемами»; б) марксовская диалектика— и это основное возражение—«диалектика механического порядка». Но «идея развития Гегеля с механической идеей Дарвина и Маркса, с которой раньше их часто связывали, не имеет ничего общего» (Шпанн). Любопытно однако, что одновременно с обвинением марксизма в «механичности» представлений о диалектике исторического процесса эта школа обвиняет нас заодно и в том, что мы привносим в историческое исследование «политическую волю» и «суб'ективные» взгляды определенного класса.

Таким образом, говоря о марксизме, как о методологии истории, в ее отношении к диалектике, реакционная группа буржуазных историков разграничивает в нашем методе три момента; а) «учение о среде», т. е. учение о роли экономического фактора в историческом процессе, б) собственно диалектический метод анализа конкретных фактов и, наконец, в) учение о классовой борьбе в ее революционной трактовке.

Так или иначе, соглашаясь признать научное значение за первым моментом, за экономическим исследованием прошлого, буржуазная историография отбрасывает или идеалистически толкует второй момент—диалектику— и решительно отрицает последнюю «часть» нашей системы взглядов.

Обратимся к другой группе философов и историков—той, которая готова оценить и признать исторические заслуги марксизма. Брейзиг и Трельч, как мы отмечали выше, признают, что центральным ядром марксистской исторической системы взглядов является учение о диалектике. Брейзиг посвятил второй том своего исследования критике диалектического метода Маркса и Гегеля. Но критикуя марксистскую диалектику, он защищает Маркса от обвинений в том, что у него «триада» служит ключом к анализу исторических явлений. «Als regelsetzende Figur des geschichtlichen Geschehens ist das Dreischrittgesetz mithin auch hier nicht benutzt», утверждает Брейзиг.

Но установив эту «сб'ективную истину», Брейзиг толкует гегелевскую диалектику истории не как борьбу противоречий, а как столкновение

противоположностей,—Gegensatz und Widerspruch. «Частная собственность в истории,—по его мнению,—ist nur konträr коммунизму, но не kontrodiktorisch». Диалектика К. Маркса поэтому, с точки зрения Брейзига, неприемлема для анализа отдельных исторических фактов и особенно сложных исторических явлений. Мы позже увидим, какое огромное значение имеют все эти споры для методологии истории.

Роль диалектики в марксизме и революционная трактовка отдельных конкретно-исторических фактов более понятны Е. Трельчу, чем его коллегам по классу, хотя и он решительно отбрасывает эту систему взглядов. Присмотримся несколько ближе к аргументации Трельча.

Для Е. Трельча сущность марксизма как методологии истории в диалектическом методе—«Die ökonomisch-sozial erweiterte und antiideologisch umgestülpte Dialektik ist der Kern des Ganzen».

В этом сила Маркса, как историка. Э. Трельч согласен с Брейзигом, что в марксистской диалектике истории сохранилась и развита была гегелевская диалектика, но он продолжает свою мысль и заявляет, что Маркс пошел дальше Гегеля в том, что превратил его мистическую диалектику исторического процесса в «реалистическую диалектику», а главное в том, что он стремился «über Hegel hinaus»,—к новым целям, к подлинно-практическим целям революционной борьбы.

Таким образом для Э. Трельча революционные задачи Маркса, революционная часть его учения не есть нечто, вне всей его системы историко-методологических взглядов находящееся, нет, они включены в его методологию истории, они его составная часть и служат Марксу как «реалистическая, на практические цели направленная диалектика» не только в повседневной борьбе, но и при теоретическом и конкретно-историчеком анализе и синтезе. Э. Трельч отчетливо подчеркивает отличие исторической диалектики Маркса и Гегеля по четырем пунктам: а) у Маркса мы имеем дело с «реалистической диалектикой», которая «ist verkoppelt mit einem revolutionären Naturrecht»,—иначе говоря, Трельч отмечает существование органической связи между представлением Маркса о диалектике исторического процесса и его, как он говорит, «методом революционных предсказаний и абсолютистских требований»; б) диалектика у Маркса «экономизирована»; в) диалектика лишена своего духовного существа—она натурализирована; г) диалектика противоречий формально-логического свойства превращена Марксом в реальные противоречия классового порядка исторического процесса.

Я не буду здесь анализировать ошибочные представления Трельча о сущности диалектики. Мне важно отметить, что в оценке революционного содержания исторической диалектики Маркса Трельч пошел дальше, чем все его ученые коллеги. Он оставил представление о «механической природе» марксовой диалектики. Он понял, что революционное содержание марксистской диалектики истории—высший пункт ее научного анализа. Трельч счи-

тает наконец необходимым подчеркнуть, что даже наиболее острый пункт политического учения Маркса—диктатура пролетариата—вместе с тем один из решающих пунктов методологии истории у Маркса. Трельч понял, что для марксистов «диктатура пролетариата» не только политическая программа, но и решающее принципиальное положение огромного методологического значения, «von grosser wissenschaftlicher und begrifflich symptomatischer Bedeutung».

Дальнейшие рассуждения Трельча обнаруживают, однако, его классовую ограниченность. Более или менее об'ективно излагая сущность историко-методологических взглядов марксизма, он не видит того, что является, по существу говоря, сердцевиной марксистской исторической диалектики. По мнению Трельча у Маркса нехватает ясного представления о «диалектических переходах». Гегелевское учение о процессе «снятия противоречий» в истории, по его мнению, остается у Маркса словесным. «Маркс,—пишет Трельч—попросту прервал свои идеи о развитии революционным рационализмом». Таким образом даже один из наиболее острых умов в рядах буржуазных историков и философов от истории вынужден в конечном счете сам себе противоречить. Он обнаружил таким образом непонимание марксизма, непонимание одной из наиболее сильных сторон его системы исторических взглядов.

Трельч отмечает еще одно важное положение марксизма как методологии историй—возможность на его основе преодолеть риккертианство. Маркс впервые, по словам Трельча, «примирил значение социально-типичного и индивидуального»,—разрешил задачу, которую ставит себе, но не может разрешить вся современная буржуазная историография. Марк, по Трельчу, стремится понять в истории всякий конкретный акт не только как «индивидуально-своеобразное состояние духа, но как конкретное социально-экономическое образование». Этим самым марксизм в основном разрешает вопрос о «генерализирующем» и «индивидуализирующем» аспекте рассмотрения исторических фактов.

Марксизм, имея в виду изучение отдельных ступеней экономического развития и прежде всего капитализма (здесь Трельч показывает, какое огромное значение имеет в марксизме учение об экономических формациях) рассматривает его не под углом зрения «приспособления к данному историческому моменту общего психологического закона» и не сводит его к уяснению природы отдельных актов «путем простого сравнения общих тенденций развития». Марксизм имеет в виду изучение «конкретно-индивидуальных исторически-одноактных образований внутри общего исторического процесса». Это и делает возможным для Маркса синтетически об'единить анализ исторических фактов в их индивидуальной конкретности и социологическое об'яснение этих фактов в их типичности. В этом, по Трельчу, сила диалектики Маркса.

Трельч, наконец, обратил внимание еще на одну сильную сторону нашей диалектики: учение о классовой борьбе в истории Марксом взято во всей ее многогранности («с материальной и идеологической стороны») и связано у Маркса, как мы сказали бы, с «определенными историческими битвами, свойственными развитию производства». Правда, Трельч только обратил внимание на это положение, но отнюдь не вскрыл его содержания, потому что в противном случае он не вернулся бы к утверждению, что «монистически-диалектический метод Маркса, к сожалению, отрицает роль всех надклассовых интересов, чувства взаимности, этических ценностей в истории». Трельч скорбит по тому поводу, что марксизм видит разрешение всех противоречий в истории «исключительно с помощью революции». Он с собой решительностью, в своей классовой ограниченности и логической непоследовательности, возражает против утверждения марксизма, что «бесклассовое общество может родиться из классового общества», т. е., иначе говоря, снова обнаруживает свое непонимание «учения о переходах» в общем процессе диалектического развития истории.

Но, подводя итоги, мы все же не можем не обратить ваше внимание на то, что Трельч—и в этом сильная его сторона—рассматривает в своей книге марксизм как методологию истории в е е ц е л о м, как систему революционно-диалектических взглядов. «Попытка,—говорит он,—унаследовать одну из сторон и частей этого учения, скажем экономический материализм без революционной диалектики, у многих писателей, отнюдь не есть марксизм». При подобных попытках исчезает основное,—система марксистского об'яснения истории. «Die Entwicklung wird Einzelentwicklung». Марксизм в этих случаях заменяется «формальной социологией». Под этим углом зрения Трельч и рассматривает учение Тенниса, Зомбарта, Макса Вебера. Иначе говоря, для Трельча взгляд этих авторов не результат победы марксизма, а плод его р а с п а д а, как революционно-диалектической методологии истории. Трельч, подобно всем его реакционным коллегам, не видит и не желает видеть начала новой эры расцвета революционно-марксистской историографии.

Нет никакой возможности в одном докладе остановиться на анализе всех исторических школ, которые в настоящее время живут крохами марксизма. Обратим внимание на работы отдельных авторов.

Прежде всего следует отметить произведения тех, кто готов признать роль и значение «экономического фактора» в истории. Я имею в виду прежде всего работы H. Sée, работы, не блещущие богатством идей, но многочисленные и интересные тем, что их автор—один из немногих во Франции—проявил большой интерес к вопросам методологии истории. H. Sée—энергичный сотрудник журнала «Revue de sintése historique». Сэ отмечает рост интереса за последнее десятилетие к экономической истории. Это по мнению H. Sée, об'ясняется прежде всего тем, что «ряд историков,

без различия партий, захвачены идеями марксизма, подлинно плодотворными для изучения прошлого, вопреки своим преувеличениям». Собственно, таково же мнение Олара. Их мнение мы можем подтвердить выходом за последние годы нескольких новых историко-экономических журналов. Я имею в виду журналы в Оксфорде («Economie History Rewiew»), в Бостоне («Journal of Economie and Busines History») и в Страсбурге («Annales d'Histoire économique et sociale»), а также богатую литературу по разнообразным вопросам хозяйственной и социальной истории. Следует, однако, заметить, что у буржуазных историков нередко этот интерес к хозяйственной истории сочетается с отрицанием классовой борьбы и диалектики революционного развития. Анри Сэ и Олар утверждают даже, что «до сих пор история не сохранила нам воспоминания о революции, которое было бы в прямом смысле слова борьбой враждебных классов» (?!).

Но само собой понятно, что подобная антинаучная и противоречащая элементарным историческим фактам постановка вопроса не разрешает самой проблемы о взаимоотношении экономического и социального в истории. Отсюда естественный интерес к этой проблеме в современной историко-методологической литературе. Анри Сэ, Зомбарт, Брикман и многие другие заняты разработкой этого вопроса. В статье Анри Сэ «Rémarques sur la méthode en histoire économique et sociale» мы находим указание на то, что специализация исторического исследования усиленно требует теперь более, чем когда-либо, синтеза. Но «sintése historique» предполагает, что разграничение экономических и социальных феноменов в истории—чистейшая абстракция. Поэтому экономическую и социальную историю, заявляет Сэ, следует включить в одну «общую историю». Он пытается изучать ее с помощью «открытого» им сравнительно-исторического метода. Этот метод сводится к сравнению: а) истории разных стран и эпох; б) разных эпох в истории данной страны друг с другом и в) к оформлению общеисторического синтеза. Но поскольку Анри Сэ лишь механически соединяет экономическую и социальную историю в «общей истории», поскольку он не дает нам диалектического представления о связи того и другого в историческом процессе, иначе говоря, поскольку его сравнительно-исторический метод не построен на монистической основе, поскольку он предпочитает вульгарный плюрализм и эклектизм методу диалектического материализма,—он лишает свою методологию истории, а также свой сравнительно-исторический метод всякой базы: последний превращается у него в сумму произвольных приемов «описания» прошлого. Стоит только провести один-два примера из многочисленных исторических, нередко компилятивных работ Сэ, чтобы в этом убедиться. «Можно ли,—спрашивает Сэ в своей последней книге по экономической истории Франции,—об'яснить ее хозяйственное развитие в XVI в. без анализа предшествующих политических событий столетней войны?» Конечно, нет! ответим мы. Но, несмотря на раз-

личие политических событий в жизни отдельных европейских государств XVI столетия, мы выясняем, а с нами и Сэ, то общее, что характеризует экономический и социально-политический строй XVI в. Следовательно, разнообразные политические факты истории не предрешают вопроса об общем характере социально-экономического развития европейских государств? С большим основанием можно утверждать противоположное, что своеобразие общего хозяйственного развития отдельных стран определяет и своеобразие их политической истории.

Или вот второй пример. «Можно ли понять экономическое развитие Франции после 1815 г. без революции конца XVIII в.?»—спрашивает Сэ. Очевидно, нет. Но можно ли свести Великую французскую революцию к сумме конкретных актов политической борьбы, не установив при этом характера экономических процессов самой революции, т. е. классовой борьбы, в результате которой и сложилась Франция послереволюционных лет? Иначе говоря, можем ли мы говорить о революции, не ставя вопроса о перераспределении собственности между отдельными классами в ходе революции, а следовательно и вопроса о «перераспределении власти» в этой революции? Эти два примера, как и множество других, свидетельствуют о беспомощности и примитивности эклектической методологии истории у Сэ.

К столь же мало утешительным выводам мы приходим при анализе и других, гораздо более серьезных, творческо-самостоятельных исследований европейских историков последнего десятилетия. Я имею в виду работы Допша и Пиренна, их историко-методологические взгляды. Допш, как и Сэ, ставит перед собой проблему о «взаимоотношении хозяйственной и социальной истории». Обратимся прежде всего к двум статьям Допша: к дискуссии его с Зомбартом и к статье «Zur Methodologie der Wirtschaftsgeschichte» (см. Сб. «Verfassungs-und Wirtschaftsgeschichte d. Mittelalters»).

Допш прав: надо заново написать хозяйственную историю. Как же думает он совершить эту революцию в исторической науке? «Прежде всего необходимо, заявляет он, раз навсегда осознать целесообразность и неизбежность разграничения хозяйственной истории и истории права». Более того, надо усилить связь хозяйственной и социальной истории. Для подобной истории, пишет Допш, «Tür und Tor auf».

Социальное рассмотрение экономических феноменов гораздо ценнее, по правильному утверждению Допша, чем рассмотрение этих же фактов под углом зрения национальных, религиозных, психических и т. д. особенностей. «Die soziale Betrachtungsweise hat so mancher Erscheinung der Wirtschaftsgeschichte eben durch die gesellschaftliche Einordnung erst den richtigen Platz angewiesen und als typische Form bestimmter ökonomischer Vorbedingungen erkennt».

Таким образом социальный анализ определяет место конкретного акта экономической истории в общей истории. Но говоря о «социальной истории»,

Допш, как и все его коллеги, отнюдь не имеет в виду классовой истории. Он, как и Сэ, не говорит нам о том, что следует понимать под «социальным». Вот почему он снова и снова возвращается от социально-экономического об'яснения истории к аргументам о разнообразной психологической мотивизации социального поведения.

Собственно основное, что отличает систему взглядов Допша, а вместе с ним и всех остальных историков хозяйства наших дней,—это защита вульгарно-эволюционистской антидиалектической точки зрения на исторический процесс. Вот утверждение Допша, которое с полной очевидностью вскрывает сущность его методологии истории и его разногласий с Марксом:

«Я верю,—пишет Допш,—что историк экономического развития больше, чем кто-либо другой, должен дать себе отчет в богатстве и разнообразии движущих сил исторического процесса в его целом. Он должен больше других опасаться впасть в односторонность и переоценку отдельных мотивов, в схематизм. Он должен в своей работе считаться с тем, что различные социально-экономические системы исторически сосуществуют, и должен будет поэтому отказаться от старых представлений, что всякое новое в истории должно проложить себе дорогу в борьбе с ему враждебными до сих пор существовавшими и его окружающими отношениями, чтобы обосновать свое единовластие. Но прежде всего, отдельные принципы социально-экономической организации никогда и нигде не существуют в чистом виде, а следовательно нельзя соответственно им определять исторические эпохи и отграничивать их друг от друга, не впадая этим самым в противоречие с конкретными историческими фактами. Эти принципы не исключают друг друга, но действуют часто miteinander und ineinander». Отрицание диалектики есть таким образом сущность исторических «открытий» Допша, как и вообще всех тех, кто ищет надисторические «идеальные типы» капитализма и государственности в европейской истории.

Отрицая диалектический метод в применении к истории, Допш возражает Зомбарту, считая его об'яснение происхождения капитализма основанным на применении диалектического метода. Но Допш неправильно оценил методологию истории Зомбарта. Он элементы зомбартовского «катастрофического» представления о рождении капитализма и «капиталистического духа» в европейской истории принял за диалектику исторического процесса. Собственно Зомбарт, несмотря на то, что он чувствует примитивность вульгарного эволюционизма, отбрасывает подобно Допшу, диалектику. В самом деле Зомбарт утверждает, что «социальному монизму необходимо противопоставить социальный плюрализм», т. е. «теорию, согласно которой развитие не идет таким путем, что одна хозяйственная система вытесняет другую, а наоборот, одна система нарождается на ряду с

другой, присоединяется к уже существующим системам» (см. его доклад на последнем конгрессе социологов в Цюрихе). Иначе говоря, В. Зомбарт в своей критике диалектики исторического процесса в основном солидарен с Допшем, хотя в отличие от последнего в отдельных случаях и прибегает к теории «катастроф» в истории.

Однако более интересным с этой точки зрения является спор между Допшем и Пиренном. Их разногласия по вопросу о происхождении и развитии капитализма в Европе сводятся также к оценке методов изучения социальной и экономической истории, к оценке диалектики в применении к историческому процессу. Вообще работам бельгийца проф. Пиренна нам следовало бы уделить гораздо больше внимания, чем мы это делали до сих пор. Научная ценность его исследований не ниже, а нередко выше работ Допша. Я бы хотел здесь обратить ваше внимание на маленькую книжку Пиренна—речь, произнесенную им в Брюссельской академии наук в 1922 г.,—«Les periodes de l'histoire sociale du capitalisme».

Основная мысль книги: «рост капитализма не представляет собой прямой линии, а ряд отдельных этапов, прерываемых кризисами». Этапы эти не есть простое продолжение один другого. Нет, история, скажем, буржуазии как класса, сводится к истории буржуазных классов. Пиренн насчитывает их до половины девятнадцатого века примерно пять: 1) до середины X века—в основном бандиты и разбойники; 2) до конца XII века mercator'ы, торговцы; 3) с конца XIII века примерно до XV в.—торговцы и промышленники; 4) с XV—торговцы, выступающие в роли промышленников; 5) собственно промышленная буржуазия—XVIII век. Пиренн обращает внимание на то, что каждый из этих буржуазных классов отличается от предшествующего и последующего по своему социальному составу, при этом всякий предшествующий класс превращается в аристократию, земельную аристократию Таким образом у Пиренна понятие «класс» распыляется в неопределенное «социальное понятие» об отдельных социальных группах, на протяжении столетий составляющих этот класс. Пиренн совершенно не представляет себе диалектического процесса рождения роста и возвышения класса в истории. Собственно с ним происходит то же, что и с рядом других социологов и историков наших дней. Вспомним только рассуждения Роберта Михельса, который говорит о различных «пролетарских классах», подменяя тем самым реально существующий единый класс отдельными социальными группами, его составляющими на протяжении всего процесса исторического развития этого класса.

Таким образом Пиренн обнаруживает свою ахиллесову пяту в вопросе, в каком проявляется слабость всей современной буржуазной историографии в ее борьбе с марксизмом,—в вопросе о роли и применении диалектики при изучении истории. Это положение получило свое блестящее подтверждение в последней работе Пиренна—«Les villes du moyen Age» (1927).

В отличие от Допша Пиренн говорит об экономическом «под'еме» Европы при Меровингах и ее «упадке» при Каролингах. Он показывает нам таким образом, что развитие капитализма отнюдь не есть единая цепь простого усложнения и восхождения капиталистических отношений. Но для об'яснения «исторических переходов» от одной стадии хозяйственного развития к другой Пиренн вынужден прибегнуть к вмешательству фактов политического характера. Так, «экономический кризис» Европы до X века он об'ясняет нашествием арабов, а под'ем с конца X века «военным успокоением».

Таким образом всю проблему возвышения городов, всю сложную историческую проблему развития капитализма в Европе Пиренн отрывает от вопроса о внутренних процессах социально-экономического развития, иначе говоря,—заменяет диалектическое об'яснение исторического процесса произвольным его толкованием под углом зрения отдельных политических событий.

Мы могли бы здесь продолжить наш анализ, включив в этот единый лагерь буржуазной историографии и социал-демократических историков. Однако это самостоятельная задача, и мы вернемся к ней в конце нашего доклада, в другой связи.

Заимствуя исключительно много от марксизма, современные буржуазные историки и философы изображают свои системы как «п р е о д о л е н и е м а р к с и з м а». Многие из них готовы даже утверждать, что марксизм «исторически оправдал себя, но что он уже принадлежит прошлому»... Идеологи буржуазии и мелкой буржуазии органически неспособны воспринять методологию истории пролетариата. Они готовы, однако, нередко заимствовать отдельные части марксизма, преподнося их при этом в извращенном виде, как новые «откровения», как новые «системы». Этот характерный процесс распада буржуазной идеологии можно было бы лучше всего проследить на анализе отдельных межеумочных теорий, вроде теории Тенниса. Но это конечно самостоятельная тема.

Иллюстрацией ко всему сказанному послужит проблема периодизации истории в современной историографии. Стоит только обратить внимание на то, как ставит этот вопрос Трельч. Я имею в виду девятую главу его книги—«Historismus»—«Das Problem einer objektiven Periodisirung». По мнению Трельча, историческое развитие шло от попыток дать чисто и д е о л о г и ч е с к о е обоснование периодизации истории,—согласно ли ступеням самопознания духа у Гегеля, согласно ли эпохам религиозно-церковного развития или, наконец, согласно эпохам развития искусства,—через попытки п о л и т и ч е с к о й периодизации истории (восемь периодов европейской истории у Ранке), через «с о ц и а л ь н о-у с т р е м л е н ную» периодизацию («идеи», как этапы истории цивилизации у Гизо) к с о ц и о л о г и ч е с к о м у принципу. Попытка периодизации истории, данная Марксом,

является, таким образом, с точки зрения Трельча наивысшим достижением исторической науки последнего столетия. «Но на этом,—говорит Трельч,— человеческая мысль не остановилась». Задача сводится теперь к тому, чтобы преодолеть социологически-одностороннюю систему периодизации по Марксу и к тому, чтобы на ее основе создать новую, иную систему.

В этих словах Трельч выразил с полной откровенностью затаенную мысль всей буржуазной историографии наших дней. Последняя вынуждена признать историческую значимость марксизма, как методологии истории. Но, толкаемые логикой классовой борьбы, ее представители пытаются сформулировать иную «систему взглядов», которая служила бы буржуазии не только в теоретической, но и в практической области орудием борьбы с пролетариатом и его революцией.

Каковы же основы этой новой системы периодизации истории? Трельч говорит: «Наша задача сводится к изысканию последних идеологических основ для социологических форм, основ, которые зиждутся не только на природных географических и антропологических условиях, но и определяются глубочайшими начертаниями и устремлениями воли, для которых у нас нет даже слов, и в таких случаях мы говорим о расе, о пластических силах истории, о первичных инстинктах».

Таким образом все попытки периодизации истории по Трельчу шли от отрицания марксизма к признанию его социологического значения, но от этого признания—снова к разнообразным идеалистическим построениям, а следовательно снова к полному отрицанию марксизма. В этом ключ логических провалов, противоречий и неувязок методологии истории у Вебера, Зомбарта, Допша, Сэ, Пиренна и многих других (в том числе и у Трельча).

Как мы отмечали выше, критика марксизма, как методологии истории, очень редко сопровождается у буржуазных историков анализом конкретно-исторических работ Маркса и марксистов. В лучшем случае буржуазные историки и философы от истории ограничиваются анализом «Коммунистического манифеста» или предисловия к «Критике политической экономии»... В основном споры с марксизмом ведутся вокруг теории классовой борьбы и революционно-диалектического метода в применении к историческому процессу. Как мы уже отмечали в положительной своей части буржуазная историография заменяет понятие «класс» неопределенным понятием «социального». Она растворяет классы в бесформенной «социальной массе» или заменяет анализ классовой борьбы описанием положения и роли отдельных групп, эти классы составляющие, оставляя при этом совершенно в стороне роль этих «социальных групп» в процессе производства. Стоит только обратить внимание на сборник «Das soziale System d. Kapitalismus»—«Die gesellschaftliche Schichtung» (B. IX «Grundriss der Sozialökonomie»), описывающий социальную структуру современного общества. Уже в самом названии, как вы видите, классы заменены неопределенным термином «gesell-

schaftliche Schichtung». Но из этой системы «туманностей» и буржуазные историки чувствуют необходимость вырваться на твердую почву классово-оформленного исторического исследования. Познакомимся с отдельными попытками подобного рода.

Начнем с наименее убедительного, грубооткровенного. Так, Дельбрук в своей статье о «Марксистской историографии» (1920) готов согласиться, что индустриальные рабочие XIX в. вынуждены были вести классовую борьбу. «Но в сущности,—говорит он,—от этого факта до утверждения, что история есть история классовой борьбы, еще далеко». Собственно для Дельбрука само утверждение о материальной нужде и о приниженности пролетариата неосновательно. В 1920 г. от так наз. Р. Х. Дельбрук писал: «Рабочий возможно менее зависим, чем офицер или служащий, потому что он по своему желанию может менять свою работу». И дальше буквально следующее: «Die Not des Arbeiterstandes ist psychologischer und pädagogischer Natur» Отсюда критика классовой теории марксизма, которая, по его мнению, не отличается богатством идей, но зато политической ясностью. Дельбрук больше других занялся анализом конкретных образцов применения марксизма к об'яснению истории. Он обратил внимание на известное положение «Коммунистического манифеста»: «Свободные и рабы, патриции и плебеи, бароны и крепостные, мастеровые и подмастерья и т. д.» вели между собой ожесточенную борьбу в прошлом из-за противоположности их экономических интересов. Борьба эта носила непрерывный характер то прикрытой, то открытой войны, причем столкновение классов в истории каждый раз кончалось, как утверждает «Коммунистический манифест», или революционным переворотом или гибелью борющихся классов. Против этого направляет свои удары Дельбрук. Он авторитетно поучает Маркса, что у последнего в «Коммунистическом манифесте» понятие «класс» перепутано с понятием «сословие», что вообще говоря, в истории борьба классов отнюдь не всегда кончалась уничтожением обеих сторон или победой одной из них, но чаще дело сводилось к их примирению.

Дельбрук не желает видеть, что употребленные Марксом термины «свободные» и «рабы» и т. д., скрывают за собой социально-экономическое содержание, что речь идет здесь о классовых конфликтах, которые в каждую данную эпоху составляют, в последнем счете, содержание истории. Естественно, что Маркс, говоря о баронах и крепостных, цеховых мастерах и подмастерьях, отнюдь не забывает того, что Дельбрук считает содержанием истории средневековья—именно «борьбу городского патрициата, гильдий и цехов», хотя впрочем для Дельбрука вся эта борьба, как и вся история средневековья, сводится к возвышению Fürstentum. Он, например, утверждает, что восстания рабов, правда, потерпели поражение, но римское общество погибло отнюдь не из-за рабского труда. Этим самым он совершенно искажает—как мы ни оценили бы количественную роль рабов в античном хозяй-

стве,—вопрос о роли рабского труда для судеб античного мира. Любопытно, что для Дельбрука само освобождение рабов отнюдь не дело революции, а мирного развития в истории, хотя этому конечно противоречат, скажем, такие исторические факты, как гражданская война в Америке, или освобождение сервов во Франции.

Дельбрук прибегает еще к одному аргументу, излюбленному в буржуазной историографии при спорах с марксизмом,—этот же аргумент мы находим у Брейзига, Белова и т. д.,—что теория классовой борьбы не об'ясняет нам особенностей английской истории, где «примирение «классов» является правилом, а революция исключением». Вот почему все они считают наиболее убедительным доводом против марксизма то, что для нас в советской России стало школьным примером применения марксистской методологии истории— почему произошла революция в конце XVIII в. не в передовой капиталистической Англии, а в более отсталой стране, во Франции? Иначе говоря, почему социальная революция произошла в XX в. в России, но не в Англии скажем?

Очевидно, что им незнакомо и недоступно понимание того, что Ленин называет «средне-слабым звеном» в историческом процессе, об'ясняющим происхождение революции в каждой данной конкретной исторической среде.

Вот еще один пример, блестяще вскрывающий непонимание сущности классовой борьбы всей буржуазной историографией. Брейзиг и Дельбрук приводят известную цитату Маркса о крестьянстве в революцию 1848 г.,— миллионы крестьянских семейств, живущих в особых условиях, отличных от общих условий жизни других классов, образуют как бы отдельный класс, но так как они подчинены прежде всего местным условиям, то эти локальные условия не создают из крестьянства отдельного класса, и поэтому их классовые интересы в истории представлены всегда другими классами. Буржуазные историки не понимают диалектики этого марксовского положения и разводят руками—каким образом крестьянство, являясь классом в капиталистическом обществе, в то же время как бы не является самостоятельным классом. Любопытно, что Дельбрук в связи с этим настаивает на том, что крестьянские войны XVI в. и Французская революция не были проявлением классовой борьбы. Так, Брейзиг спрашивает у марксистов, почему крестьянская война происходила в районах мелкого земледелия, а не крупного на юге, а не на севере Германии, обнаруживая тем самым полное свое непонимание процесса капитализации крестьянского хозяйства.

Отрицая роль классов и классовой борьбы, заменяя их неопределенными «социальными» терминами, буржуазные историки все же вынуждены были сконструировать некие определенные логические понятия для анализа конкретного исторического процесса. Таким понятием является для подавляющего большинства современных европейских историков государство.

Признание роли государства и национальности, как «высшей формы социального союза» является общим для всей буржуазной историографии. Государство для них—«моральная сила, нравственный разум нации».

Белов утверждает, что еще со времен Ранке немецкая историография пришла к неоспоримому выводу, что государство—«всеоб'емлющий человеческий союз, наиболее широкая организация народа, мощнейший бастион культуры». При этом государство конечно является союзом «надклассовым». Правда, эта организация направляет свое острие против всех тех, кто утверждает, что государственная власть в истории всегда была прежде всего аппаратом насилия имущих классов, против всех тех, кто от имени низших классов требует власти в этом государстве, стремится к уничтожению этого государства, иначе говоря, государство выступает, в их собственном изображении, как представительство высших классов. Но это не смущает Белова и его коллег. Государство для них высшее достижение исторического развития.

Споры вокруг классовой сущности государства приобретают таким образом для историков в наши дни первостепенное методологическое значение. Здесь ясно вскрывается классовая природа отдельных групп историков, ведущих борьбу с марксизмом. Историку не меньше, чем философу и «правовику», необходимо лишний раз внимательно ознакомиться со взглядами Ленина, высказанными им в книге «Государство и революция».

Буржуазная историография изучает прошлое под углом зрения «своего государства». Вот почему критику диалектики в ее применении к историческому процессу эта историография дополняет критикой учения Маркса о классовой природе государственной власти. Это относятся не к какой-нибудь одной, а ко всем группам буржуазной историографии наших дней, начиная от реакционеров типа Шпанна, Белова, Эдуарда Мейера и кончая социал-демократами и их теоретиками.

Шпанн выступает перед нами как историк и экономист, нередко как философ «общественных наук». Он в конечном счете ставит себе задачу выяснить следующее положение: каким образом можно устранить из капитализма то, что он называет духом «макиавеллизма»? Для него основной вопрос общественного развития сводится к вопросу о формировании сословного государства, сословно-капиталистического государства. Так Шпанн, как и вся группа историков, идейно с ним связанных (Белов посвятил свою книгу об историографии Шпанну), выявляет в своей идеологии мировоззрение феодальных элементов в блоке господствующих классов империалистической эпохи.

Но вот другая группа ученых историков и социологов, которая в настоящее время особенно популярна, чьи книги пользуются широким распространением в Европе, прежде всего в Германии. Вся эта группа, как мы говорили

выше, стремится к теоретическому и политическому «преодолению» марксизма. Среди них наряду с такими корифеями, как Макс Вебер и Зомбарт, отметим историка и социолога Карла Бринкмана, социолога-теоретика фашизма Роберта Михельса и т. д. Конечно я не отождествляю всех этих авторов: я остановлюсь здесь на характеристике только одной книги, отнюдь не занимающей первого места в творчестве всей этой школы, но чрезвычайно характерной для выяснения ее социально-политического лица. Я имею в виду книгу Бринкмана «Wirtschafts-und Sozialgeschichte» (1927 г.), посвященную его учителям Шмоллеру и П. Виноградову.

Бринкман занят вопросом о путях развития капитализма. Он рассматривает историю Европы, эпохи промышленного и финансового капитала (Mittel-und Hochkapitalismus) как непосредственное продолжение эпохи меркантилизма. Ему чрезвычайно важно, и в этом основная методологическая установка его труда,—выяснить «взаимодействие хозяйства и культуры». Меркантилизм передал последующим этапам капиталистического развития «национально замкнутое народное хозяйство». Подобно эпохе промышленного и финансового капитала, меркантилизм — век технических открытий и колониальной политики. Как тогда, так и теперь, колониальная политика разрешает лишь проблему «расселения излишков населения». Государственная политика «эпохи меркантилизма» была программой блока высших классов и широких кругов мелкой буржуазии, и прежде всего блока высших классов и крестьянства. В этом, по мнению Бринкмана, сила военной и социальной политики «эпохи меркантилизма». Для Бринкмана «кризис старого порядка» сводится таким образом к сближению буржуазии с массами. В этом и только в этом он видит причины распада «старого порядка»; в этом для него «философия истории» Великой французской революции. «Неомеркантилистическая» эпоха, которую обычно, говорит он, называют эпохой финансового капитала, для него прежде всего эпоха машин и железных дорог. Он и здесь считает необходимым установить связь между протекционистской, колониальной и социальной политикой государства (со времен Бисмарка). Как в эпоху раннего капитализма, так и в настоящее время, основная задача правителей сводится к созданию «непосредственного государственного хозяйства». Государство будущего вырастает из хозяйственной организации эпохи империализма, или, как он говорит, «государство высокого капитализма должно стать, как таковое, великим государством-благотворителем, если оно хочет существовать и в дальнейшем». Отсюда для Бринкмана ясно, что господствующие классы в наши дни должны стремиться к расширению своей социальной политики, рассчитанной на средние слои населения. Только таким путем можно преодолеть революцию и избежать классовой борьбы. «Организованное капиталистическое государство есть высшее достижение исторического процесса последних столетий». «Индивидуализм и социализм,—пи-

шет Бринкман,—классовая борьба и классовая солидарность, частнохозяйственная устремленность и государственно-общественная организация хозяйства в эпоху Hochkapitalismus, как и во всякую другую хозяйственную эпоху, неотделимо связаны друг с другом».

Без долгих рассуждений ясно, что в этой концепции мы имеем дело с характерной методологической и социально-политической программой мелкобуржуазных теоретиков, которые подводят теоретическую базу под политику буржуазного государства или, как они говорят, «государства—социального благодетеля». Эти теоретики формулируют основные положения философии истории для «империализма бедняков» (Роберт Михельс). Роберт Михельс не случайно является одним из теоретиков фашизма. В теории Бринкмана, как и в «теории» Р. Михельса мы имеем дело с контрреволюционной фашистской методологией истории. Мы не можем, к сожалению, остановиться более подробно на анализе этого вопроса.

В связи с выяснением роли и значения государства, как высшей формы «социального союза», для анализа исторического процесса значительный интерес представляет группа историков, выступающих открыто или полуоткрыто как социал-демократы. Именно в этом пункте социал-демократическая историография солидаризируется со всей буржуазной историографией так же, как она повторяет за нею и критику основных положений диалектики в ее применении к историческому развитию.

В последней книге Каутского, в этом «гандбухе» с.-д., историческая диалектика Маркса превращена в понятие о «генетическом развитии», в понятие «о приспособлении мысли к фактам» (махизм). Каутский наряду с общими законами исторического материализма устанавливает ряд «частных законов», которые должны исправить в значительной части, по его мнению, устаревшее учение Маркса. Это относится прежде всего к вопросу о роли и значении революции как творческого, социально-экономического процесса в истории.

Стоит только обратить внимание на тот любопытный факт, что Каутский, анализируя природу революций новейшего времени, вынужден был прибегнуть... к аналогии с египетской революцией за 2400 лет до нашей эры, иначе говоря, буквально повторить аргументы Дельбрука.

Что ревизия и отказ от марксова учения у социал-демократических теоретиков и историков идет прежде всего по линии отказа от диалектики, свидетельствует последняя большая работа Кунова—«Всеобщая история хозяйства». Уже в начальных строках своего труда Г. Кунов определяет задачу историка хозяйства следующим образом: «в течение неизмеримо долгого времени развивалось человеческое хозяйство, восходя в своем поступательном движении от незначительных и простых начатков удовлетворения потребностей ко все более высоким его формам... Хозяйственное развитие, как оно протекало в главных своих чертах, до сих пор представляет собой внутренне-

связный, причинно-обусловленный, последовательный процесс, некое становление (Werden), в котором в связи с прежними формами возникают все новые образования». Здесь мы имеем полный отказ от диалектического представления об историческом процессе. Собственно Кунов, как мы видим, повторяет то, что утверждает Допш. Но солидаризируясь с буржуазной историографией в основном, в критике диалектики, социал-демократические историки приближаются к буржуазной историографии в трактовке вопроса о государстве. Обращаем ваше внимание на книгу Артура Розенберга— «Die Entstehung d. deutschen Republik», чтобы убедиться в этом.

Артур Розенберг, как известно, еще недавно был вождем «ультралевого крыла» германской компартии. Он быстро переметнулся к социал-демократам и спустя полгода в указанной выше книге выступает с.-д. историографом немецкой революции. Книга Розенберга встретила восторженный прием не только социал-демократической, но и буржуазной прессы. Артур Розенберг становится популярной фигурой. Пусть не кажется странным поэтому и тот факт, что ренегат Розенберг, как и вообще вся немецкая социал-демократ. пресса, отметила «национальное величие» Дельбрука...

Артур Розенберг ставит прежде всего перед собой задачу доказать, что, собственно говоря, Германия несет ответственность за войну только потому, что она дала союзникам возможность «провести себя» и не смогла избежать поводов изобразить ее нападающей стороной. Ее противники были в этом случае более осторожны. Розенберг имеет в виду и другую задачу. Он хочет показать и доказать, что не может быть и речи о предательстве германской социал-демократии в ноябрьской революции, так как собственно революция 1918 г. в Германии была буржуазной революцией, а не пролетарской. Методологической установкой для Розенберга при этом служит утверждение, что в Германии империализм не был делом юнкерских классов и что буржуазия в целом также не несет ответственности за эту политику. В империалистической политике виновата по преимуществу клика Вильгельма II, его собственная неспособность к организованной работе и конкуренция отдельных предпринимательских фирм... Собственно говоря, империалистическая политика Германии, с точки зрения Розенберга, есть не что иное, как пережиток феодализма в буржуазном обществе. Революция 1918 г. должна была уничтожить эти феодальные пережитки и укрепить буржуазное государство. Колониальная политика и империализм имеют против себя в Германии поэтому весь народ, в том числе и буржуазию. Вот почему тактика коммунистов в ноябрьской революции была авантюризмом; социал-демократия выполнила роль авангарда в этой буржуазно-демократической революции. Розенберг считает необходимым отметить, что за социал-демократами шло все рабочее движение. В этом случае отечественный историк, академик Тарле, идет по стопам Ар. Розенберга и так же, как он, забывает рассказать и учесть роль борьбы тече-

ний в рядах рабочего движения до войны и в годы войны. Таким образом для Артура Розенберга, как и для всех его коллег из буржуазного лагеря, не только непонятна диалектика исторического процесса, но, собственно говоря, вся история Германии последних десятилетий представляется исключительно как борьба за оформление буржуазного государства.

Что споры между Марксом и Лениным, как методологами истории, со всеми их врагами в основном сводятся к установлению методологической ценности учения о диалектике, специально учения о революции и диктатуре пролетариата, свидетельствуют, наконец, споры последних дней о Французской революции.

Мне не придется здесь даже бегло остановиться на этом вопросе. Об этом недавно у нас были оживленные дебаты в Обществе историков-марксистов. Отмечу только, что как раз за последние два года мы имеем дело с оживлением интереса к проблемам демократии и диктатуре в революции конца XVIII в. Сошлюсь только на работу Матьеза о Бабефе и на его статьи о «диктатуре в Великой французской революции» или на книгу сотрудницы «Gesellschaft»—историка Гедвиги Гинце.

Как мы знаем, работы Матьеза наиболее близки нам, марксистам, в современной европейской историографии. Но и он при выяснении вопроса о перерастании демократии в диктатуру в революции конца XVIII в. обнаружил все слабые стороны теоретика, не желающего принять марксизм в его революционной трактовке. Для Матьеза «Заговор равных» не был коммунистическим выступлением. Это было только «последним выступлением якобинцев». Но, в отличие от Маркса, для которого это «последнее выступление якобинцев» было крайним выводом, «коммунистическим итогом идей Республики второго года», т. е., в то время как для Маркса идеи якобинской демократии в учении Бабефа переросли в идеи революционно-коммунистической диктатуры, для Матьеза программа «Заговора равных» остается механической смесью идей демократии и аграрного коммунизма XVIII в. Поэтому, понятно, почему он проблему диктатуры в первые годы революции сводит к идее «диктатуры парламента» и считает аббата Сиеса одним из теоретиков идей революционной диктатуры конца XVIII в.

Неудивительно, что с.-д. историк Гедвига Гинце приветствует эту непоследовательность Матьеза. Она не видит его заслуг в том, что он в «La vie chére» изучил революцию под углом зрения творческих социально-экономических процессов, она усиленно подчеркивает слабые места Матьеза как историка, и хвалит его за то, что он ищет примирения демократии и диктатуры в революции... Итак, как раз то, что является, с нашей точки зрения, слабой стороной методологии истории Матьеза, для с.-д. Гинце—откровение. Борьба вокруг конечных выводов марксизма является в последнем счете содержанием споров о марксизме в современной европейской историографии.

На этом собственно мы могли бы закончить наш доклад. Как мы отметили во вступлении к докладу, мы ставили себе сегодня только отрицательную задачу, дать представление о том, как современная европейская историография понимает и критикует марксизм. Остается конечно вторая, гораздо более существенная задача, разработка вопросов марксистской методологии истории, задача, которая не может быть нами даже поставлена в этом докладе, но которая должна привлечь к себе внимание всех подлинных марксистов, занятых изучением истории. Речь идет в данном случае о марксизме и ленинизме, как методологии истории. Ведь вот в недавно вышедшей английской книге «On Histori» A. Rowse'a, посвященной вопросам методологии истории и написанной автором в назидание членам «клуба христианской церкви» для «дискуссии по вечерам», автор заявляет о своей полной «солидарности» с теоретической системой марксистской методологии истории, но... за вычетом его революционно-политических взглядов.

Буржуазная историография наших дней на Западе имеет своим исходным пунктом марксизм. От него она исходит в своей критике; у него она заимствует и затем искажает отдельные элементы системы,—экономическое об'яснение истории, учение о классовой борьбе,—превращая эти «элементы марксизма» в исходный пункт для своих «оригинальных» построений, но решительно отбрасывая диалектику и учение о диктатуре пролетариата.

Наша задача марксистов-историков сводится поэтому не только к конкретным историческим исследованиям, но и к необходимости углубленно познать природу нашей науки, разработать методологическую часть тех марксистских положений, которые Марксом определены как *исторически новое* в марксизме. Я имею в виду изучение истории капитализма под углом зрения нового класса, под углом зрения пролетариата, под углом зрения того революционного кризиса капитализма, который приведет нас к бесклассовому, к коммунистическому обществу.

Для марксиста, как мы знаем, специфически «новым» в марксизме являются не те его отдельные «элементы», которые стали теперь в том или ином виде достоянием исторической науки на Западе, а то, что, по словам Маркса,—«существование классов связано лишь с определенными историческими битвами, соответственными развитию производства», т. е., что классовые феномены в истории являются одновременно хозяйственными феноменами, и наоборот, что само хозяйственное развитие выступает перед нами как классовая борьба, что вся история классового общества является для нас одновременно историей созревания суб'ективных и об'ективных предпосылок пролетарской революции и диктатуры пролетариата, а через диктатуру пролетариата—к коммунизму. В дальнейшей разработке этих положений в их применении к истории и заключается наша задача.

Так марксизм и только марксизм превращает историю в науку.

Абид Алимов

БОРЬБА ЗА КОНСТИТУЦИЮ 1876 Г. В ТУРЦИИ[1]

ВВЕДЕНИЕ

«Все достижения Европы (в области культурно-экономической—*А. А.*) явились результатом того, что само население европейских стран приложило свои капиталы, труд на этом поприще. Но все это происходило в обстановке, когда все права, коими пользуется народ, обеспечены законом, когда защита и охрана этих законов через парламент передана также самому народу. Каждый знает, что никто над ним не сотворит никакого беззакония, и свободно использует поэтому свои материальные и духовные права в установленных законом пределах.

Почему же у нас нет этих достижений? В империи есть люди, имеющие достаточный капитал, чтобы его пустить в оборот, есть и желание. Почему же ничего не делается? Почему, например, главные продукты нашего потребления—мануфактура, обувь, бумага и т. п. товары—при наличии у нас хлопка, шерсти, кож, тряпок в большем размере, чем во многих других странах, при более низкой, чем в Европе, цене на рабочие руки, не производятся у нас? Ни отдельные лица, ни компании не хотят строить фабрики, в которых можно было бы, как в Европе, все это производить. Почему мы нуждаемся в импорте таких простых предметов, как кирпичи, спички, даже фески—наш головной убор? Несомненно потому, что система управления у нас основана не на свободе, нет законов, которые могли бы обеспечить права народа. Часто бывает так, что созданное отдельным лицом или компанией предприятие внезапно разрушается»[2].

Эти слова Мидхат-паши, вождя раннего младотурецкого движения, звучат как итог, подводимый представителем буржуазии 40—50-летним реформам в Турции, так назыв. эпохе танзимата. Они говорят о том, что феодальные преграды на пути развития производительных сил всеми этими реформами сняты не были, условий для свободного развития капитализма не было.

[1] Статья—часть работы: «Турция в период русско-турецкой войны 1877/8 гг.».

[2] **Мидхат-паша**, Личная и политическая жизнь, т. II, с. 17—18. Записки, изд. сыном. Константинополь, 1908.

Реформы эпохи танзимата шли по двум направлениям. Во-первых, по линии уничтожения в большей части страны крупной феодально-помещичьей земельной собственности, находящейся в руках «военного помещика»—сипага или тимариотов. История возникновения тимарного землевладения требует специального исследования. Здесь же мы отметим лишь внешнюю сторону этого явления. Военачальники, пожалованные правом сбора десятины с крестьян в завоеванных турками-османами областях, в силу целого ряда условий превратились из «сборщиков» десятины в махровых феодальных землевладельцев постепенно переживая ту деформацию, которую пережило феодальное землевладенние почти во всем мире. Взамен сдачи пожалованных с крестьян налогов тимариоты обязаны были поставлять определенное количество конницы, в зависимости от величины пожалования [3]. Но постепенно тимариоты перестали выполнять функцию поставщиков конницы, перестали платить причитающиеся с них налоги. Многие из них дошли до прямого отрицания каких бы то ни было суверенных прав султана над собой. Это было уже в XVIII столетии.

Наряду с тимарным способом сбора налогов существовал еще способ откупа права на сбор десятины, способ такой же давности, как и тимарное землевладение, причем сами владетели тимарных наделов часто отдавали «управление» своими наделами в откуп. Эти обстоятельства привели к образованию наряду с тимарным землевладением нового типа крупного землевладения, являющегося собственностью откупщиков-ростовщиков. Такие земли рассматривались как частновладельческие в отличие от тимарных, рассматривавшихся как кормленческие наделы.

Как откупная система, так и этот новый тип землевладения в первые два столетия возникновения Оттоманской империи большой роли не играли. Но уже в XVIII веке, в связи с развитием внешнеторговых отношений, увеличивается их удельный вес. Вместе с тем растут и противоречия между ними и тимариотами. Корень этих противоречий заключался в том, что тимариотское землевладение являлось препятствием для развития откупной системы, а аппетиты откупщиков, вербуемых часто из торгово-ростовщической среды городов, развивались все больше и больше. К роли откупщика прибавляется новая функция—торговца продуктами сельского хозяйства. Торгово-ростовщический капитал все больше связывается с торгово-ремесленным городом, начавшим к этому времени, правда ненадолго, бурно расти, благодаря раз-

---

[3] Мы здесь совсем не думаем стать на ту точку зрения, что будто бы феодальное землевладение в Турции возникло в порядке самопроизвольного зарождения. Нет, это было только копией. Так же, как на Украине «румянцевские штыки» насадили крепостное право, возникшее «естественным» путем в Московии, так и завоеватели-турки копировали достижения других областей Востока, на что указывают уже сами названия: тимар, заам, хасс и т. д.

витию внешнеторговых отношений с Западом. Процесс развития товарно-денежных отношений вызывает небывалый кризис тимарного землевладения.

Поражения в войнах этого периода обостряют положение еще больше: ожиревшие в своих поместьях тимариоты оказываются совершенно неспособными «защищать честь и величие оттоманов», янычары—феодально-преторианское воинство Оттоманской империи,—связанные и через общность интересов в владении землей и другим путям с тимариотской системой, превращаются в бессильную на войне, но грозную для мирных жителей городов вольницу. Торгово-ростовщический капитал, находящий безусловную поддержку самых широких масс города, все сильнее и сильнее подымает голос для критики тимариотского и янычарского оружия.

Существовавшие и ранее между откупщиками и тимариотами противоречия достигают таким образом к концу XVIII и началу XIX вв. своего кульминационного пункта.

На стороне города оказалось и духовенство, второй класс землевладельцев после тимариотов и откупщиков. К этому времени духовное землевладение—вакуфное—не играло еще той роли, которую оно играло позже, в XIX в.; эксплоатация на вакуфных землях носила совершенно иной характер, чем на тимарных. Духовенство владело также огромным количеством зданий и всякого рода построек в городах, которые сдавались в аренду городскому люду, главным образом, торгово-ремесленной средней и мелкой буржузии. Интересы духовенства поэтому были переплетены с городом в большей степени, чем с тимарной деревней.

Конкуренция между тимариотом и духовенством в административно-судебном аппарате империи, служившем источником дохода для тех, кто сидел в нем, также обостряла противоречия между ними.

Таким образом к началу XIX в. сложилась следующая расстановка классовых сил: с одной стороны, торгово-ростовщический капитал, ищущий все большие и большие просторы для откупа и ставший владельцем крупных земельных участков, торгово-ремесленный город, стонущий под ярмом феодальных отношений и страдающий от произвола янычарской вольницы, духовенство, связанное больше с городом, и тимариоты с другой. Нужен был лишь авторитетный руководитель, который, опираясь на первых, стал бы во главе борьбы. Им и оказался крупнейший землевладетель в стране—султан. И хотя попытка султана Селима III произвести реформы против тимариотов кончилась трагедией: реакция расправилась с ним и посадила на трон своего ставленника, но сторонники реформ оправились очень скоро от удара и уже два последующих султана, Махмуд II и Абдул Меджид, довершили начатое Селимом III.

Шаг за шагом отнимались позиции у крупных феодалов, причем яду и кинжалу давали явно большее предпочтение, чем прямому приказу о подчинении центральному правителю. Земли крупных феодалов конфисковались

и записывались в разряд миррие—государственных земель. Земли более мелких феодалов—тимариотов были выкуплены или оставлены на пожизненное владение. Не тронуто было только то крупное землевладение, которое носило характер личной собственности владетеля: или потому, что в свое время при завоевании или позже было даровано право собственности на него, или потому, что оно было куплено. Да и те, кому были земли оставлены на пожизненное владение, под разными предлогами старались закрепить за собой свои именья. В результате были уничтожены крупное феодальное землевладение и отчасти тимарные наделы, но значительная часть крупной земельной собственности всеми этими реформами затронута не была, не говоря уже об окраинных курдских и арабских феодалах.

Таков был первый итог танзимата.

Второй стороной танзиматских реформ было то, что они носили буржуазный характер. Если первые, в области землевладения, реформы и были так или иначе доведены до конца, то вторая линия реформы почти всегда обрывалась на полпути. Буржуазные свободы, широко прокламированные в двух указах 1839 и 1856 гг., законодательство о торговле, расширение прав земельного наследования, законодательство о внутренних и внешних пошлинах и т. д. и т. п.,—все это или оставалось только на бумаге, или было недостаточно для того, чтобы расчистить путь развития капитализма.

И немудрено, что феодализм в результате всех этих реформ не был уничтожен; феодальная эксплоатация в деревне, феодальные преграды в городе остались. Произошла лишь передвижка в лагере феодального господства. Торгово-ростовщический капитал заменил, как эксплоататор, тимариота в деревне, феодальное духовенство, наряду с земельной бюрократией и представителями оставшихся землевладетелей и окраинного феодализма, заняло командующие посты у кормила государственного аппарата [5].

Но сама бюрократия носила в большой степени феодальный характер. Она или воспитывалась на управлении колоссальными земельными владениями, перешедшими в руки казны в результате танзиматских реформ, или вербовалась из рядов провинциальной, вновь выросшей разными путями аристократии, или из бывших тимариотских и янычарских родов. Правда, в среде бюрократии, в особенности в Константинополе в блистательной Порте, было немало представителей и торгово-ростовщической буржуазии. Подчас они, пользуясь сложившейся внутренней или внешней обстановкой, играли довольно большую роль, но не они правили страной. Да и торгово-ростовщическому капиталу

[5] «Улема (духовенство),—пишет Намык Кемаль,—выращивается на вакуфных хлебах, и член духовного сословия получает право занимать высокие должности уже по одному тому, что он принадлежит к улемскому роду. Большинство этих аристократов уже в день своего рождения, во всяком случае треть без всяких прав, удостаивается быть высокими чиновниками, будто в чреве матери они окончили университет» (Н. Кемаль, Собрание сочинений, т. I, с. 137. Константинополь).

«не было больших поводов» быть «недовольным» этой олигархией. Как соучастник эксплоатации, связанный с первых же своих шагов с феодально-клерикальным аппаратом государства, он был скорее его союзником, чем конкурентом. Лишь тогда, когда бюрократия сама начала заниматься откупными операциями, торгово-ростовщический капитал стал на время в оппозицию, ибо лучшие откупы бюрократия оставляла за собой. Но это продолжалось недолго. Вскоре был издан закон, запрещающий бюрократии брать откупы, и торгово-ростовщический капитал успокоился.

Нужен был крупный политический и экономический кризис 70-х гг., чтобы не только торгово-ростовщический капитал, но и огромная часть духовенства стали в оппозицию к султанскому двору, целиком попавшему в руки кучки махровой окраинной и черкесской феодальной олигархии.

Но и тогда застрельщицей борьбы явилась торгово-ремесленная буржуазия. Все глубже и глубже развивающиеся торговые сношения с Западом, проникающие в народное хозяйство Турции товарно-денежные отношения делали свое дело. Использованием хотя и частичных реформ танзиматского периода в свою пользу торгово-ремесленный город получил возможность для своего развития. Из цехового ремесла постепенно выросла капиталистическая мануфактура, тесно связанная с средней и мелкой торговой буржуазией. Установленные господством феодально-клерикальной олигархии рамки стали ей тесны. Между феодальными правовыми нормами и потребностями развивающегося капитализма зияла целая пропасть.

Уже в начале 60-х гг. торгово-ремесленный Константинополь в союзе с одной частью бюрократии сделал попытку атаковать твердыни оттоманского абсолютизма. Эта попытка (так называемой Куляли вакиаси) революционным путем свернуть шею турецкому абсолютизму и создать некоторое подобие конституционного строя потерпела поражение. Но потерпело поражение руководство, а не класс. Через 15 лет он с новой силой, при более благоприятных обстоятельствах, выступил на борьбу.

ПРЕДПОСЫЛКИ КОНСТИТУЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ 70-Х ГГ.

Торгово-ремесленный Константинополь начал свою борьбу за конституцию при полном сочувствии всей страны, стонущей под ярмом феодальных отношений.

К р е с т ь я н с т в о не принимало непосредственного активного участия в политической борьбе буржуазии, но критское, босно-герцоговинское восстания, носившие ярко выраженный аграрный характер, были прелюдиями движения, первыми ударами по феодально-клерикальному господству, ударами, облегчившими в значительной степени борьбу буржуазии.

До 30-х гг. в Турции наряду с наличием в руках султана, ростовщиков и духовенства огромного количества земель, существовало, как мы уже ука-

зывали, феодальное землевладение тимариотов. Реформы 40-х гг. свелись в общем к тому, что большая часть земель тимариотов были секвестированы государством и перешли в разряд султанских земель, т. е. миррие, или же в разряд земель духовенства—вакуфы. Тяготы, обременявшие крестьян, были формально в значительной степени сняты, ибо теперь крестьянам приходилось платить «только» десятину и арендную и тапу-плату[6], но фактически положение крестьян стало более тяжелым. Десятина взималась не непосредственно государственным аппаратом, а целым роем откупщиков, которые сводили десятину часто до половины урожая. Один из свидетелей дает нам следующую картину взимания десятины. «Подати взимаются с немилосердной жестокостью и притом самым первобытным способом. Натуральная подать известной местности сдается ежегодно с торгов. Подати оцениваются по сравнению с доходами прежних лёт, и затем лицу, внесшему откупную сумму, предоставляется право на взыскание известной части с естественных произведений земли. Все это ведет к тому, что земледелец, опасаясь увеличения налога, с умыслом уменьшает свой урожай до необходимых размеров»[7].

Следовательно на эту тяжесть десятины, взимаемой путем откупа, крестьянство реагировало свертыванием своего хозяйства. «Когда государство в связи с американской войной начало распределять хлопковые семена, многие земледельцы семян не принамали, говоря, что от этого правительства добра ждать нечего и кто знает, что за этим скрывается. Мы не можем принять, говорили они»[8].

Более яркий результат откупной системы показывает Бейрутский губернатор в своем рапорте от 13 июня 1877 г.: «Ашар (десятина) этого района (Бейрута), так же как и в других районах, продается откупщикам с торгов. В результате вместо одной десятины народ платит несколько. Чтобы показать, к чему приводит такое угнетение, я должен привести следующий факт: в этом районе десятина была введена с 1866 г. Население, чтобы избежать притеснений откупщиков, т. е. чтобы после отдачи всех плодов насаженных им деревьев не платить еще деньгами штраф, срубило и уничтожило по меньшей мере 15 000 масляничных деревьев»[9].

Некоторые государственные земли не отдавались для возделывания крестьянам по тапу, а были выделены в удельные имения, так называемые

[6] Десятина—ушур (ашар) взималась исключительно в натуральном виде вплоть до 1924 г.

Тапу—разрешение на право пожизненного владения принадлежащей государству землей. Как сообщает Field, тапу-плата равнялась 5% от цены земли и вносилась при получении разрешения.

[7] **Овсяный**, с. 128. «Современная Турция», Петербург, 1877.

[8] **Намык Кемаль**, с. 172. Там же.

[9] **Хайреддин**, кн. 5, с. 89. «Исторические и политические документы».

чифтлики. Эти имения управлялись чиновниками, или их управление сдавалось в откуп. Мидхат-паша в мемуарах дает следующее описание этих чифтликов: «Население, которое жило на этих землях,—земледельцы—были или рабочими (слугами) имения или же обрабатывали землю как половники. Эти земли были разделены на наделы, семена давались государством, из урожая две трети брала казна, а одна треть оставалась владельцу. Таким образом велось хозяйство в имениях. Большая часть из них была предоставлена откупщикам на откуп. Со стороны такое положение казалось безвредным. На самом же деле население, не владея ни пядью земли, было в положении обычных слуг, бродило из одного места в другое, не чувствовало себя крепко на одном месте и потому не строило жилища, не разводило скота, не насаждало деревьев, как в других культурных государствах; оно довольствовалось своим паем урожая, но благодаря жадности и притеснениям откупщиков и своих шейхов, оно не получало полностью даже этой своей части. Кроме того многие из них не находили другой побочной работы, чтобы прокормить свою семью, и естественно, были недовольны. Поэтому они при первой возможности легко шли на всяческие смуты, так как им терять было нечего» [10].

Не лучше было положение крестьянства и на вакуфных землях, хотя здесь и не чувствовалась рука откупщика.

Формально три четверти всех обрабатывающихся земель Турции принадлежали государству и духовенству, лишь одна четверть составляла частную собственность: или парцеллярную крестьянскую, или помещичью. Фактически удельный вес частновладельческих групп имений был более велик. Количество мелких земельных собственников было очень ограничено, но это не означало наличия крупных хозяйств, ибо и помещичьи, и вакуфные, и государственные земли были разбиты на мелкие наделы, которыми владели крестьяне на арендных началах.

На уцелевших от конфискации помещичьих землях Румелии (Европ. Турция) положение крестьянства было не лучше. Реформы 40-х гг. ограничили крепостническую эксплоатацию на этих поместьях: тяжелая барщина была заменена двумя днями работы на помещика. Но «помещики повернули это положение так, что вместо барщины стали собирать с крестьян третину, т. е. третью часть продуктов. Из этого можно заключить, каково положение крестьян, не имевших собственной земли. В Боснии, где помещичье право наиболее развито, огромные массы населения превратились в пролетариев» [11].

На землях, перешедших теми или другими путями в руки городского ростовщического капитала, мы видим также господство докапиталистических форм эксплоатации крестьянства. Капитал, «ушедший в землю» в

[10] Мидхат-паша, т. I, с. 81—82. Там же.
[11] Из военно-статистического сборника, с. 250. «Турецкая империя», СПБ 1868 г.

ростовщической форме, создавший новый тип крупного землевладения, а именно, ростовщического землевладения, не создал новых капиталистических отношений, а лишь модифицировал старые отношения. Здесь мы видим, как основную форму эксплоатации, половничество и издольщину (ярыджилык, кисимджилык), представляющие собой переходные от феодализма к капитализму формы эксплоатации на земле, докапиталистические формы. «Старые патриархальные землевладетели (lords),—говорит Field,—были сметены, и их место заняли спекулятивные скупщики (purchasers). Положение же крестьянства не улучшилось и не укрепилось ни в какой мере... Громадное большинство новых скупщиков (земель—*А. А.*) прибегало к системе мурабаалык (синоним ярыджилыка), которая была для них известна и поэтому легко применима, в то время как капиталистическое земледелие (farming), если даже был капитал, было неизвестно и неиспытано»[12].

Таким образом мы во всех формах крупного землевладения имеем или феодальную, или вообще докапиталистическую форму эксплоатации. К тому же как парцеллярные собственники, так и крестьяне крупных имений платили десятину, о которой мы говорили выше.

Но помимо этих общих явлений имелись рецедивы настоящего феодализма, в особенности в Курдистане и Аравии.

К гнету со стороны «отечественных» эксплоататоров на Балканах присоединился еще гнет эмигрировавших с Кавказа черкесских родов. «В 1863/64 г. из России эмигрировали сотни тысяч черкесов, которых правительство направило на берега Дуная, чтобы здесь создать военные колонии. Прибытие черкесов в эти места было настоящей напастью. Они заняли там такое же положение, как беки Боснии и Герцоговины. Крестьяне Адрианопольского и Филиппопольского округов принуждены были их кормить в зиму 1864/65 г. Черкесы заставляли крестьян работать на себя, доказывая, что они, как воины, не являются рабочим людом. В 1861 г., когда они населяли районы Добруджи и Дуная, они присвоили себе живой и мертвый инвентарь крестьян. 5 болгарских семей принуждены были работать на одного черкеса, строить ему дом и обрабатывать его поле. Словом, черкесы были довольны своим положением, а болгары служили им вьючными животными»[13].

Тяжесть положения крестьян усугублялась еще эксплоатацией их ростовщиками. «Земледельцы все время нуждаются в кредите и по необходимости обращаются к ростовщикам, которые с них взимают громадные проценты, так что земледельцы не видят плодов своего труда»[14].

[12] Field, Landholding and the relation of landlord and tenavt in various countries. с. 214—215.

[13] А. Расим, с. 112. «От деспотизма к господству нации», Константинополь 1925 г.

[14] Мидхат-паша, т. I, с. 112. Там же.

Чтобы обеспечить регулярную выплату процентов и очередных взносов по займам[15], к этим обычным формам эксплоатации в 70-х гг. было еще добавлено увеличение ставок десятины до $^1/_8$ урожая. Была введена табачная монополия, которая, по словам Шмейдлера (K. Schmeidler, «Geschichte des Osm. Reichs...», Leipzig, 1875), ставила под угрозу разведение культуры табака. Налоговый пресс был настолько велик за последние годы, что ашар, дававший в 1852 г. 50 миллионов франков, в 1875/76 г. давал уже 247 миллионов франков. Хотя официальная комиссия, которая работала над ашаром, и утверждала, что увеличение поступлений является результатом «успехов земледелия...», «несмотря на неудобства системы ашара»[16], поверить этой версии очень трудно, ибо и Овсяный и Саид-паша[17] отмечают деградацию сельского хозяйства.

В начале 70-х гг. кризис сельского хозяйства принял угрожающие размеры. Это было кризисом феодальных отношений эксплоатации. Собственно уже критское восстание 1867 года сигнализировало о кризисе, ибо главным лозунгом этого восстания была борьба против феодально-налоговой эксплоатации. В дальнейшем болгарское и босно-герцоговинское восстания, восстание в Багдадском вилайете были звенья той же цепи аграрных движений, как протесты против неимоверной эксплоатации крестьянства.

Таково было положение крестьянства в результате 30-летних реформ. Каждое облегчение положения крестьянства, или, правильнее говоря, всякое мероприятие, направленное к поднятию производительности сельского хозяйства, сейчас же локализировалось другим мероприятием, ибо феодально-клерикальное государство ставило вопрос так, чтобы, не уничтожив системы феодальной эксплоатации, при наличии ее, поднять сельское хозяйство, приноровив землепользование к условиям, выдвинутым проникновением товарных отношений. Так, например, законом 1867 г. право наследования государственных земель, сданных по тапу, было расширено до 7-й степени. Это мероприятие обеспечивало более уверенное землепользование, гарантировало возможность приложения на земле большого труда и капитала. Но от этого терпело убыток феодальное государство, владеющее правом при передаче земель от одного лица к другому взимать определенную плату, а при расширении прав наследования передача должна была происходить реже, и поэтому плата по тапу естественно снижалась. Отсюда при разрешении права наследования до 7-й степени, получившие право наследования, в течение 5 лет принуждены были платить полторы десятины. Последнее являлось такой тяжестью, что нашлось мало охотников, как на это указывают Энгельгард и

[15] О займах подробнее дальше.

[16] См. Убиччини, с. 112. «Современное состояние Турецкой империи».

[17] Саид-паша, с. 377. «Воспоминания» т. I.

военно-статистический сборник. Иными путями феодально-клерикальное государство не могло разрешить вопроса.

Установившаяся система эксплоатации—султан со своей сворой чиновников, жадные откупщики налогов—представители торгово-ростовщического капитала, помещики, духовенство на вакуфных землях, как пиявки, присосавшиеся к телу крестьянства,—приостановили дальнейшее развитие сельского хозяйства.

Тем не менее крестьянские движения 70-х гг. не превратились во всетурецкие крестьянские движения. Установившаяся в течение веков между турецким и нетурецким крестьянством отчужденность сыграла при этом колоссальную роль. Турок-крестьянин окраинных областей, поставленный в более благоприятное положение по сравнению со своим соседом нетурком, плативший меньше разных податей благодаря более «справедливому» отношению к нему чиновников и откупщиков, не откликнулся на восстание своих нетурецких братьев. Эта «мудрая» политика феодальной Турции в отношении турок-крестьян вырастила военную силу, нечто похожее на казачество, которую можно было пускать в ход при «волнениях» в нетурецких крестьянских районах. Нетурецкое крестьянство, таким образом, было более революционным, а турок-крестьянин не сочувствовал восстаниям. Но так как и помещики были мусульманами, то поэтому в восстаниях удары часто направлялись не только по помещику, но и по каждому турку, кто бы он ни был по своему положению. Окраинная христианская торговая буржуазия, являвшаяся руководительницей крестьянских восстаний, в силу ряда условий всегда была настроена сепаратистски и поэтому не была заинтересована в установлении национального мира между крестьянином-турком и нетурком, а наоборот, разжигала национальную рознь, толкала крестьянские движения на погромы, резню турецких деревень.

В силу всего этого феодальная олигархия всегда находила поддержку у турка-крестьянина, беспощадно подавляя крестьянские движения и, когда город выступил в 70-х гг., крестьянские движения были уже разгромлены.

Очень трудно предположить, что средняя и мелкая буржуазия Константинополя пошла бы на союз с этими восстаниями (даже не будь они разгромлены). Наоборот, сепаратистский характер этих движений являлся гранью между ними и революционной мелкой и средней буржуазией Константинополя. Босно-герцоговинское восстание, как раньше критское, вызвало патриотический под'ем в Константинополе. Наряду с требованиями реформ для этих областей мы видим представителей революционного Константинополя добровольно марширующими рядом с войсками, направленными на подавление этих восстаний. Несмотря на эти противоречия, однако, развертывающееся в Константинополе революционное движение козыряло этими восстаниями, обвиняя феодально-клерикальное государство в «неумелой» политике, в «злоупотреблении» налогами.

Таким образом суб'ективно революционеры Константинополя, как и руководители движения—младотурки, и были в рядах, подавлявших восстания крестьянских областей, об'ективно же их аграрная программа была направлена против самих основ феодально-откупной системы эксплоатации[18]. Она была против взимания налогов—ашара натурой, против откупной системы, но никогда ни одно выступление идеологов младотурок, ни их фактическая политика не были направлены против крупного землевладения. Младотурки были далеки от «черного передела», но они выступали за уничтожение всяческих тягот, мешающих развитию сельского хозяйства, против феодальной эксплоатации крестьянства.

Узость рынка давно уже служила помехой развитию торговли, что было осознано торгово-ремесленными кругами, видевшими в откупной системе помеху для развития сельского хозяйства. Натуральный же характер ашара препятствовал проникновению товарных отношений в деревню[19]. Поэтому вопрос о ликвидации натурального хозяйства ашара и системы взимания был для этих кругов весьма актуальным. За решение этой задачи младотурки принялись после прихода к власти, но после разгрома младотурецкого движения, с установлением махровой реакции Абдул Гамида, все эти мероприятия были сведены на-нет[20]. Опять были введены и натуральщина и откупная система.

И немудрено. Откупная система являлась источником обогащения для всего торгово-ростовщического капитала. Отмена ее била по ее непосредственным интересам. В этом, очевидно, и кроется причина того, что торгово-ростовщический капитал, поддержавший младотурок на первых стадиях борьбы против абдул-азизской деспотии, так скоро отшатнулся от них.

В своей борьбе против натуральщины младотурки верно учуяли стоящие перед буржуазией задачи. Натуральщина при наличии феодальной эксплоатации порождает застойность отношений, мешает развитию производительных сил страны. «Благодаря тому,—говорит Маркс,—что эта форма ренты в продуктах связана с определенным характером продукта и самого производства, благодаря необходимому при ней соединению сельского хозяйства

[18] Когда мы говорим об «аграрной программе» младотурок, то нужно иметь в виду условность этого выражения. Кроме общих взглядов, изложенных в ряде работ младотурок, никакой писаной программы у младотурок не было.

[19] «Натурально-хозяйственные формы производства,—говорит Р. Люксембург,—для целей капитала служить не могут. Во всех натурально-хозяйственных формациях, идет ли речь о первобытных крестьянских общинах с общей собственностью на землю, или о феодально-барщинных отношениях и т. п., производство для собственных потребностей является решающим моментом хозяйства; отсюда отсутствие потребностей или незначительная потребность в чужих товарах и, как правило, отсутствие избытка в своих продуктах». («Накоп. капит.», с. 378).

[20] См. у Рефик, с. 252—253, т. II. Налоговое законодательство, Константинополь 1912 г.

и домашней промышленности, благодаря тому, что при ней крестьянская семья приобретает почти совершенно самодовлеющий характер вследствие своей независимости от рынка, от изменений производства и от исторического движения стоящей вне ее части общества, коротко говоря, благодаря характеру натурального хозяйства вообще, эта форма как нельзя более пригодна для того, чтобы послужить базисом застойных состояний общества, как это мы наблюдали, напр., в Азии» [21]. Но в силу связанности этой формы ренты с формой эксплоатации, с выгодами, которые откупщики имели при этой форме, с злоупотреблениями, которым открывался широкий простор при ней,—борьба против натуральщины должна была встретить резкий отпор.

Таково было положение крестьянства накануне младотурецкого движения 70-х гг., таковы были и задачи, которые могла поставить перед собой буржуазия в области аграрных отношений.

Несмотря, однако, на несовпадение крестьянской революции с борьбой городской торгово-ремесленной буржуазии против общего врага, несмотря на изолированность города, развернувшаяся в городе борьба с самого начала приняла упорный характер: горючего матерьяла в городе было много.

Мидхат-паша во втором томе своих воспоминаний, разбирая экономические возможности страны, приходит к заключению: «И все же заставляет удивляться, что здесь не развивается промышленность, как в Европе, что страна во всех отношениях нуждается в заграничном производстве».

Вот те причины, которые, по его мнению, мешают развитию отечественной промышленности. Во-первых, отсутствие гарантии от феодального произвола; во-вторых, отсутствие необходимых знаний и навыков для создания отечественной промышленности, ибо население «не свободно» и «не имеет возможности изучать те науки, кои оно хотело бы», и, в-третьих, высок ссудный процент в стране и нет банков, которые облегчили бы развитие торговли и промышленности [22].

Если отбросить «отсутствие предприимчивости», в чем Европа всегда старалась обвинять не только Турцию, но и весь Восток, в общем характеристики, данные состоянию Турции Мидхатом и Овсяным, совпадают. Овсяный не прав лишь в том, что в Турции не было необходимых капиталов. Эти капиталы были. Огромные суммы были накоплены в руках придворной аристократии, тузов галатской биржи, не раз раскрывавших свои карманы для пополнения государственной казны. Благодаря системе откупов вырос

[21] Маркс, Капитал, т. III, ч. 2, с. 352.

[22] «Заводская и фабричная промышленность,—говорит Овсяный,—не могли, конечно, достигнуть значительного развития в Турции. Отсутствие капитала и, значит, необеспеченность труда, недостаток предприимчивости—все это послужило причиной того, что здесь могла утвердиться только кустарная промышленность, стоящая дорого и дающая лишь продукты посредственных качеств» (Овсяный, с. 136).

значительный торгово-ростовщический капитал. Но все эти капиталы лежали под спудом и пускались в оборот только в тех случаях, когда речь шла о больших заработках, давались в рост только под большие проценты. Это исключительно рваческое применение капитала об'яснялось отсутствием гарантии в условиях феодального произвола. Ссудно-ростовщический капитал шел на риск только тогда, когда предвиделись огромные заработки.

Находящаяся под влиянием младотурок печать не раз подымала вопрос об этих капиталах, понося всячески богачей, нежелающих применять свои капиталы в производстве, и тем самым не содействующих процветанию «отечества» и уподобляющихся собаке, лежащей на сене, занимаясь лишь спекулятивными операциями. Этот антагонизм между нарождающейся городской торгово-ремесленной буржуазией и денежными тузами усиливался, ибо «открывшийся» «дух» предприимчивости буржуазии натыкался на «консерватизм» золотых мешков, на высокий ссудный процент. Отсюда упорная трактовка вопроса о капитале у всех идеологов младотурецкого движения, требование создания банков, способных помочь промышленному развитию. Но феодально-клерикальное государство было глухо ко всем этим требованиям.

И в данном случае устами Мидхата говорит яркий представитель торгово-ремесленной «предпринимательской» буржуазии, буржуазии, сжатой в тисках феодально-клерикальных отношений, задыхающейся в этих тисках.

Второй причиной задержки развития промышленности в Турции была конкуренция иностранных промышленных товаров. Эта конкуренция разорила мелкие ремесла и мануфактуру, увеличивая количество безработных, составлявших целую армию так наз. «черни». Убиччини в своих «письмах о Турции» приводит следующие данные об уничтожении ремесленно-мануфактурной промышленности. В Скуттари и Торнове в 1812 г. насчитывалось около 2 000 ткацких станков, в 1846 г. их осталось едва 250; в начале XIX в. Алеппо вывозил на 100 млн. фр. всевозможных тканей, спустя еще 50 лет цифра вывоза упала до 7—8 млн. фр. Ихсан Абдин в своей работе о с.-х. Турции дает следующую картину разорения одной из отраслей турецкого ремесла: «Турция до 1839 г. внеконкурентно господствовала во всем мире своими изделиями из тонкой шерсти (правдивость утверждения автора оставляем на его совести и на этом вопросе останавливаться не будем, ибо нас интересует другая сторона вопроса), а до 1856 г. поставляла на весь мир сырую тонкорунную шерсть...» Вахид-паша в 1877 г. писал: «15 лет назад в Ангоре более 300 предприятий были заняты выработкой суконной материи, теперь же их осталось не более 3—4. Но в местечке Станос, находящемся в пяти часах пути от Ангоры, еще до сих пор имеется много таких предприятий»... Я поехал в Станос (ныне Зир), чтобы посмотреть остатки станков этих предприятий, но увидел, что это ремесло давно уже заброшено, и станки лежат в пыли. Самый большой удар суконному производству и вывозу тонкой шерсти нанесла Англия. Первый удар относится к 1839 г., когда Англия

уже успела создать у себя фабрики и конкурировала с нашими станками. Затем последовал второй удар, когда англичане начали вывоз наших пород коз и тонкорунных овец для разведения в свою южно-африканскую колонию [25]. О разорении ремесла можно судить и по цифрам роста ввоза в Турцию фабрикатов из Англии. Согласно лондонскому «Экономисту» [26], английский экспорт в турецкие области, включая Египет и Придунайские княжества, равнялся:

Годы	Фунты стерл.
1840	1.440.592
1846	2.707.571
1851	3.548.595

«Стетсмен Ирбук» дает следующие цифры:

Внешняя торговля Турции с Британией (включая Египет и вассальные государства) составляла:

Годы	Фунты стерл.
1867	6.625.498
1872	7.639.143
1875	5.889.905

Падение экспорта в 1875 г. об'ясняется общеэкономическим кризисом в стране, явившимся в результате финансового кризиса, неурожая, восстаний в Боснии и Герцоговине. Вплоть же до 1874—75 гг. мы имеем кривую роста внешней торговли Турции не только с Англией, но и с другими государствами. Этот рост импорта продолжал дальнейшее разорение ремесел, увеличивая армию безработных, усиливая недовольство торгово-ремесленной буржуазии политикой феодально-клерикального государства, предпринимающего лишь незначительные шаги для защиты отечественной промышленности.

Здесь необходимо кратко остановиться на специфическом характере представителей купеческого капитала Турции действующих на политической арене, чтобы понять их революционность. Торговый капитал был тесно связан с производством. «Тюджар»—купец выступал на рынке не только как товаропродавец, но и как представитель производства, ибо каждый такой «тюджар», помимо прямой связи всякого купеческого капитала с внутренним производством, в Турции сплошь и рядом был торговцем, продающим продукты своего предприятия—дюкана, представляющего собой наполовину магазин, наполовину мастерскую. Благодаря все более и более увеличивающемуся ввозу иностранная конкуренция больно била по этому специфическому тор-

[25] Ихсан Абидин, Положение земледелия и скотоводства в Анатолии, т. II, с. 108—109, Константинополь, 1928 г.

[26] Маркс, Собр. соч., т. X, с. 174.

говому капиталу. Экономическая политика феодально-клерикального государства еще более осложняла положение торгово-промышленного капитала. Благодаря бесчисленным капитуляциям иностранный торговый капитал пользуется всякими правами. Это содействует расцвету торговли предметами иностранного производства, в то время как отечественный капитал, зажатый еще в тисках фискальной системы феодально-клерикального государства, системы, не распространяющейся на иностранцев, с каждым днем все сильнее и сильнее чувствует на своих плечах тяжесть иностранной конкуренции.

Фискальная система государства в отношении внутреннего производства носила яркий феодальный характер и шла в разрез с требованиями торгово-ремесленной буржуазии. «При этом,—говорит Овсяный,—само правительство в своих распоряжениях зачастую идет в разрез с основными экономическими законами и таким образом подрывает местное производство и торговлю. Так недавно Порта свободно допускала иностранные товары, взимая с них самую незначительную оплату; свои же собственные продукты она облагала громадной пошлиной [27]. До 1861 г. существовали внутренние пошлины на сырье и полуфабрикаты. Так, например, коконы шелка при переправе с места производства в шелкомотальные и шелкопрядильные мануфактуры облагались в 8%, при вывозе за границу—только в 2%.

Правда, в 60-х гг. мы видим повышение таможенных ввозных пошлин с 3 до 8%, явившееся уступкой требованиям торгово-ремесленной буржуазии, но оно не сыграло никакой роли в смысле охранения внутреннего производства, на что указывает рост именно в это время импорта иностранных товаров. Отсталой Турции с ее варварской организацией труда в ремесленных мануфактурах невозможно было устоять против иностранной конкуренции даже при более высоких таможенных тарифах. Об этом говорит следующее замечание Гирса: «Англия подвергла пересмотру свои торговые договоры и тарифы, и ввозная пошлина была повышена с трех до восьми процентов, причем не предрешался вопрос о праве Порты требовать при возобновлении договоров нового повышения, даже до 25%; на это английский кабинет уже дал, как говорили, свое согласие» [28].

Правда, путем уступок в таможенных вопросах Англия имела в виду побить конкуренцию других государств и закрепить за собой турецкий рынок. «Мастерской мира» не были страшны временные высокие тарифы, ибо она с лихвой покрыла бы свои «убытки» в будущем, когда Турция была бы прибрана к рукам. Иных путей для приобретения «благорасположения» Турции не было, ибо Турция—не Индия, здесь в то время завязывался весь узел противоречий, и Англия принуждена была поэтому лавировать в своей восточной

[27] Овсяный. с. 138
[28] Гирс, с. 200.

политике. Однако факт согласия поднять таможенные тарифы на 25% свидетельствует об очень большой отсталости производства в Турции.

Уничтожение внутренних пошлин при этом оставалось в большинстве случаев лишь на бумаге: провинциальные власти зачастую продолжали их взимать попрежнему, совершенно не считаясь с декретами Константинополя.

Лозунг «свободы», свободы для развития капиталистического производства, о котором говорит Мидхат, был лозунгом всеобщим. «Об этом (о препятствиях развитию промышленного предприятия—*А. А.*),—говорит Мидхат,—мы много говорили и спорили и установили, что первопричина этому—недостатки в политическом управлении страны». Следовательно, в Турции 70-х гг. было налицо противоречие между назревшим капитализмом и продолжающим существовать феодальным общественным укладом жизни, и 70-е годы шли к разрешению этих противоречий. Развивающемуся капитализму надо было освободиться от внутренних пошлин, от феодальной фискальной политики, предприимчивость буржуазии должна была быть гарантированной от всех возможных посягательств[29]. Нужны были законы сообразно «духу времени», которые надо было проводить в жизнь и охранять, а не оставлять на бумаге. Развивающемуся капитализму нужна была такая внешняя политика, которая ограждала бы интересы отечественной промышленности, а не распродавала бы страну, не вела бы политику уступок. Этого требовали патриоты.

Со времени Крымской войны выросшие нужды феодально-клерикального государства уже не удовлетворялись внутренними доходами и поборами. Несмотря на производившиеся под разным соусом все новые и новые нажимы на налоговой пресс, как-то: сдача монополии на табак и т. д., доходы благодаря застою и деградации сельского хозяйства были недостаточны, чтобы удовлетворить нужды государства. Выход был найден—внутренние и в особенности внешние займы. Европейский ростовщический капитал охотно раскрыл свои кошельки, ибо, с одной стороны, Турция представляла собой рынок для прибыльного вложения ростовщического капитала, а с другой стороны, благодаря этим займам утверждались и сохранялись права и привилегии иностранного капитала в стране и приобретались новые. К тому же Турция, получая займы, укреплялась в военном отношении настолько, чтобы ее же руками сохранить на Ближнем Востоке «status quo», иными словами, стояла задача противопоставить самую Турцию агрессивности России.

Чтобы судить о прибыльности займов для европейского ростовщического капитала, необходимо принять во внимание лишь следующий факт:

[29] «Турецкое господство,—говорит Энгельс,—в самом деле несовместимо с капитализмом; накопленная прибавочная стоимость не гарантирована от захвата сатрапов и пашей; нет главного условия для буржуазной предприимчивости: не обеспечены ни личность купца, ни его собственность».

к 1873 г., по Шмейдлеру, займы Турции составляли 1 800 млн. руб., причем за исключением ничтожной суммы эти займы были заключены во вне. Но в государственную казну притекло только около 1 300 млн. руб., а остальная сумма ушла на разные комиссионные расходы, на продажу облигаций займа по цене значительно ниже номинальной стоимости. Зачастую эти облигации продавались за 50% номинала. «По внешним обязательствам,—говорит М. Джелал,—приходилось выплачивать 5—6%, но поскольку большинство облигаций были проданы за 50 и еще ниже процентов номинала, то на самом деле приходилось выплачивать 10—12%» [30].

Внутренними займодателями были не только галатские банкиры, но и само население Константинополя, принимавшее участие в займах. Увлечение займами пошло так далеко, что многие константинопольцы, распродав свое имущество, вкладывали деньги в займы. Туда же были вложены деньги и вакуфов—средства духовной корпорации.

Получаемые по займам деньги на глазах всего «народа» растрачивались непроизводительно и расхищались целым роем проходимцев, присосавшихся к государственной казне. Тут были и чиновники и придворные. Все они набивали себе карманы, а платить по займам должны были деревня и город. Платить должен был и Константинополь, который до сих пор освобождался от налога, т. е. налоговая тяжесть падала и на торгово-ремесленную буржуазию, что не могло, конечно, пройти без последствий. В 1873 г., например, был введен новый налог на домовладения. Чтобы судить о впечатлении, произведенном этим налогом, достаточно указать, что многие из домовладельцев, побросав свои дома, переехали жить на острова.

Бюджет 1875/76 финансового года был сведен с дефицитом примерно в 4 млн. лир (доходная часть—19 млн. лир, расходная—23 млн. лир), причем расходная часть распределялась следующим образом: около 50% было предназначено на уплату процентов и очередных взносов по займам, 35%—на содержание армии и флота, 10%—на расходы двора, а остальные 5%—на разные государственные нужды. Такой бюджет естественно тяжело отзывался на самых широких массах, в то время как большая часть средств уходила за границу—в карманы европейских ростовщиков, в карманы галатских банкиров турецкого торгово-ростовщического капитала, в карманы держателей облигаций и крупные суммы—придворной камарилье крупных бюрократов и т. д. Таким образом, займы представляли собой новый источник дохода для эксплоататорских слоев самой Турции.

Если первые займы шли на покрытие нужд феодально-клерикального государства, то дальнейшие займы шли на погашение первых займов и, таким образом, мертвая петля затягивалась все туже и туже. Все это происходило

---

[30] М. Джелал, т. I, с. 64. Махмуд Джелаледдин-паша. «Зеркало истины», Константинополь 1908—9 гг.

в условиях необходимости увеличить расходы благодаря начавшейся полосе крестьянских восстаний, в то время, как эти же восстания уменьшали доходную часть бюджета, сокращая налоговые поступления.

Чтобы кое-как урегулировать финансовые дела государства, ввиду дефицита в бюджете 1875/76 г., правящая клика решила издать 16 октября 1875 г. декрет о выплате в течение 5 лет только 50% как по процентам, так и по очередным платежам займов, тогда как держателям займа при дворе проценты и очередные платежи должны были быть выплачиваемы полностью и к тому же золотом. Все авторы единодушно отмечают бурю, которая была вызвана этим декретом во-вне и внутри страны, декретом, изданным по подстрекательству Игнатьева, посла России, незаинтересованной в этих платежах, но заинтересованной в создании затруднений в отношениях между Турцией и Европой. Люди, еще вчера считавшие себя богачами, сегодня оказались нищими, ибо курсы турецких фондов сильно пали и дошли до $^1/_8$ стоимости номинала. Быстро стали обесцениваться и бумажные деньги, и без того давно уже пошатнувшиеся в цене благодаря скупке правительством золота для расчета с заграницей.

Итак, финансовый кризис был налицо. Удар по экономической жизни города был велик, торговля парализована, банкротства увеличились. Сельское хозяйство уже до этого было подорвано. Кризис стал всеобщим.

Все слои города и деревни стали на дыбы против правящей дворцовой руссофильской клики Абдул Азиза—Махмуд Недима. Чтобы избежать распространения гнева широких масс города, разочаровавшийся в политике двора торгово-ростовщический капитал, задетый помимо этого и декретом 16 октября, переметнулся также на сторону революции. Феодальный двор лишился своей опоры: галатские ростовщики открыто выдавали все финансовые секреты дворцовой клики младотуркам, рисовали мошеннические проделки Махмуд Недима.

Отвернулось от султана и духовенство. Декрет от 16 октября ударил и по духовенству, ибо вакуфные средства были вложены в займы. Помимо этого, духовенство имело поводы быть недовольным политикой двора и по другой причине.

Вакуфы, являвшиеся экономической базой духовенства, правильнее говоря, верхушки его, особенно возросли в эпоху танзимата. И владельцы тимарных земель, поставленные перед фактом конфискации, и другие землевладельцы, и владельцы недвижимости вообще, боясь отчуждения под разными предлогами их земель или имущества в пользу государства, в эпоху танзимата прятались под сень вакуфов, ибо вакуфы были неприкосновенны. Вакуфы были освобождены от посягательств и судебных преследований. Налоговое законодательство специальной оговоркой охраняло вакуфы. Поэтому многие вступали в сделку с вакуфным ведомством: уступали ему свои права на владение имуществом или землей и платили последнему небольшую аренд-

ную плату за пользование имуществом. Сделка оговаривала права аренды на этих же условиях данной семьи до прекращения рода главы семьи. Этим путем почти одна треть земель перешла в руки вакуфов. Конечно эти «арендаторы» в свою очередь сдавали в аренду земледельцам, и, таким образом, над крестьянством нависал двойной гнет эксплютации. Вакуфами управляло высшее духовенство. Оно пользовалось огромным влиянием в делах государства, проводило не только по линии юстиции, но и по другим ведомствам своих ставленников, заведывало вакуфным имуществом, получало обширные доходы. Но это был не единственный источник доходов: со всех дел, в особенности юридических, духовенство под разным соусом получало «вознаграждение».

Наряду с этими патрициями духовенства существовали плебеи и полуплебеи. Это была та часть духовенства, которая фактически выполняла обязанности религиозного культа. Эта часть была подчинена первой, не имела никакого значения и влияния «наверху», получала скудное обеспечение из непосредственных доходов мечетей. Из плебса выскочить в патриции было делом нелегким: рогатки были настолько велики, что это удавалось только единицам. Верхушка же пополняла свои кадры из своей среды, что облегчалось существовавшей системой «выдвижения». Отсюда непрекращающаяся глухая борьба между слоями духовенства. К тому же низшие слои всегда были тесно связаны с народом, сами были выходцами или из рядов городской мелкой ремесленной и торговой буржуазии или из среды крестьянства. Уже в этом факте мы можем найти об'яснение революционности софт—учащихся духовных школ [31].

При сложившейся обстановке, однако, не только низшее, но и высшее духовенство оказалось в лагере «недовольных». Помимо финансового кризиса, бьющего по духовенству, правительство Абдул Азиза поставило в 1873 г. в порядок дня вопрос о секуляризации и продаже вакуфов, опять-таки как выход из финансовых затруднений. Переход вакуфов в руки государства означал прежде всего переход доходов с вакуфов. Еще некоторые предшественники Абдул Азиза пытались прибегнуть к этой мере для пополнения казны, но каждый раз эта попытка терпела фиаско. Поэтому как только Порта увидела произведенное впечатление, она сейчас же дала отбой, но престиж Абдул Азиза в глазах духовенства, являвшегося опорой трона и порядка, способного благодаря сложившимся обстоятельствам двинуть на дворцовую клику целые толпы народа и одним своим фетва низложить любого монарха, был подорван. Декрет 16 октября был последней каплей, переполнившей чашу.

---

[31] «По происхождению это были дети бедных деревенских «молла»—духовных лиц, т. е. люди, близкие деревне с детства» (Т. Л. Хитрово, Европейская Турция, М., 1909, с. 21).

Собственно султанский двор не пошел бы, пожалуй, на секвестр вакуфов, если бы его на это не толкнула Порта, оказавшаяся к этому времени, не надолго, в плену у буржуазных реформистов. В такое положение Порта попадала за последние 30—40 лет нередко, но каждый раз, как только реформы, предпринятые Портой, заходили дальше установленного, т. е. начинали бить по интересам господствующих слоев, из Порты сейчас же выкидывались буржуазные «симпатизаны» и заменялись махровыми реакционными ставленниками двора, типа Махмуд Недим-паши.

Двор представлял собой оплот феодальной корпорации; он был своеобразной организацией всей средневековой Турции. Эта олигархия была яркой выразительницей интересов откупщиков, феодалов Курдистана и Аравии, помещичьей Турции, феодально-родовой Албании и, наконец, черкесских князей, эмигрировавших с Кавказа и сохранивших даже в Турции свой феодально-патриархальный быт, вплоть до остатков рабства. Опорой двора внутри страны кроме того была феодальная бюрократия, в особенности та ее часть, которая фактически владела государственными землями или в виде приказчиков государственных имений—чифтлик агасы, или в виде дефтердаров—чиновников, ведающих выдачей разрешения на обрабатывание государственных земель. Вот эта феодально-бюрократическая олигархия, тесно связанная со всеми феодальными элементами страны, и являлась «дворцовой кликой», вошедшей столь важным элементом в историю Турции. Но к 1875 г. от «двора» отшатнулись даже духовенство и торгово-ростовщический капитал.

Не только путем непосредственной эксплоатации, но и через государственный механизм шло перекачивание огромных средств в кошельки феодально-бюрократической олигархии с султаном во главе. Так, цивильный лист султана составлял:

Годы	Фунты стерл.
1861—69	911.516
1869—70	920.821
1874—75	1.809.090

Кроме того, на пенсии бывшим владельцам тимарных земель уходило по бюджету 34 718 845 млн. фр.

Для извлечения больших доходов дворцовая клика не останавливается даже перед распродажей оттоманской империи по частям. Представитель Египта приехал в Константинополь для получения от султана права свободного заключения договоров и займов с Европой. Приближенным султана дворцовым кругам были розданы 500 тыс. лир, и разрешение было дано. «Во время этих торгов,—говорит М. Джелаледдин-паша,—некоторые из прибли-

женных султана, ум и мысли которых не стоили гроша, заработали по 150 тыс. лир» [32].

Непосредственной прелюдией к событиям 1876 г. было босно-герцоговинское восстание, правильнее говоря, политический кризис во вне и внутри страны, явившийся результатом этого восстания. Босно-герцоговинское восстание дало повод к вмешательству европейских государств, оно открыло гнойники феодально-крепостнического режима, оно дало простор младотурецкому движению.

Босно-герцоговинское восстание было типичным крестьянским восстанием против феодально-крепостнической системы, руководителем или, правильнее говоря, застрельщиком которого явилась городская торговая буржуазия. Избегая преследований и притеснений феодально-клерикальной Турции, целая группа купцов эмигрировала в Австрию, где сорганизовалась и явилась той силой, которая подготовляла это восстание [33]. Массу же восставших составляло крестьянство.

Реформа 40-х гг. в Боснии и Герцоговине отменила барщину, работу непосредственно на помещика, но феодальные повинности отменены не были. Крестьяне, работающие на земле помещика, должны были уплачивать третью часть с урожая и половину сена с лугов. Помещик же третью часть собранного им таким образом с крестьян должен был уплачивать казне. Таков был договор между помещиком и крестьянством, с одной стороны, и между помещиком и правительством—с другой.

Но этим не исчерпывались феодальные повинности крестьянства. Ему еще необходимо было выплачивать десятину или хорадж государству. Последняя собиралась через откупщиков, являвшихся не только сборщиками налогов, но и ростовщиками. Быть откупщиком значило не только быть хозяином данного округа, хозяином, который брал с крестьян все, что они производили, оставив им лишь самое мизерное количество продуктов, но и таким хозяином, по отношению к которому крестьяне оставались в долгу на будущее время. Поэтому велико было недовольство крестьян налоговой системой.

Внешний характер восстания был христианский, ибо религиозный вопрос совпадал здесь с классовыми интересами. Дело в том, что большинство помещиков-землевладельцев, хотя и были славянами, но, чтобы спасти свои владения при турецком завоевании и сохранить собственность на землю, в особенности в таких провинциях, которые находились на границе, приняли ислам. Этот слой военных помещиков и был оплотом охраны границ

[32] М. Джелал, т. I, с. 40.

[33] См. у Риттер-фон-Закс, с. 19, Die Geschichte des Machtverfalels der Türkei, Wien, 1913 г. Кроме этих данных нет никаких других.

Турецкой империи. Следовательно, за религиозной оболочкой скрывалась крестьянская война [34].

Боснийское восстание началось в местечке Нувесин, находившемся на границе Герцоговины. Восставшие крестьяне, забрав свой скот и имущество, отправились в горы. Первоначально восстание носило исключительно оборонительный характер и ставило своей целью отказ от выплаты налогов. Лишь с присоединением к восставшим и других районов Боснии, а затем и Герцоговины, восставшие перешли от обороны к нападению. Уже спустя два-три месяца вспыхнула гражданская война по всем правилам военного искусства с той и с другой стороны. Вокруг правительственных войск сплотились все помещичьи и клерикальные элементы, причем им удалось вовлечь в борьбу с восставшими и мусульманскую часть крестьянства. Таким образом была достигнута изоляция восставших, превратившая это восстание в чисто христианское; восставшие имели свой тыл лишь в Австрии, куда восставшие и уходили по мере наступления на них правительственно-помещичьих войск.

Представление о размерах восстания дают цифры направленных на театр гражданской войны войск. Всего было стянуто в этот район 35 батальонов плюс 2 тыс. добровольцев. Однако и этому количеству войск было трудно справиться с восставшими. Силы повстанцев исчислялись в 60 тыс. человек. На помощь правительству явились разногласия в лагере повстанцев, о которых мы не имеем, к сожалению, никаких сведений, кроме указания на их наличие.

Тыл восстания, как мы уже упомянули выше, находился в Австрии. Австрийская империя, естественно, не из либеральных соображений поддерживала или разжигала восстание. Положение крестьянства в Австрии было не менее тяжелым. Тем не менее, как сообщает Эдельхафт, и Австрия и Россия «имели руку в игре» [35]. От имени России орудовал через свою консульскую сеть Игнатьев, а от имени Австро-Венгрии давал обещание поддержать восставших сам монарх, принявший во время приезда на границу инсургентов. Турецкое правительство об этом было великолепно осведомлено из документа, который был куплен турецким послом в Вене Халим-пашей [36].

Об этом же говорит и М. Джелаледдин-паша [37].

[34] «В Боснии и Герцоговине дворянство славянского происхождения перешло в мусульманство, в то время как масса народа осталась райей, т. е. христианами. Таким образом, в этой провинции господствующая вера и господствующий класс совпадают» (*Маркс*, т. X, с. 165).

[35] См. Эдельхафт, Die Geschichte der neuesten Zeit, B. I. c. 113.

[36] См. там же.

[37] «Еще до Рейхштадского соглашения австрийский император во время пребывания в Далмации поощрял славянское движение Боснии и Герцговины, принял главарей славянских комитетов и своими обещаниями о возможности присоединения этих двух областей к Австрии усилили сепаратистские тенденции и тем самым положил начало «Герцговинскому вопросу». М. Джелал, т. I, с. 41.

Во время босно-герцоговинского восстания Россия и Австрия вели бесцеремонную лицемерную игру. Хотя к этому времени Рейхштадское соглашение еще не было заключено, но основы его уже были заложены, и между двумя государствами была договоренность о невмешательстве в турецкие дела. Поэтому открыто друг перед другом представители этих держав уговаривали восставших сложить оружие, тогда как в тайне каждая из них подстрекала повстанцев, а Австрия доставляла и оружие. Но тут, повидимому, были и другие планы: сначала помочь повстанцам, затем лишить их помощи, а перед разгромом правительственными войсками выступить как защитники цивилизации. Как бы то ни было, но лицемерия с обеих сторон было проявлено так много, что восставшие были в значительной степени дезориентированы, и победа Константинополя была обеспечена.

Наконец, когда уже восстание почти было подавлено, министр иностранных дел Австрии Андраши обратился к державам с предложением плана реформ в Боснии и Герцоговине. Об этом плане М. Н. Покровский пишет: «План... клонился к тому, чтобы создать перманентный повод для австрийского вмешательства в Боснии и Герцоговине, вмешательства, которое раню или поздно должно было привести сначала к военной оккупации Австрией этих областей, а потом и к аннексии их».

План Андраши, помимо требований о религиозной и политической свободе для христиан, содержал еще следующий пункт: 1) уничтожение откупной системы, 2) часть прямых налогов должна быть предоставлена на местные нужды, 3) часть земель должна быть отдана крестьянам. Эта часть плана как нельзя лучше характеризует восстание.

Но турецкое правительство, уже осведомленное о выдвижении этого проекта, еще не дожидаясь его об'явления, двумя указами в декабре 1875 г. (план Андраши был послан 30 декабря) пошло на уступки повстанцам.

Указы предусматривали, в области налоговой, отмену откупной системы, замену десятины поземельным налогом, единый налог, выборы сборщиков налога из среды самого населения, снижение налогов на $2^1/_2\%$; в области прав владений—обеспечение прав всяких видов собственности немусульман, реформы в земельном вопросе, отмена оброков с крестьян; затем шли реформы в области политической, расширяющие права христиан, т. е. буржуазии и крестьянства. На ноту же Андраши Константинополь ответил только после долгих переговоров с Англией признанием части реформ, предложенных нотой. Но это было совсем не важно. Константинополь увидел, что между европейскими державами нет единого фронта, что Англия не поддержит Россию и Австрию. Тем более, когда в разгар восстания, в августе 1875 г., ряд послов европейских государств поднял вопрос о посылке консулов для выяснения событий, происходивших в Боснии и Герцеговине, Константинополь получил от английского правительства следующую телеграмму, датированную 25 августа 1875 г.: «Английское правительство неохотно при-

соединилось к предложению послать консулов в район восстания. Мы считаем вмешательство консулов неудачным. Порта должна знать, почему мы согласились на это. Мы предпочитаем, чтобы Порта, не обращаясь к вмешательству держав, сама бы в отношении бандитов приняла необходимые меры» [38].

Помещичье-клерикальная власть Боснии и Герцоговины, конечно, не была намерена провести все реформы в жизнь. Она ограничилась лишь некоторым незначительным облегчением положения крестьянства и смотрела на указы Константинополя, как на неизбежную формальность перед лицом Европы. Для Австрии же и России повод к вмешательству все же был найден.

Босно-герцоговинское восстание кончилось поражением крестьянской революции, разгром был полный. Когда началось восстание в Черногории, то Босния и Герцоговина уже не была в состоянии поддержать его, несмотря на усиленные стремления Черногории. Основная причина поражения—изолированность восстания. После Боснии и Герцоговины были еще восстания в Болгарии, была сербско-черногорская война против Константинополя, но все они были разрозненными выступлениями, и в этом была их слабость.

МЛАДОТУРКИ И БОРЬБА ЗА КОНСТИТУЦИЮ

Движением 1876—78 гг. руководили младотурки.

«Ты помнишь, когда мы недавно говорили о Турции, я указал тебе на возможность пуританской партии, опирающейся на коран. Теперь это осуществилось» [38а].

Так писал Маркс Энгельсу о партии, которая вошла в историю Турции под именем младотурецкой, спустя 7 дней после переворота, возглавляемого этой партией. Маркс дал меткую характеристику младотурок в момент их открытого выступления на историческую арену как политической силы. Однако дальнейшее развитие младотурецкого движения привело к тому, что исламская оболочка была сброшена.

Партия младотурок была партией средней и мелкой буржуазии. Специфические особенности развития турецкой буржуазии исчерпывающе об'ясняют нам кажущееся противоречие этого определения: каким образом среди этой христианской или во всяком случае нетурецкой буржуазии, каковой была преимущественная городская буржуазия, могла зародиться партия, «опирающаяся на коран». Турецкая буржуазия, во-первых, была тесно связана с внутренним рынком, так что по отношению к европейскому торговому капиталу она выступала (тогда) не как комиссионер, а как самостоятельная величина, претендующая на гегемонию на внутреннем рынке. Во-вторых, эта торговая буржуазия была

---

[38] М. Джелал, т. I, с. 55.

[38а] Письма Маркса Энгельса, т. IV (немец. изд.) с. 376.

тесно переплетена в своей деятельности и развитии с мелкой промышленностью ремесленно-мануфактурного типа. В рядах партии младотурок было много представителей непосредственно ремесла и мануфактуры. В-третьих, эта буржуазия была еще слаба, чтобы ревизовать все основы средневековой Турции, следовательно, и ислам в области идеологии, как это сделали в наше время кемалисты, поэтому она в недрах этого средневековья искала пути оформления своей идеологии, а, с другой стороны, была не прочь использовать наследие старой исламской Турции для ведения конкурентной борьбы с западноевропейским торговым капиталом [38б].

Следовательно исламизм турецкой буржуазии вытекал целиком из ее слабости, с одной стороны, и был своего рода защитой в борьбе с наступающим на нее более мощным европейским капиталом, с другой. Партией этого класса могла быть и была партия младотурок.

I

Шестидесятые годы ознаменовались усилением реакции в Турции. Реформаторов Махмуда и Абдул Меджида сменил Абдул Азиз, вся политика которого была как бы реакцией против тех уступок, которые были сделаны буржуазии его предшественниками. Собственно уже к концу султаната Абдул Меджида после Крымской войны начинается полоса реакции и, как отзвук, усиление движения первых младотурок против феодально-клерикальной монархии. Первый заговор против султана организован младотурками в 1860 г. Попытка свергнуть Абдул Меджида потерпела фиаско. Смерть Абдул Меджида и приход к власти Абдул Азиза был встречен буржуазией почти ликованием. К тому же Абдул Азиз в первые годы своего царствования предпринял некоторые шаги, усилившие надежды буржуазии,

[38б] Когда мы говорим о греческом и вообще о христианском торговом капитале, мы должны иметь в виду не буржуазию непосредственно территориально связанную с христианскими областями тогдашней Турции, а нетурецкую буржуазию, господствовавшую на рынках собственно самой Турции. Первые были сепаратистами, как например, греческая, болгарская и сербская буржуазия, и являлись ярыми врагами младотурок, как и египетская буржуазия, ибо младотурки были противниками всяких сепаратистских тенденций.

Иначе и не могло быть: перед турецкой буржуазией стояла задача об'единить Турцию в интересах торгового капитала. Хотя младотурки и выступали иногда с требованиями предоставить автономные права нетурецким областям, однако, основным условием они ставили сохранение единства оттоманской империи. С другой стороны, христианская буржуазия лучше чем многие «христолюбы», часто совершенно искренно горевшие желанием освободить «братьев во Христе» от турецкого ига, понимала свои выгоды оставаться под этим игом при наличии условий, обеспечивавших ее развитие.

в ирадэ[39] по поводу восшествия на престол Абдул Азиза господствующие классы обещали продолжать танзиматские реформы, из тюрем были освобождены политические заключенные и т. д. Но уже в конце первой половины 60-х гг. реакция опять усилилась. Реформы одна за другой начинают сводиться на-нет. Самодержавие, полный абсолютизм, стремление лишить Порту какого бы то ни было влияния, перенесение центра власти в двор, в руки дворцовых кругов—вот лозунги наступающей реакции. Представители буржуазии в бюрократическом аппарате заменяются клерикалами. Султан предполагает заменить Аали- и Фуад-пашей, двух столпов бюрократии, бывших больше представителями буржуазии, чем феодально-клерикальных сословий, представителями клерикалов, из которых один является даже дервишем.

Реакция была результатом приспособления феодально-клерикальных слоев к новым формам эксплоатации, которая оказалась возможной с получением займов за границей.

Для европейского ростовщического капитала реакция Абдул Азиза была лучшим средством для выкачивания прибавочного продукта из Турции. Феодально-клерикальные слои, их государственный аппарат были надежным орудием, вполне обеспечивающим своевременную уплату процентов и очередных платежей по займам Европы. Займы, таким образом, оказались связующим звеном между европейским ростовщическим капиталом и султанской Турцией. Здесь и надо искать ключа к пониманию реакции Абдул Азиза.

Буржуазия ответила на реакцию Абдул Азиза усилением движения. В мае 1866 г. было решено устроить восстание (так называемое «Кулели вак аси»), чтобы вынудить султана провозгласить конституцию.

Во главе восстания стоял Опар-паша, венгерец, бежавший после 1848 г. из Венгрии. Восстание было приурочено к тому моменту, когда султан по обычаю, установленному в 1840 г., должен был явиться в Порту выслушать отчет великого визиря и дать директивы на будущее. Этот обычай был своего рода ограничением власти султана в интересах констатинопольской буржуазии, тесно связанной через ряд своих представителей с Портой. Правда, Порта не всегда находилась в руках буржуазных ставленников, как например, в период премьерства Махмуд Медима или раньше в начале 60-х годов, но она была рупором мнений христианской буружазии, некоторой отдушиной. Восстание не удалось, организация младотурок была раскрыта за три дня до восстания, благодаря провокации одного из участников. Участники заговора были частью арестованы, частью бежали в Европу, а оставшиеся ушли в подполье.

Какова была программа заговорщиков-младотурок, имели ли они вообще свою оформленную программу, покрыто пока мраком неизвестности. По словам Энгельгарда («Турция и Танзимат», Константинополь 1912), ниже

[39] Указ султана великому визирю.

приводимые выдержки из памфлета Хайреддин-паши «Реформы, необходимые для мусульманских государств», изданного в 1868 г., дают некоторое представление о целях, которые поставили первые младотурки перед собой в области политической:

«Властители, как и все люди, подвержены слабостям, присущим человеку... Участие и помощь народа в государственных делах, ответственность министров, контроль в общественных делах не могут явиться препятствием, если властитель, обладающий лучшими качествами, пожелает творить благие дела. Наоборот, властитель должен восторгаться этой помощью народа. Достаточно развить и изменить только один из законов оттоманского государства: в политическом законодательстве султана Сулеймана I говорится: «Управление империей возложено на духовенство и министров; если султан собьется с верного пути, то духовенство и министры имеют право сделать соответствующее напоминание. Если султан не примет во внимание это напоминание, улемы и министры ставят в известность начальников армии. Если падишах будет настаивать и продолжать нарушения и свою прихоть,—он должен быть низложен и избран другой из султанствующего рода». В таком случае политические задачи духовенства и министров идентичны с таковыми депутатского собрания в конституционных государствах Европы... Сулеймановские законы долгое время придавали жизнеспособность государству и служили причиной прогресса и величия Оттоманской империи».

Таков был итог первого «заговорщического» периода развития младотурецкого движения. Однако уроки этого периода не прошли даром. Если до этого младотурки создавали организации исключительно заговорщического типа, то в дальнейшем они переносят центр тяжести своей работы на массовую работу, на устную и печатную пропаганду и агитацию. Этот период вплоть до реакции Абдул Гамида можно назвать вторым периодом младотурецкого движения.

Таким образом младотурки в области тактики от карбонарийского типа кружков дошли до массового движения. Но и в области политической они не остались на прежних позициях. Если согласно памфлету Хайреддин-паши они говорят об ответственности вообще и об ограничении власти султана контролем духовенства и министров, то в 1875 г. младотурки становятся ярко выраженными конституционалистами, а «злые» языки говорят даже о их республиканском духе. Последнее вполне возможно, ибо младотурки, находясь в эмиграции, не только были в связи с левыми политическими организациями Запада, но, как указывают многие историки и хроникеры, принимали участие в борьбе рабочего и ремесленного Парижа в дни Коммуны против версальцев [40].

[40] См. также у Теплова, «Младотурки, столь либерально защищавшие в своей газете «Ибрет» даже Парижскую Коммуну 1871 г.» с. 7.

Идеи конституции особенно ярко выражены в статьях Намык Кемаля, о котором Расим пишет: «Кемаль был особенно ненавистен правительству Абдул Азиза за свои свободолюбивые статьи и воспевание революции в турецкой литературе. Он был первым, кого можно назвать младотурком в подлинном смысле этого слова, и старался распространить в стране идеи конституции и свободы» [41]. Намык Кемаль в ряде своих статей в газете «Хуррист» («Свобода», издавалась в Лондоне в конце 60-х гг.) выступает как глашатай конституционного движения. «Освобожденцы-османы... вникните в смысл опасностей,—писал он,—грозящих отечеству, всмотритесь в наши достижения, добытые борьбой, и вам станет ясно, что освобождение страны ныне связано с конституционным управлением, что необходимо продолжать борьбу за эту цель. Если мы любим отечество, то приложим усилия для ее завоевания и немедленно двинемся вперед» [42].

То же самое мы встречаем у Мидхада, выступающего уже в конце 60-х гг. ярым сторонником конституции. Об этом говорится и в меморандуме, посланном младотурками иностранным посольствам:

«Если бы в Турции вместо деспота имелся мудрый монарх, который опирался бы на совещательную палату, состоящую из представителей от всех народов и религий, то наша страна была бы спасена».

Однако даже в своих требованиях конституции младотурки вначале исходят из положения, что «конституция не противоречит законам корана» [43]. Намык Кемаль идет дальше, он утверждает, что «политические правила ислама соответствуют справедливости, культуре, прогрессу целиком» [44]... «Вместо того, чтобы положить в основу судебного кодекса французские законы, проведение коих пункт за пунктом невозможно, вместо этого, если бы были взяты соответствующие положения о наказаниях из шариата [45] и были бы оформлены в закон, тогда бы не осталось места жалобам, что с европейской точки зрения есть полное противоречие между исламом и культурой» [46].

Н. Кемаль, конечно, не предлагает проведение этих законов шариата в жизнь в таком виде, в каком они изложены в исламских кодексах; наоборот, он предлагает из старых исламских уложений взять только такие за-

[41] Расим, ч. 2, с. 81.

[42] Н. Кемаль, с. 175.

[43] Из меморандума иностранным посланникам. В этом свете становится совершенно непонятным обвинение некоторых буржуазных исследователей младотурок, что они будто бы стремились скрыть свое исламское лицо и лицемерили.

[44] Н. Кемаль, с. 221.

[45] Законы, основанные на коране.

[46] Н. Кемаль, с. 3.

коны, которые соответствуют «духу времени», т. е. требованиям буржуазного развития. Н. Кемаль предлагает устранить из ислама все, что мешает свободному капиталистическому развитию, выколотить из ислама его феодальную сущность.

Младотурки не предполагали создать исламское государство, хотя «исламизм» младотурок и не был лишь прикрытием, своеобразной чадрой, в стремлении обеспечить поддержку одной из фракций феодализма—духовенства—в борьбе против феодально-крепостнических слоев. Как только младотурки почувствовали себя сильнее, они постарались освободиться от этого «исламиза». В своем первоначальном проекте конституции Мидхат писал: «Государство, как государство, не имеет религии», но султан сохранялся как халиф ислама. Следовательно, младотурки, упоенные победой, не останавливались даже перед вопросом об отделении церкви от государства. У М. Джелаледдина мы узнаем больше: младотурки не прочь были освободиться и от халифа. «В это же время,—пишет он,—у одного из учащихся военной школы, приверженца Кемаль-бея (Н. Кемаля—*А. А.*) Али Назми, нашли документ, в котором было сказано о необходимости отделить от османских властителей халифатство и передать его меккскому шерифу... Это вызвало возмущение двора. Вместе с несколькими своими товарищами Али Назми был арестован» [47]. Младотурки ясно понимали задачи, стоящие перед буржуазной революцией в Турции в области политической. Спустя примерно 50 лет кемалисты, углубляя буржуазную революцию, неизбежно пришли и к ликвидации халифата, как прерогативы духовной власти. Вначале же и они предполагали сохранить халифа у себя, как главу мусульман, но «вред», который представляло собой сохранение халифа, был гораздо больший, чем «польза» от спекуляции ролью страны—хранительницы заветов ислама. Халифат был для кемалистов оплотом реакции, а для первых младотурок—феодально-клерикального господства.

Стремясь доказать сугубый исламизм (христианоненавистничество) младотурок, некоторые исследователи ссылаются на их союз с духовенством в 1875—1876 гг. Но мы уже указали, что привело духовенство к младотуркам.

Участие духовенства, хотя бы в первой стадии движения, было исключительно счастливым обстоятельством для младотурецкого движения. Этим в значительной степени была обеспечена нейтрализация, а пожалуй даже сочувствие «черни», на роль которой неоднократно указывает Маркс [48].

[47] М. Джелаледдин, т. I, с. 267.

[48] «Мы видим, какое жалкое крушение терпели все попытки турецкого правительства стать на путь цивилизации, как исламитский фанатизм, носителем которого является преимущественно турецкая чернь нескольких крупных городов, использовал помощь Австрии и России только для того, чтобы опять достигнуть власти и уничтожить всякую попытку к прогрессу» (Маркс и Энгельс, т. X, с. 164).

Эта «чернь» состояла из разорившихся ремесленников или бесчисленного количества «санкюлотов», за гроши работающих на пристанях или в мастерских. Реакция, как и везде, ловко использовывала всегда эту чернь против всякого буржуазного новшества. Под руководством духовенства, временно перешедшего на сторону революции, этот «предпролетариат» выполнил в 1876 г. в Турции свою революционную миссию. Но сделать отсюда вывод об исламизме младотурок, значит игнорировать факты, доказывающие совершенно противоположное этим утверждениям.

Все историки младотурок, все, кто писал о них, усиленно подчеркивают «исламизм» младотурок, но о «христианской» душе младотурецкого движения все стараются умолчать. Между тем, все документы указывают на то, что младотурецкое движение выросло на гребне «христианского» движения, на волнах целого ряда крестьянских восстаний в христианских провинциях оттоманской империи. Младотурки питались критским восстанием второй половины 50-х гг. как и всеми последующими восстаниями первой половины 70-х гг.; в моменты этих восстаний их голос звучал громче. Тылом городской христианской и нехристианской буржуазии в ее борьбе всегда были эти крестьянские движения. Младотурки все время также стремятся подчеркнуть «справедливость» требований восставших и, прикрываясь их именем, напирают на феодально-клерикальное государство. Неуспех младотурецкого движения можно именно об'яснить потерей этого тыла в результате развернувшихся в 1875—78 гг. событий.

«Все мы—мусульмане и не-мусульмане,—говорит рукописная прокламация младотурок от 1874 г.,—дети одной и той же земли... Все мы хотим равенства, уверенности в нашей жизни, свободы и справедливости в нашей общей родине... Турки, греки, армяне, евреи, свободные и рабы, идите к нам; у нас один и тот же враг».

Намык Кемаль ратует за свободу для христианской буржуазии следующими словами: «Если до сих пор такое огромное христианское население не приблизилось (т. е. не слилось воедино в оттоманском государстве—*А. А.*), то в этом вина не самого государства, а виноват способ управления; из-за последнего не только христиане, но и мусульмане, которые всегда были терпеливы и спокойны, все же в различных местах и несколько раз показали, что их терпению пришел конец [49].

В ночь свержения Абдул Азиза и провозглашения буржуазного султана Мурада в военном ведомстве «собрались Мидхат-паша и многие другие сановники и посвященные в заговор, всего от 500 до 600 мусульман и христиан, в присутствии которых и был произнесен бейат — официальное провозглашение нового султана» [50].

---

[49] Н. Кемаль, с. 51.
[50] Теплов, с. 53.

Наконец, мы имеем еще следующий факт: «Чтобы удалить Махмуд Недим-пашу от премьерства, Хасан Фехми вызвал в Константинополе волнения, а этому способствовал, путем раздачи денег, ростовщик Христаки. Деньги раздавались через Мидхат-пашу» [51].

Из этих свидетельств мы видим, что младотурецкое движение не только по своей идейной сущности, но и по своим людским кадрам, по качеству его участников было не только исламским и даже не только турецким движением. Это вполне естественно: младотурки были партией городской ремесленно-торговой средней и мелкой буржуазии, состоявшей в своем абсолютном большинстве из нетурецких национальностей.

Особенно ярко выступает «христианофильство» Мидхата как в его политических воззрениях, так и в связях. Мидхат хорошо понимал, что за религиозной оболочкой христианского движения скрывается политическая борьба буржуазии. Прикрываясь религией, не-мусульмане завоевывают себе права, которых они лишены в политической области [52].

За время своего пребывания губернатором Дунайского вилайета он везде и всюду привлекает христиан к власти. В Константинополе в момент непосредственного свержения Абдул Азиза он устанавливает связь с христианской буржуазий, получает субсидии. Например, тот же самый Христаки посвящается во все планы свержения Абдул Азиза. Ибрагим Шукри-паша в своих воспоминаниях рассказывает такой, довольно небезынтересный факт: «Мидхат-паша узнал, что мой брат выслан. Одно время он ему регулярно помогал (из европейской ссылки после провозглашения конституции). У владельца мастерской мебели Нарлиян-эфенди в Константинополе был тогда магазин. Паша посылал ему деньги. Я же брал у него и пересылал брату. Паша был расположен также и к Теодору Касабу. И для него я брал деньги у Нарлияна, которые через одного из его родственников пересылал Теодору Касабу, сидевшему тогда в тюрьме» [53].

Приводимый факт характерен тем, что после разгрома младотурок в начале 1877 г. и высылки Мидхата из пределов Турции он доверял христианам-младотуркам важнейшие поручения по оказанию материальной помощи в Константинополе сидевшим в тюрьмах участникам младотурецкого

---

[51] М. Джелаледдин, с. V.

[52] Мидхат-паша, т. II, с. 13.

[53] Хайреддин, Документы, вып. V, с. 45. Теодор Касаб был редактором известной тогда младотурецкой газеты «Кара-гюз». В «Истикбале» появлялись его статьи, в которых он выступал как сторонник не просто конституции, а учредительного собрания, которое само должно было установить форму правления. Его арестовали за карикатуру, на которой был изображен человек, закованный в цепи, внизу стояла подпись: «Печать в пределах закона свободна». Это уже было после того, как реакция, принужденная созвать парламент, предварительно разгромила младотурецкое движение в начале 1877 г.

движения и что часть печати находилась именно в руках христиан-младотурок.

В свете всех этих фактов от «исламизма» младотурок не остается и следа. Что же касается своеобразного «исламофильства» младотурок, то эту оболочку буржуазное движение в Турции одело на себя в силу специфических условий своего развития.

Примерно с таким социальным багажом младотурецкое движение подошло к 1875 г. При оценке последующих событий необходимо иметь в виду, что буржуазия, представленная торгово-ростовщическим капиталом, действовала в течение целого ряда лет реформистским оружием. Она не направляла свои удары по всей феодально-клерикальной системе, а вела борьбу за исправление этой системы. Это казалось возможным: ведь дало же это государство кое-что буржуазии за последние 40—50 лет. Многие европейские исследователи также видели основной «грех» Турции не в самой системе государства, а в его чиновничьем аппарате. И нужно было некоторым младотуркам самим стоять долгое время у власти в системе феодально-клерикального государства, чтобы убедиться в невозможности без коренного изменения всей системы получить необходимые результаты. К осторожным действиям буржуазию толкало и стремление сохранить весь аппарат этой машины и надежда, что феодально-клерикальное государство при известных условиях сумеет быть надежным орудием для сохранения целости Оттоманской империи как от внешних поползновений, так и от внутренних сепаратистских стремлений. Но когда это государство на самом деле показало себя неспособным ни к проведению необходимых реформ, ибо оно одной рукой отнимало то, что давало другой, как это было с вилайетской системой, ни к сохранению целости страны от внешних поползновений, как это было с Россией, ни к сопротивлению сепаратистским стремлениям, как это было с Египтом, когда вдобавок это государство брало бесконечные займы, усиливая налоги и поборы, обесценивая бумажные деньги, чем привело страну к экономическому кризису,—лишь тогда буржуазия заговорила не только об аппарате этого государства, а о самой системе его. Буржуазия стала требовать своего участия в власти, контроля и пересмотра самих основ правления.

В. Далин

МАНУФАКТУРНАЯ СТАДИЯ КАПИТАЛИЗМА ВО ФРАНЦИИ XVIII ВЕКА В ОСВЕЩЕНИИ «РУССКОЙ ШКОЛЫ»

I

Роль русских историков в изучении ВФР, особенно ее социально-экономической истории, никем сейчас не может быть оспорена. Недаром Матьез призвал историков французской революции к изучению русского языка и заявил, что «никогда так, как теперь, не жалел о том, что не использовал свою молодость для приобретения этого необходимого знания» [1].

Работы значительной группы русских историков следует рассматривать, как нечто об'единенное, связанное, как работы определенного направления. К нему могут быть отнесены далеко не все авторы, разрабатывавшие историю революции: ни по своему мировоззрению, ни по об'ектам исследования Герье и Ардашев не могут быть об'единены с Лучицким. Основание к тому, чтобы говорить о «русской школе», дает известное единство социально-экономических взглядов и вытекающих из них методов изучения социально-экономических явлений [2].

Давая отзыв на книгу Кареева, Лавров [3] писал: «На Западе историю создавали города, и, когда в среду культурных политиков... стала упорно толкаться серая масса так долго забытого большинства, она представлялась историкам преимущественно массою городских ремесленников и пролетариев... На Руси города создавались и исчезали по предписанию канцелярий, существовали лишь благодаря присутственным местам... Западный историк может лучше понять то, что относится к населению городскому; русские же исследователи могут яснее и сочув-

---

[1] «Annales historiques» № 24 (ноябрь—декабрь, 1924 г.) обзор новейших русских работ.

[2] Не говоря уже о Герье и Ардашеве, даже взгляды М. М. Ковалевского, как мы постараемся дальше доказать, во многом совпадающие с оценками «русской школы», чрезвычайно во многом с ней расходятся.

[3] Лавров, Сочинения, вып. IX, «История Франции под пером новых русских исследователей», с. 101.

ственнее обработать... другую долю, которая принадлежит населению земледельческому». Незачем здесь вдаваться в полемику по вопросу о роли городов и русской истории: совершенно очевидно, что для народников 70-х гг. это направление интересов, это требование «сочувственного» изучения истории крестьянства были совершенно неизбежны. Именно здесь, в народническом мировоззрении, — то общее, что дает право говорить о «русской исторической школе»; Лучицкий и Кареев—крупнейшие ее представители—выросли под влиянием народничества, приняли—пусть в неравной мере—его историко-философскую и социально-экономическую доктрину, руководствуясь ею в своих исторических работах. Разумеется, любой из крупнейших русских историков не мог не эволюционировать: в 70—80-х гг. для Лучицкого, Кареева и Ковалевского принцип русской общины, ее сохранения, ее оправдания во всеобщей истории был абсолютно общим [4], но уже к концу XIX в. у Ковалевского прежние взгляды заметно надломились. В 1872 г. Лучицкий по живым следам событий читал лекции о Парижской Коммуне [5]. Лучицкий и Кареев ближайшим образом соприкасались с Лавровым; в 90-х гг. оба они—народники-либералы, в XX в.—оба кадеты [6]. В 70-х гг. Лучицкий не хотел даже знакомиться с Оларом, человеком неприемлемым для него. В XX в. сближение «русской школы» и направления, возглавляемого Оларом,—явление далеко не случайное и характерное для эволюции русской школы к либерализму. Однако, заняв определенную позицию в споре русских народников и марксистов 90-х гг., они перенесли усвоенную ими точку зрения на вопрос о жизнеспособности мелкого крестьянского землевладения, о роли кустарной промышленности, о характере расслоения крестьянства, о темпе развития капитализма, о взаимоотношениях между «промыслами и земледелием», о методах статистического изучения деревни—на французскую почву. Эту свою неприязнь к «индустриалистским концепциям», к «преувеличенным»

---

[4] «Лучицкий, как и я, был прилежным читателем «Отечественных записок» и в частности высоко интересовался общинным землевладением. В 1882 г. он поместил статью о найденных им следах общины на Украине. Общину Лучицкий изучал и на Пиренеях во время поездки в Испанию. В своей рецензии на книгу Кареева Лучицкий упрекнул его в недостаточном внимании к французской общине XVIII в. «Л. не мог простить Герье его выступление вместе с Чичериным против Васильчикова об общинном землевладении» (ст. Кареева в «Анналах» № 1). Против Чичерина же чрезвычайно резко выступал и Ковалевский.

[5] Во время лекций Лучицкого в 1872 г. в Париже «с особенным интересом слушалось изложение истории трагических дней недавней Коммуны». Вместе с Глебом Успенским, с которым Лучицкий близко сошелся, он присутствовал еще на нескольких заседаниях суда над пленными коммунарами (Е. В. Тарле, ст. о Лучицком—«Голос минувшего», 1924 г. № 1).

[6] В 1917 г. Лучицкий, по сообщению Кареева, уже раньше тяготившийся пребыванием в рядах к-д. и «все более и более расходившийся с лидерами партии», перешел в партию народных социалистов («Голос минувшего.», 1920 г.).

представлениям о темпе развития капитализма, они старались передать и своим ученикам. Когда в спокойной, преимущественно статистической работе, какой была книга о крестьянском землевладении в Лимузене, у Лучицкого вырывается резкое замечание, что «было бы грубой ошибкой видеть в них (в ремесленно-промысловой группе) каких-то представителей капитализма. Только грубое незнание Франции, как, например, в Малороссии, могло повести к признанию их чуть ли не деятелями буржуазии; и во Франции XVIII в., как в Малороссии и теперь, занятия промыслом или ремеслом—не более как добавочное занятие в свободное от полевых работ время» [7]—тон автора может быть понят только в свете русских споров 90-х годов.

Когда ученик Лучицкого Тарле, с величайшей похвалой отозвавшись о русской земской статистике 90-х годов, доказывает полное преобладание мелкого производства во Франции и в виде иллюстрации приводит число чанов в мыловаренных предприятиях Марселя, делит его на указанное число предприятий и получает ничтожную среднюю [8], то он воспроизводит уже в XX в. те же ошибки, за которые русские марксисты в 90-х гг. бичевали земских статистиков, В. В. Каблукова и прочих. Разумеется, о «народничестве» Тарле можно говорить только в весьма и весьма условном смысле; однако, в основных приемах исследования, в основных посылках своей книги он стоит на почве народнических исследований русской экономики XIX в., освеженных и дополненных Бюхером.

Именно эти особенности мировоззрения и метода, перенесение этих особенностей на изучение истории Франции XVIII в., трактовка ее, как страны «вовсе не капиталистической», а страны «преобладающего мелкого землевладения и мелкой промышленности, еще не вышедшей из периода ремесленного строя» [9], дают нам право изучать взгляды «русской исторической школы», как определенного направления, и основание для сугубо критического пересмотра ее синтетических попыток.

При изучении аграрного вопроса эти своеобразные «реминисценции» были часто и полезны,—народнический фонарь позволил бросить чрезвычайно яркий свет на многие темные стороны французской деревни XVIII в., на ее взаимоотношения с помещиком, на тип эксплоатации крестьянина.

[7] Лучицкий, Крестьянское землевладение, преимущественно в Лимузене, с. 118.

[8] Тарле, Рабочий класс во Франции, т. II, с. 63. В «Континентальной блокаде» приведены дополнительные данные о марсельском мыловарении. «Если сосчитать всех рабочих в Марселе при мыловарении, то их оказалось бы около 10 тыс. человек» (с. 591—92). Так как всего в городе было 73 мыловарни, не увлекающийся выведением «средней» историк обязан был сделать вывод о наличии в Марселе крупных мыловаренных мануфактур.

[9] Лучицкий, Отзыв о сочинении Ону, СПБ, 1910 г.

Но уже в вопросе о расслоении крестьянства, о формах его, о степени внедрения капитализма в сельское хозяйство—труды русских историков, при всем огромном их значении для изучения аграрных отношений, должны будут подвергнуться критическому пересмотру. В изучении французской промышленности эти «десница и шуйца» русской школы проявились еще более наглядно. Если ее представителям удалось здесь совершенно по-новому поставить вопрос о распространенности промышленности в городе и деревне, то только «народнические предрассудки» не дали им возможности, пользуясь найденными материалами, правильно осветить промышленную историю Франции.

II

Общая оценка экономического состояния Франции перед революцией была дана Лучицким, без сомнения наиболее авторитетным и оригинальным представителем русской школы. В книге, подводившей итоги его многолетним изысканиям, он подчеркивает, что Франция накануне революции еще не вышла «из-под господства натурального хозяйства, рассчитанного на удовлетворение местных потребностей». Прилива капитала нет ни в земледелии, ни в промышленности. «Страна мелкого землевладения, мелкой культуры, Франция была до революции страной мелкого предпринимательства, мелкого ремесла, а во второй половине XVIII в. — и мелкого кустарного производства... Крупных предприятий здесь не встречается»[10].

Ключ к об'яснению некапиталистического характера как промышленности, так и сельского хозяйства Франции Лучицкий находит «в отсутствии вообще во Франции капиталов»[11]. Эту оценку Лучицкого и принимают в качестве исходного пункта для своих работ и Кареев, и Тарле, и Ону. Когда последний характеризует различные экономические прослойки французской буржуазии, то в качестве основных групп выступают скупщики хлеба, откупщики, сборщики налогов, даже сеньериальные агенты[12]: промышленной буржуазии (совершенно последовательно для этой концепции) отводится вто-

[10] Лучицкий, Состояние земледельческих классов во Франции 1912 г., с 27-28.

[11] Слова Талозана в 1788 г., которые Лучицкий, чрезвычайно щепетильный в вопросах документации, не подвергает никакому критическому анализу.

[12] А. Ону, Выборы 1789 г. во Франции, с. 567, 594. Ону предупреждает вообще против преувлечения роли буржуазии и ее революционности. В этом вообще заслуга «русской школы», которая у Ону очень ослабляется типичным для либерала чрезмерным преувеличением роли интеллигенции. «Нужно... сделать существенные оговорки в республиканской историографии, строгой по отношению к дворянству, но склонной чересчур идеализировать роль буржуазии накануне крушения старого порядка» (551). Роль интеллигенции Ону считает решающей: «сознательные руководители толкали человеческое стадо, воспитанное в пассивном повиновении», миросозерцание которого в политических вопросах «похоже на бред».

ростепенная роль; группой, возглавляющей все движение, становится «внеклассовая и бессословная интеллигенция».

Характеристика Лучицким городской Франции, как страны мелкого ремесла, развита учеником Кареева Е. Н. Петровым, который, занявшись изучением наказов, решил, что за сохранение цехов высказались наиболее промышленные районы. «Экономически развитый север, в подавляющем большинстве случаев отстаивает цеховой строй. Среди городских наказов—перевес на стороне дружественных цехов (26—за и 14—против), в их числе: Лилль, Аррас, Валансьен, Труа [13], Руан, Нант, Реймс, Лион, Марсель,—наиболее крупные промышленные центры» [14].

Наибольшее же количество наказов, враждебных цехам, идет именно из районов, наиболее отсталых,—из средней полосы Франции, из Ниверне и Берри, из горной Оверни, в которых экономическая жизнь пульсировала очень слабо, но где зато был, может быть, налицо начитанный стряпчий или врач, отлично знавший, чего требуют «les vrais principes», и воспользовавшийся своими познаниями при составлении наказов.

Консервативная позиция большинства торгово-промышленной буржуазии в вопросе о цехах для Е. Петрова «факт вовсе не парадоксальный, принимая во внимание земледельческий характер страны и ремесленный уклад ее городской промышленности. Нужно только отрешиться от той картины необыкновенной индустриализации Франции, которую Жорес нарисовал в угоду марксистской концепции [15].

Изложение Н. И. Кареевым в весьма сочувственных тонах этих двух статей в его «Беглых заметках» не сопровождалось никакими возражениями [16].

Однако внимание русских историков обращено было на городскую промышленность. Еще в первой работе Кареева о крестьянах он обратил внимание на наличие крестьян-кустарей, на уменьшение—вследствие роста промыслов—числа крестьян-земледельцев. Лучицкий в своей основной книге подчеркнул значительную распространенность промышленного труда в деревне [17].

Чрезвычайно интересен вывод Лучицкого о степени самостоятельности кустарей: «Работа на дому в пользу купцов—вот что характеризует

[13] Петров проглядел в Труа, например, борьбу цехов (см. Кареев, Беглые заметки).

[14] «Журнал Мин. нар. просвещения» 1911 г., № 6, ст. Петрова, Вопросы промышленности и торговли, с. 302—303.

[15] Петров, ук. статья, с. 304. Полемический задор против «преувеличивающих темп развития» марксистов у Петрова тот же, что у его учителя в 90-х гг.

[16] Более того, Кареев дал о ней чрезвычайно лестный отзыв, несколько раз хвалит ее в своих работах (см. «Беглые заметки», обе серии; «Историки», т. III и т. д.)

[17] Лучицкий, Крест. землевлад. преимущ. в Лимузене, 1900 г., с. 96, 99.

собою большинство кустарей области. Работа за свой страх и на собственные средства — редкое явление», — вывод, расходящийся с общим его выводом о господстве мелкого кустарного производства (в обобщающей работе о «Земледельческих классах»).

Так «догма», народнические предрассудки заставляли делать вывод, обратный тому, какой подсказывался конкретным материалом, бывшим в руках историка.

Однако Лучицкий и Кареев сделали только несколько наблюдений, некоторые предварительные выводы. Именно от них отправлялся ученик Лучицкого Е. В. Тарле, стремясь дать ответ на вопрос, каков строй французской промышленности XVIII века [18].

Книга Тарле, основанная на изучении значительного фактического материала, представляла собой большой научный вклад. Книга по-новому поставила целый ряд вопросов, заставила пересмотреть некоторые установившиеся взгляды, но в общей своей оценке экономического уклада Франции и ее промышленности Тарле полностью стоит на точке зрения Лучицкого: «Ремесло и домашняя индустрия в ее разнообразных стадиях, — вот что дает тон, царит почти безраздельно по всему лицу страны» [19]. Тарле отрицает наличие во Франции сколько-нибудь значительной прослойки предпринимательской буржуазии. В общественном сознании нет «резкой грани между предпринимателями и рабочими. По культурному уровню предприниматели мало разнились от рабочих», они, хозяева, часто не умеют писать; «смешение воедино рабочих, купцов, продающих товар, земледельцев, продающих сырье мануфактуре, весьма характерно для эпохи; самая организация производства такова, что подобное смешение не только извинительно, но неизбежно» [20].

Мелкое производство господствует во всей Франции; заведение, дававшее работу нескольким десяткам человек (тем более 100), «уже считалось крупным». В Руане, центре крупнейшей промышленной области — Нормандии, «в течение всего XVIII в. и позже все мануфактурное производство было в руках мелких мануфактуристов, мелких самостоятельных производителей, вся руанская торговля — в руках мелких торговцев» [21].

[18] То, что они (русские авторы) дали, произвело лично на меня большое впечатление, возбудило в большой степени мое любопытство, нежели, например, верные по существу, но афористичные по форме и лишь слегка иллюстрированные примерами утверждения Жореса о машинах, домашней промышленности и т. п.» (Тарле, т. 2, с. XV).

[19] Тарле, Рабочий класс, т. II, с. 188 и 197.

[20] Тарле, Рабочий вопрос, т. II, с. 107.

[21] В книге приведено «совершенно противоположное показание инспекции об огромном полотнянном производстве в Нормандии», самом значительном в королевстве; «производство это сосредоточивается около Руана, отчасти разбросано по дру-

Наблюдения Кареева и Лучицкого о значении деревенской промышленности Тарле—и это основное в его работе—превращены в вывод о трансформации всего мира промышленности, перемещении ее из городов в деревню. «Колоссальная промышленная деятельность почти целиком была сосредоточена в деревнях, а не в городах[22],—вывод совершенно правильный, изысканиями всех новейших французских историков подтвержденный.

Тарле отводит городу подчиненную роль. Против цехов и регламентации самую упорную и самую победоносную борьбу вело вовсе не «крупное производство и вовсе не городские промышленники, а деревенские производители» [23].

«Деревня давала тон всей промышленной жизни провинции», «час пробил для цехов не 2 марта 1791 г.,... а 7 сентября 1762 г., когда Людовик XV легализовал деревенских фабрикантов».

Эта господствующая во Франции система домашней, кустарной промышленности не однотипна. Тарле, различая ее формы, следует классификации Бюхера,—между одной из распространеннейших форм в конце XVIII в. он считает форму самостоятельного мелкого производства, непосредственно выступающего на рынке.

Лишь «кое-где» главным образом в хлопчатобумажной промышленности встречается снабжение кустарей сырьем. Совсем редки случаи снабжения станками. Но все четыре формы (включая работу на посредника) являются «подразделением домашней промышленности». В частности, и лионскую промышленность Тарле считает организованной по типу домашней. В этом, по его мнению, «не может быть никаких сомнений.. в центре промышленной деятельности стоят fabricants-ouvriers[24]. Тарле не отрицает наличия некоторых крупных предприятий,—однако, они являются только исключением[25]. Господство домашней промышленности—определяющая черта промышленной жизни Франции XVIII в.; с ними совпадает и об'ясняет его чрезвычайно низкий уровень французской техники в хлопчатобумажной промышленности, находившейся в сравнительно благоприятном

гим городам и деревням всей Нормандии, так что на 727 руанских фабрикантов работают люди, рассеянные по громадной стране» (с. 108).

[22] Тарле, т. II, с. 86.

[23] Тарле, т. II, с. 115, 132.

[24] «Рабочий класс», с. 75—77.

[25] Единственное, из больших промышленных предприятий, относительно которого совершенно определенно известно, что большая масса рабочих работала в помещении мануфактуры,—мануфактура Ван-Робэ в Аббевилле. Интересно, что новейший историк французской промышленности Балло, L'introduction du machinisme dans l'industrie française, в главе о концентрации в суконной промышленности совершенно не касается этой мануфактуры, как не характерной для той полосы концентрации, которая началась именно во второй половине XVIII в. «Мануфактура Ван-Робэ слишком стара, чтобы служить примером для этого движения к концентрации».

положении. Годы появления разных хл.-бум. машин,—даты распространения технических знаний, но отнюдь не вехи экономической истории Франции. На примере Пикардии автор иллюстрирует отсутствие какого-либо прогресса в прядильном деле, еще с эпохи Кольберта.

Еще ниже уровень техники в других отраслях промышленности. В железоделательном производстве французы не выше, а, пожалуй, ниже шведов и русских. В оружейном деле—Россия стояла едва ли не выше Франции, во всяком случае Сент-Этьен выделывал худшее оружие, чем русские. Стали во Франции не умеют делать—это одна из наиболее тяжких забот и при Директории. В «очень неутешительном положении» выделка игл,—в 1794 г. официально констатировано, что никакой фабрикации во Франции не существует [26].

Кстати, это утверждение вызывает недоумение. Несколько раз в предшествующих главах Тарле указывает на широкое распространение в Лэгле и его окрестностях фабрикации булавок. При описании кризиса (в гл. 6) Тарле указывает на затруднительное положение «большого торгового дома Leleu, который в течение сорока лет занимался снабжением города Лэгле и окрестных городов для игольного и булавочного производства», в годы революции «еще делал... попытки провезти во Францию закупленный в Скандинавских странах груз стали, медной и латунной проволоки» [27].

На явную необ'ективность Тарле в характеристике технического уровня Франции указали в свое время—в очень осторожной, правда, форме—достаточно беспристрастные критики Савин и Кареев. В своей интересной рецензии Савин писал: «Систематическая проверка выводов автора возможна только в Национальном архиве. Я поэтому лишь с большой робостью позволю себе высказать предположение, что в картине немного сгущены краски, что технический уровень французской промышленности, очень невысокий, был все же не так низок» [28].

Об этом писал даже Кареев, присоединившийся вообще ко всем главным тезисам Тарле: «Общий тезис того, что во Франции машины не играли большой роли, а потому и не могло быть «бунтов против машин». Этот вопрос, по моему мнению, потребовал бы пересмотра» («Русская книга о французских рабочих», «Русское богатство» за 1911 г.).

Общая оценка промышленного и всего хозяйственного уровня Франции Тарле дана всего ярче в докладе: «Была ли екатерининская Россия экономически отсталой страной», в котором он приходит к заключению, что Франция отнюдь не была страной, сколько-нибудь значительно превосходящей Россию экономически. «Франция времен Людовика XVI гораздо ближе к екатерининской России, чем к Англии Аркрайта и Уатта... Механические усовер-

[26] Тарле, т. II, с. 176.

[27] «Рабочий класс», с. 451.

[28] А. Савин, Новый труд по истории французских рабочих («Русская мысль», 1912 г., кн. 9, с. 26).

шенствования, шедшие из Англии, были до самого XIX в. для Франции совершенно случайным новшеством, экзотическим явлением[29]. Если во Франции крупные мануфактуры были очень большой редкостью, то в России, наоборот, «число предприятий, действительно громадных по количеству занятых рабочих, было, повидимому, больше, чем во Франции». «По типу своему французская промышленность конца XVIII в. отнюдь не была более развитой, чем промышленность русская».

В своей позднейшей работе «Континентальная блокада» Е. В. Тарле, оговорившись, что не может «всецело» повторить для наполеоновской Франции вывод, сделанный им в «Рабочем классе» об экономическом строе страны, характеризует и Францию первого десятилетия XIX в. как страну «кустарной промышленности», формы организации которой почти не изменились. «При Наполеоне не совершилось чуда (потому что это было бы чудом) внезапного превращения страны мелкого производства, какой Франция была в 1789—99 гг., в страну производства крупного, сосредоточенного в больших городах». О крупнейшем промышленном районе, департаменте Соммы, Тарле отмечает, что «все производство—в руках мелких производителей, работающих и сбывающих плоды рук своих изо дня в день», в деп. Нижней Сены, самом промышленном округе Франции, «документы категорически настаивают на широком развитии домашней, деревенской кустарной промышленности[30].

Что в общем и целом этот взгляд на промышленность Франции сохранился и по сей день у историков, близких к «русской школе», видно из этюда Глаголевой-Данини о промышленности Дофине[31]. Использованный ею фактический материал представляет исключительный интерес. В важнейшей отрасли промышленности Дофине—суконной—выделился ряд промышленных центров, на которые работают десятки окружных деревень; кустари снабжаются сырьем и станками. Только в одном округе Баланс распределено 900 шерстопрядильных станков. В другом округе—Вьенн—существует крупная суконная мануфактура, в помещении которой перед революцией занято 517 человек, а на мануфактуру работает около 1 500 человек. Техника мануфактуры далеко не на низком уровне: «перед революцией она имела 13 шерстопрядильных genny, 50 ткацких станков», выделывала тончайшие сукна, пользуясь прекрасной шерстью, по качеству приближавшейся к испанской; во время революции она на $^{1}/_{3}$ увеличила производство и заменила ручной способ производства «машинным».

В знаменитом перчаточном производстве Гренобля даже статистический ежегодник 87 г. насчитывает только 64 хозяина и 6.254 «занятых про-

[29] Сб. «Россия и Запад», СПБ 1918 г., с. 141.

[30] Е. В. Тарле, Континентальная блокада, с. 184, 192-3, 189, 534, 210.

[31] «Из далекого и близкого прошлого» (Сб. в честь Кареева), Л. 1923 г.

мыслом». Но, анализируя материал, автор приходит к заключению, что «мануфактуры возникли под влиянием «идей меркантилизма», что типичная для Дофине «мануфактура» была сельской индустрией, представлявшей, в сущности, систему домашней промышленности, в которой товар пробегал путь от производителя до потребителя через посредника—торговца на месте и оптового торговца».

Как видим, накопление исторического материала не поколебало основного тезиса «русской школы», сформулированного еще Лучицким,—о некапиталистическом характере французской промышленности перед революцией.

Известен спор между Лучицким и Ковалевским о характере экономических отношений в предреволюционном земледелии. К тезису «русской школы» о характере промышленности Ковалевский тем не менее присоединился, хотя далеко не сразу. Позиция его тем более интересна, что доказывает, как решение сложнейших исторических контраверз, предлагаемое тем или иным историком, глубоко обусловлено системой его классовых взглядов.

В первом издании книги «Происхождение современной демократии» [32] (вышедшем в 90 гг.) глава, посвященная промышленному развитию, очень невелика (менее 40 страниц) и посвящена специально вопросу о цехах. Ковалевский считал, что в то время промышленность была сосредоточена в городах и что именно из цеховой системы складывалась новая система производственных отношений. «Промышленность, как общее правило (разрядка наша—*В. Д.*), не выходила за пределы городской оседлости, благодаря сосредоточению ее исключительно в руках цехов» [33].

Как феодальная система представляла собой пережиток и пришла в упадок, так и цеховая система совершенно лишилась жизнеспособности; отсюда неизбежное наступление... «эры экономической свободы» [34].

Ковалевский вынужден был пересмотреть ряд своих положений. Оказался неверным его вывод о сосредоточении промышленности в городах,—все последующие исследования заставляли Ковалевского (особенно в последней работе о кустарях) подчеркнуть распространенность деревенской индустрии [35].

[32] Ковалевский, Происхождение соврем. демократии, т. I, М. 1890 г. В последующие издания книги Ковалевский включает новые материалы и новую оценку их, не пересматривая и не устраняя противоречившие положения первого издания.

[33] Там же, с. 204. А. Шульгин совершенно справедливо возражал, что «цехи не были доминирующей системой производства».

[34] Именно в этот период работы влияние Маркса на Ковалевского было еще очень велико. Ковалевский причислял себя к числу «сторонников, если не исторического материализма, то широкого, хотя и не исключительного, пользования экономическим об'яснением истории».

[35] Для известной небрежности, поспешности манеры Ковалевского характерно, что приведенное нами место о сосредоточении промышленности, «как общее правило», в городах, сохранилось во всех последующих изданиях (во 2-м изд. 1901 г. на с. 357, в изд. 3-м на с. 373).

Если по основному вопросу о развитии капитализма во французской промышленности в первой своей работе Ковалевский склонялся как будто бы к положительному ответу, то в последнем издании «Демократии» к соответствующей главе был прибавлен заголовок «Можно ли назвать эту промышленность капиталистической», и ответ дан резко отрицательный.

Однако это присоединение Ковалевского к основному тезису «русской школы» сложилось, как нам кажется, не под влиянием новых материалов. Манера исторического исследования Ковалевского, «широкое письмо», известная неточность, нагромождение и напластование различных материалов связаны с тем, что Ковалевский никогда не считал себя историком по специальности, а «социологом» [36]. Большинство работ содержит в себе защиту определенных социально-политических взглядов, которые он доказывает—тут приходила ему на помощь огромная работоспособность и эрудиция—бесчисленным количеством всевозможных аргументов. «Происхождение современной демократии» защищало идею определенного политического устройства—«народной (правильнее, конституционной) монархии»—и определенные постулаты экономической политики. Одним из основных было требование отказа от протекционизма, от искусственного взращивания за счет земледелия промышленности [37]. Не может быть никаких сомнений в том, что эти основные идеи Ковалевский защищал как представитель определенной русской общественной группировки либеральных землевладельцев [38], что эти взгляды продиктованы именно русской конкретной обстановкой (сколько бы ни утверждалось, что Ковалевский был чужд русским делам).

В своих лекциях, читанных в Париже об «экономическом строе России», Ковалевский очень резко критиковал финансово-экономическую политику царизма 90-х гг. Ковалевский констатирует «сильный упадок» сельского хозяйства и настаивает на том, что помимо американской конкуренции он вызван ошибками нашей экономической политики. Большая часть ошибок пра-

[36] «Происхождение современной демократии», изд. 1, с. 405.

[37] Уже в первом издании книги Ковалевский оспаривал кольбертизм именно из соображений русской политики: «протекционизм торжествовал во Франции, вызывая к жизни явления, довольно близкие к тем, с которыми познакомила нас история американской и русской политики... Упадок земледелия, вызванный не одними войнами, но сосредоточением большого числа рабочих рук на фабриках, позволяет сомневаться в том, чтобы народное производство много выиграло от торжества кольбертизма». («Происхождения современной демократии», изд. 2, с. 404).

[38] В крайнем либерализме Ковалевского никто не мог бы упрекнуть. В Париже в «Русской школе общественных наук» ему была устроена обструкция в связи с заявлением о несвоевременности введения в России республиканского строя (сб. «М. М. Ковалевский», с. 34). Когда К. изгнан был в 1886 г. из университета, он заявил, что не вернется, пока не будет введен конституционный строй. На вопрос: «что вы считаете его основным пунктом», ответ гласил: «право контроля и распоряжения бюджетом».

вительства вытекает из желания искусственным образом поддержать нашу промышленность в ущерб сельскому хозяйству. Вследствие «искусственного» взращивания целого ряда отраслей промышленности, Ковалевский предсказывает в годы наибольшего промышленного грюндерства 90-х гг. неизбежность кризиса [39]. Он требует отказа от протекционизма, сосредоточения внимания «на истинном источнике богатства»—земледелии. В привлечении капиталов в сельское хозяйство, перераспределении налогового обложения между буржуазией и «земледельческими классами», отказе от покровительства промышленности Ковалевский—типичный либеральный землевладелец, убежденный фритредер—видит единственный выход из положения.

При таких классовых воззрениях Ковалевскому-историку пришлось столкнуться с фактом промышленного кризиса во Франции перед революцией, всеми современниками и историками об'ясняемого влиянием англо-французского фритредерского торгового договора 1786 г. Только взгляды Ковалевского-политика об'ясняют схему, сконструированную Ковалевским-историком: договоры он считает совершенно правильными, а кризис 1787—88 гг.—лишь последним выражением того глубокого упадка, в котором находилась промышленность Франции во второй половине XVIII в., в котором не повинна политика свободной торговли [40]. Здесь невозможно доказывать сколько-нибудь подробно необоснованность этого вывода. Укажем лишь, что опровергнуть его можно на основании материалов, самим же историком приведенных. Ковалевский указывает, например, на упадок суконной промышленности в Нормандии и Пикардии, но сам же в другом месте его об'ясняет. Место суконной промышленности в этих округах занимает хлопчатобумажная промышленность (тот же процесс вытеснения старых отраслей текстильной промышленности новыми происходил одновременно и в Англии [41].

Упадок полотняной промышленности Ковалевский доказывает цифрами по Бретани, очевидно, случайными (лишь за 1766—69 гг.), но одновременно

[39] Ковалевский, Экономический строй России, с. 70.

[40] «Нельзя делать торговый договор 1786 г. ответственным за факты, возникшие гораздо раньше его» (с. 574, изд. 3-е); «вред, причиненный стране торговым договором 1786 г., обусловлен был не ошибочностью самой системы свободного обмена, а посторонними причинами, корень которых лежал во всем экономическом и финансовом строе Франции старого порядка» (с. 581).

«Эра свободы открылась в момент уже начавшегося упадка французской промышленности».

[41] Упадок суконной промышленности на севере (Амьен, Аббевилль, Рубэ) Балло об'ясняет вытеснением ее (иногда полностью, как в Рубэ) х.-б. промышленностью (Ballot, с. 216). «В Лангедоке наблюдается такой громадный рост х.-б. промышленности, что интендант советует запретить прядение хлопка в интересах шерстяной промышленности». (Тарле, т. II, с. 84).

признает «чудовищный» рост полотняного производства в Нормандии [42], быстрый рост новой отрасли—производство крашеных полотен (т. е. ситцев) и тканей, расцвет кружевной промышленности (вокруг Валансьена). Для упадка кожевенной промышленности Ковалевский сравнивает цифры 1759 и опять-таки 1788 г., но совершенно обходит указания о росте внецеховой кожевенной промышленности в Париже во второй половине XVIII в. Обходит молчанием Ковалевский и доказанный Жоресом рост сахарной промышленности (главным образом в Марселе, Нанте, Бордо), значительное развитие кораблестроения [43], строительного дела и т. д.

Общий вывод Ковалевского, «что договору 1786 г. часто пришлось иметь дело не с живым, а с уже наполовину разрушившимся организмом», остается совершенно не защищенным, никем из историков не разделяется. Сэ справедливо отмечает: [44] «К концу старого порядка в промышленности обозначился очень ощутительный прогресс; поэтому противно истине утверждать, как это делает М. Ковалевский, что промышленность попала в состояние глубокого упадка в течение всей последней трети XVIII в.».

Но, выдвинув положение об упадке промышленности XVIII в., Ковалевский закрывал перед собой возможность обнаружить элементы капитализма во Франции. Росту деревенской промышленности он дал об'яснение, исходящее опять-таки из русского опыта. Неправильное регулирование народного хозяйства, искусственное развитие промышленности, правительственная фискальная политика, видящая во всем источник для обложения,—вызывает обнищание крестьянства, рост кустарных промыслов. «Во Франции второй половины XVIII в. повторилось то явление, которое для России отмечено Туган-Барановским.

«Хотя мануфактурная промышленность и привилась в России под влиянием запретительной и покровительственной системы (разрядка наша—*В. Д.*), но это не помешало тому, что кустарное производство, вызванное крестьянской нуждой, стало успешно конкурировать с фабричным. Кустарное производство мешает успеху крупных заводов» [45].

---

[42] «Об общих размерах, какие приняла в десятилетие, предшествующее революции, полотняная промышленность Руана, можно судить по тому, что в 1782 г. число лиц, находящих занятие в этом промысле, достигало чудовищной цифры 188 217» (с. 451). Речь идет о полотне, производимом из хлопка вместо прежнего льна.

[43] Жорес, т. I. О росте кожевенной промышленности в с.-марсельском предприятии, по оценке современников занимавшего чуть ли не до 30 тыс. человек (?), см. Yaffé, Le mouvement ouvrier pendant la rév lution.

[44] H. Sée, Ev lution commercielle et industrielle de la Françe sous l'ancien règime, 1925 г., с. 299.

[45] М. Ковалевский, Происхождение мелкой крестьянской собственности, с. 103. Что Туган-Барановский неправильно расценил форму взаимоотношений кустарных

Ковалевский начал с того, что констатировал ростки капитализма в земледелии и городах Франции. Классовые взгляды историка, борьба с покровительством промышленности, как идущим в ущерб сельскому хозяйству, аналогия режима свободной торговли, выгодного землевладельцам, заставили его высказаться за целесообразность договора 1786 г. и выдвинуть для об'яснения кризиса новую схему промышленного упадка Франции XVIII в.

Ковалевский должен был принять, исходя из этой схемы, и тезис о «торжестве» кустаря [46]. В полотняном производстве еще в большей степени, чем в суконном, может быть констатирован решительный перевес кустаря над фабрикантом [47]. «Действующие за свой страх или по заказу купцов кустари оказывают конкуренцию сколько-нибудь широким предприятиям».

Ковалевский, никогда не бывший сторонником утопических воззрений русских народников на характер кустарных промыслов, очень часто, правда, подчеркивает, впадая в противоречие с самим собой, что самостоятельность кустаря является только видимой.

«Хлопчатобумажная промышленность всей Нормандии носит, по его словам, характер не столько кустарного производства, сколько домашней формы крупной промышленности» (с. 558), т. е. повторяется характеристика, данная русским кустарным промыслам второй половины XIX в [48]. Та же характеристика Ковалевским распространяется на шелковую промышленность Лиона, на суконную и хлопчатобумажную промышленность Пикардии, Фландрии, Лангедока, на кружевное производство, на бумажное производство в Дофине, на ножевой промысел в Тьере [49].

И тем не менее общий вывод Ковалевского, неизбежно вытекавший из его концепции промышленного развития Франции, совпадает со взглядами

промыслов и капиталистической мануфактуры, показал очень хорошо Рожков (№ 5 «Ист.-марксиста»). Прохоровская мануфактура все время использует труд кустарей, которые выполняют детальные функции. Не кустари вытесняют Прохоровку, а Прохоровка подчиняет себе кустарей. Давно пора пересмотреть схему Тугана и изучить мануфактурную стадию русского капитализма.

[46] Отчетливо он сформулирован только в статье в «Ист. Европы» (1911 г., № 10); вошла в книгу «Происхождение мелкой крестьянской собственности».

[47] «Происхождение современной демократии», изд. 3, с. 45.

[48] «Если некоторые русские экономисты, как Воронцов и Яроцкий, насчитывают еще 7 или 8 миллионов лиц, занимающихся каким-нибудь мелким производст; вом, служащим подспорьем к их земледельческому промыслу, то не следует забывать что большая часть этих кустарей работает только по заказам купцов или крупных предпринимателей». «Экономический строй России», с. 160-161).

[49] «Происхождение современной демократии», с. 558. Ковалевский делает даже такого рода обобщение: «Есть основание утверждать, что сельская промышленность приняла во Франции уже в последней четверти XVIII века форму не кустарного производства, а домашнего вида крупной промышленности».

Лучицкого и Тарле,— «трудно не вывести того заключения, что промышленная история Франции старого порядка отнюдь не отвечает понятию капиталистического производства»[50]. Ковалевский-политик обусловил изменение взглядов Ковалевского-историка.

К совершенно противоположным выводам пришли почти все новейшие исследователи во Франции. Историки совершенно различных школ и политических симпатий—от Гаузера до Матьеза—сходятся на том, что «соперничество негоциантов с ремесленниками... является решающей чертой экономической и социальной истории Франции XVIII в.», что уже в начале века брешь в цеховом строе, к концу столетия окончательно разрушенном, пробита «арматорами, негоциантами, фабрикантами,—всеми капиталистами, работающими на отдаленный рынок, которых душила регламентация». Не говоря уже об Гаузере, считающем, что в XVIII веке «le capital est roi» капитальный труд Ш. Балло, о введении машинизма, целый ряд этюдов и сводных работ H. Sée, монографии об отдельных отраслях промышленности или районов Франции (работа М. Руффа об угольной промышленности, Леви о текстильной промышленности Эльзаса, работы Сиона и Лефевра о Нормандии и Севере и т. д.), очерки Ш. Шмидта, публикации документов и наказов исходят из признания неоспоримости успехов капитализма в промышленности предреволюционной Франции. И прежде всего встает вопрос о том, как могло случиться, чтобы, оперируя примерно одним историческим материалом, авторы пришли к далеко расходящимся оценкам.

Ответ может быть только таков: понимание огромной противоречивости форм хозяйственной жизни Франции, где наряду с полусредневековыми промыслами и в борьбе с ними выступали различные формы капиталистической мануфактуры, зависит в первую очередь от метода, применяемого историком. Нанизав группу фактов (и даже снабдив ее относительно тщательной, хоть и односторонней, документацией), можно отодвинуть Францию XVIII в. ниже екатерининской России; однако, есть совершенно достаточное количество документов для защиты противоположного взгляда. Задача историка, охватывающего всю экономическую эволюцию страны, иная: он должен обнаружить ту хозяйственную форму, в которой на данном историческом отрезке времени происходит повышение производительности общественного труда, проследить, как эта форма сперва сосуществует с другими, а потом их вытесняет.

Этот метод изучения истории промышленности был указан только Марксом. Анализируя производство относительной прибавочной стоимости, Маркс исследует три основные исторические стадии повышения производительности труда, обусловленные капитализмом: 1) простую кооперацию, 2) разделение труда и мануфактуру, 3) машины

[50] Там же, изд. 3-е, с. 457.

и крупную промышленность. Насколько глубоко вскрыты здесь Марксом основные типические черты развития капитализма, видно между прочим из того, что исследования русской так называемой «кустарной» промышленности дают богатейший материал по «иллюстрации двух первых из названных стадий» [50].

Капитализм во второй стадии, как известно, развивался в Западной Европе, по мнению Маркса, с XVI по последнюю треть XVIII в.

Марксов метод вообще и в частности его указание на то, что основным признаком периода является «мануфактурное разделение труда», остались непонятыми, вульгаризованными и извращенными почти всеми буржуазными историками западно-европейской промышленности. Марксу приписали мысль о том, что он считал крупную об'единенную мануфактуру господствующей хозяйственной формой, и на этом основании либо легко опровергали его, либо упрекали в противоречиях. Зомбарт с торжеством доказывал ошибку Маркса в вопросе о роли мануфактуры. Гаузер, неоднократно цитирующий 12-ю главу по вопросу о роли разделения труда, упрекает вместе с тем Маркса в преувеличениях. Шульгин, защищая свой по существу правильный тезис о характере французской промышленности, подчеркивает свое несогласие с Марксом [51] и оспаривает существование мануфактурной стадии.

«Странно было бы ожидать возможности развития в XVIII в. крупных предприятий. И если исследователи их все же упорно ищут, то это, по всей вероятности, об'ясняется тем несколько неправильным взглядом, который высказал в свое время Маркс по поводу мануфактур. Последнюю все еще рассматривают, как весьма прогрессивную и значительную форму производства, знаменующую переход от ремесленного строя к капиталистическому.

Между тем Зомбарт не только отвергает факт существования так называемого «мануфактурного периода», но отвергает и тот факт, что мануфактура логически есть необходимо предшествующая фабрике форма производства, стоящая выше ремесла и ниже фабрики. Он положительно и совершенно справедливо утверждает, что «для многих производств переход от мелкого заведения к фабрике совершается без всякой промежуточной формы».

Критики Маркса не считали для себя нужным обратить внимание на исчерпывающее заявление, что для Европы характерна именно «manufacture dispersée, что мануфактура совершенно бессильна устранить мелкое производство, «что она всегда покоится на широко развитом го-

---

[50] Ленин, т. XII (ст. «К. Маркс»).

[51] Шульгин, ук. ст., «Русское богатство», с. 159. Вводя сам разграничение между предприятием и «заведением», он не понимает подлинной структуры мануфактурного промысла.

родском ремесле и домашне-подсобной промышленности сельского населения», что господство мелкого производства, уже теряющего свою самостоятельность, именно и характерно для мануфактурного периода. Марксу принадлежит заслуга указания на роль сельской промышленности, как широкой основы капиталистической мануфактуры. «Если мануфактура уничтожает городское ремесло и сельское в одной форме, в определенных пунктах, то она снова создает их в других формах и других местах, потому что она до известной степени нуждается в них для обработки своего сырого материала». «Она создает... новый класс мелких земледельцев, для которых обработка земли является лишь побочной отраслью, а главное занятие — промышленный труд, изготовляющий продукты, продаваемые непосредственно или при посредстве купца на мануфактуру»[52].

Совершенно неверно представление, будто основным признаком мануфактурного периода является сосредоточение рабочих «под одной крышей». Главный признак—это развитие разделения труда. В предшествующие стадии и ремесленник и кустарь самостоятельно производят товар. В мануфактурный период повышение производительности достигается тем, что «здесь частичный рабочий не производит вообще самостоятельного товара». «Специфическим для мануфактурного периода механизмом остается сам коллективный рабочий, составленный из многих частичных рабочих», причем Маркс никогда не считал, что все эти рабочие заняты в одном помещении, а всегда—и даже в классическом примере с часовой мануфактурой—отмечал, что значительнейшая часть работы производится на дому. Новое в том и заключается, что этот домашний рабочий является уже «детальным рабочим», что он выполняет только определенную функцию, что он находится «под командой капитала», предпринимателя, организующего производство[53].

Маркс говорил о мануфактурной стадии развития капитализма. Отрицая капиталистический характер французской промышленности, нельзя ссы-

---

[52] Маркс, Капитал, с. 709.

[53] Ленин, блестяще применивший метод Маркса к изучению русской промышленности и доказавший его неизмеримое превосходство над «методом» В. В., так определял признаки мануфактуры: «По научной классификации форм промышленности, в их последовательном развитии, работа на скупщика принадлежит большей частью к капиталистической мануфактуре, ибо она: 1) основана на ручном производстве и на широком базисе мелких заведений, 2) вводит между этими заведениями разделение труда, развивая его и внутри мастерской, 3) ставит во главе производства торговца, как это и всегда бывает в мануфактуре, предполагающей производство в широких размерах, оптовую закупку сырья и сбыт продукта, 4) низводит трудящихся к положению наемных рабочих, занятых в мастерской хозяина или у себя на дому» (т. II, с. 268).

латься на незначительное количество крупных предприятий, потому что именно этот признак Маркс считает характерной особенностью мануфактурной стадии капитализма. «Типичным для капиталистической мануфактуры является именно небольшое число сравнительно крупных предприятий наряду с значительным числом мелких. В громадном большинстве случаев данные о размерах производства крупных заведений не дают еще никакого представления об их действительном значении», потому что на крохотную белильную или отделочную мастерскую может работать целая округа.

Ленин совершенно справедливо предостерегал против бюхерианской схемы экономической истории, отвергающей мануфактурную стадию и заменяющей ее стадией домашней промышленности, работы на скупщика. Между кустарем, продающим свои изделия коробейнику, и кустарем, сучащим шелковые коконы по заказу Дейдлера, или разматывающим шерсть для Декрето, прядущим хлопок для ситценабивен Оберкампфа, Гаусмана, Дольфюса,—расстояние огромное: в первом случае—это самостоятельный производитель, во втором—«палец от ноги», частица какого-то крупного промышленного механизма.

Методологическая слабость «русской школы» заставила ее ограничиться констатированием факта распространенности мелкого производства, деревенской промышленности. Между тем, задача состоит в том, чтобы вскрыть формы связи между бесчисленными мелкими мастерскими, выяснить, насколько глубоко проникло мануфактурное разделение труда, в какой мере сохранилась самостоятельность мелкого производителя.

Для характеристики промышленного строя Франции попытаемся подойти к вопросу о распространенности мануфактурного разделения труда. Припомним, что для стадии простой кооперации типичным признаком является отсутствие разделения труда внутри мастерской, из мастерской выходит уже готовый товар.

Совершенно иной строй во французской шерстяной и суконной промышленности [54]. «Города, называемые фабриками, чаще всего не являются об'единением мастерских, а центрами, которые руководят трудом рабочих, разбросанных в очень большой округе. Торговец покупает шерсть, моет ее, очищает от жира, окрашивает, пользуясь трудом своих рабочих. Затем передает шерсть прядильщицам, чаще же мелкому предпринимателю, самому

---

[54] Отметим, что, по подсчетам Толозана, из сумм дохода промышленности в 504,9 млн. ливров на полотняные и бумажные материи приходится 161,2 млн., на шерстяные—92,5 и на шелковые—41,6. Справедливо оспаривая точность цифр, Толозан считает, что соотношение между отраслями установлено правильно. Если бы оказалось, что в большей или меньшей мере мануфактура господствовала уже перед революцией в этих отраслях, то уже в силу только этого сама характеристика промышленности должна быть подвергнута пересмотру.

труженику, который раздает работу в своей деревне. После того как возвращают пряжу, этот «купец» дает навивать нити для основы, затем передает основу вместе с утком следующему «предпринимателю» для ткания, чаще всего самому ткачу.

Сотканная вещь еще не закончена; ей нужно дать отделку; это будет делом городских рабочих... Разбросанные рабочие не имеют средств для покупки «основы» и необходимой организации для сбыта. Отсюда вторжение капиталистов и посредников, так называемых marchands-fabricants (купцов-фабрикантов), подлинных хозяев..., которые управляют благодаря своим капиталам всем производством [55].

В шерстяной промышленности, особенно в сукноделии, эта эволюция в сторону мануфактуры ускоряется необходимостью пользования импортной, дорогостоящей шерстью. Купец, скупающий прибывшую из Испании или Фландрии шерсть, постепенно превращается в купца-предпринимателя, сосредоточивающего в своих руках покупку шерсти, первичную и окончательную ее отделку и сбыт (часто на внешние рынки) готового продукта.

Снабжение кустарей шерстью в Пикардии отметил еще в 1698 г. интендант М. Биньон. В своем докладе он подчеркнул поразившее его явление в производстве саржи в Кревекуре неподалеку от Амьена: «Рабочие этой фабрики бедны, очень часто купцы авансируют им шерсть, и они обязаны продавать им материи неотделанными (écrues), что не встречается в других местах; купцы Амьена, Бовэ, Орлеана, которые скупают, заняты валянием сукон и их отделкой» [56].

В середине XVIII в. почти законченный строй мануфактуры отмечается в сукноделии Руанского района. Руанские «негоцианты», для которых в округе Омаль в деревнях производятся сукна, саржа, пересылают их для окраски и отделки «за свой счет» в Бальбек, где есть специальная хорошо оборудованная мастерская бр. Лемарей с 60 рабочими. Инспектор мануфактур в 1752 г. сообщает, что крупный руанский негоциант М. Пер, которого обслуживает Лемарей, собирается сам открыть мастерскую в Руане, которая приведет в упадок imprimerie в Бальбеке [57].

В основных районах сукноделия, особенно в производстве тонких сукон, предназначенных к экспорту, требующих тщательной отделки, непосильной мелкому кустарю, строй капиталистической мануфактуры во второй половине XVIII в. является господствующим. Балло совершенно правильно отмечает, что к концу XVIII в. эволюция почти была

[55] Ch. Ballot, L'introduction du machinisme dans l'industrie française, p. 166-167.

[56] «Mémoires et documents pour servir à l'histoire de commerce et de l'industrie en France, publiés p. J. Hayem», I, p. 161.

[57] «Mémoires et documents», t. X., H. Sée, Documents sur l'industrie rouennaise vers le milieu du XVIII s.

завершена в крупнейших центрах этой отрасли—Седане, Реймсе, Эльбефе, Лувье, Лизье и т. д. Ездивший по поручению Шапталя в Седан (в 1803 г.) Морг сообщает, что перед революцией производство сосредоточивалось в руках 24—30 фабрикантов. «$^2/_5$ всей продукции находятся в руках 4 предпринимателей-миллионеров». На крупнейших владельцев работают тысячи рабочих; на торговый дом Пупара работает 4 тыс. человек, Терно—около 3 тыс., Леньон—около 1 200 человек. Фабриканты выписывают шерсть из Испании, очищают и расчесывают ее в своих мастерских, затем передают на вес прядильщицам в деревни, причем мужья их зачастую являются ткачами»[58].

В Реймсе, где большая часть производства экспортируется только в Испанию (экспорт составляет 7—8 миллионов), все производство управляется несколькими крупными «купцами», как Рожье и особенно Сутэн, которые расходуют ежегодно около 60 тыс. ливров на окраску простой шерстяной материи. В Лувье производство сконцентрировалось в руках 15 предпринимателей; крупнейший из них, Декрето, издержал с 1779 по 1781 гг. около 200 тыс. ливров на постройку мануфактуры. Посетивший ее Артур Юнг отзывается о ней с энтузиазмом и об'являет ее первой в мире[59].

Очень любопытно для характеристики роли крупной промышленной буржуазии в революции, что у Декрето собирались виднейшие политические лидеры. Именно здесь Луи-Филипп, как он рассказал Виктору Гюго, познакомился с Петионом и Робеспьером[60].

Даже во второстепенных по промышленному развитию провинциях, например, в Бретании, документы, опубликованные Сэ, доказывают[61], что, если эволюция в сторону господства мануфактуры еще далеко не завершена, то начальные ранние стадии в этом направлении пройдены. В Châteaubriand по донесениям инспекторов от 1775 г., 10—12 главных «фабрикантов» (обороты их, правда, очень невелики) покупают сами у крестьян шерсть, очищают ее, раздают ее по деревням и сами отделывают. В Витрэ идет борьба между цеховой корпорацией и негоциантами-красильщиками, добивающимися права снабжения рабочих сырьем, против чего цех наивно возражает, что

[58] Документ этот был опубликован Ш. Шмидтом.

[59] Ballot, с. 169 и 219. Тарле укоризненно противопоставил отзыв Палласа об Арзамасе—отзывам Юнга. Почему-то об этой характеристике он и не упомянул. М. М. Ковалевский считал, что в Реймсе мы имеем дело не с крупным, а с мелким производством, центром которого является в такой же мере сам город, как и окрестные села, ссылаясь в доказательство на то, что в 1732 г. число станков (2 572) едва на $^1/_5$ превышает число фабрикантов (2 080).

[60] V. Hugo. Choses vues. P. Nelson, p. 391.

[61] «Mémoires et documents», t. X., H. Sée, Etudes sur l'industrie en Bretagne (с. 87, 94).

в этом случае «производство будет происходить для него (негоцианта) и от его имени; он сам станет фабрикантом».

Ход развития в суконной промышленности совершенно ясен: и купец, ограничивавшийся раньше скупкой шерсти и продажей сукон, стремится овладеть производством, и богатеющий предприниматель, ограничивавшийся раньше только последними стадиями производства, стремится сосредоточить в своих руках весь процесс производства [62].

Тот же строй капиталистической мануфактуры все шире распространяется в чулочно-вязальном производстве. Половина всей его продукции сбывается на внешнем рынке (в Испании, России и т. п.). В силу условий сбыта эта отрасль промышленности скорее, чем другие, перешла в руки нескольких крупных «купцов-фабрикантов», которые держат в тесной зависимости от себя мастеров и рабочих. Промышленность эта также широко распространена в деревнях. Частым явлением бывает снабжение кустарей станками; чулочно-вязальные станки распространены в деревнях Нормандии, Пикардии, Труа; это об'ясняется их высокой стоимостью [63].

Снабжение станками вызвало решительное сопротивление ремесленников, мелких «фабрикантов». Преодолевая его, крупные торговцы одалживают станки рабочим, которые работают на их счет, хотя носят имя «мастеров» и расширяют работу в деревнях. Характерен текст одной из жалоб 1753 г., т. е. еще до пресловутой победы деревни над городом— «8 или 9 богатых протестантов являются полными хозяевами («maîtres absolus»); остальные мелкие фабриканты зависят от крупных, так как те заставляют их работать и покупают их товары». Оторванные от средств производства, кустари эти являются уже «в сущности наемными рабочими, хотя отношения никогда не достигают в мануфактуре той законченности и чистоты, которые свойственны фабрике» [64] (Ленин).

Доклад инспектора Трибера, относящийся к 1787 г., сообщает очень интересные сведения о bonneterie Орлеаннэ. В 50 приходах Бос сорок пять купцов дают работу « не меньше» чем 15 тыс. окрестных крестьян. Среди вязальщиков очень много девочек 7—8 лет. «Во многих деревнях живут посредники (des facteurs) и распределяют шерсть: различные рабочие обязаны

---

[62] И для начала XIX в. Тарле дает совершенно противоположную оценку: «В шерстяной промышленности, конечно, были и крупные фабриканты, но они были и здесь редким исключением». («Континентальная блокада», т. I, с. 546)·

[63] Ковалевский указывал, что в Мондидье (Пикардия) фабриканты занимали производством чулок многих жителей соседних сел, то «сдавая им в наем станки за 10 су в неделю, то покупая уже готовый товар» («Происхождение»..., с. 548).

[64] «Mémoires et documents.», t. II. Mémoire du Tribert sur l'état des manufactures dans l'agé d'Orléans, p. 263-68. Тарле упоминает лишь «о случаях» снабжения станками аббевильскими и седанскими суконными мануфактурами,—в чулочно-вязальном производстве, как видим, снабжение кустарей и сырьем, и орудиями производства достаточно частое явление.

возвратить по весу столько же вязаной шерсти (facoнée), сколько они получили мытой шерсти. В Орлеане существуют две мануфактуры, производящие фески (bonnets jacques), рассчитанные на сбыт в Тунисе. Для производства употребляются только самые тонкие сорта испанской шерсти. Мануфактуристы распределяют шерсть для вязанья в приходах, наименее отдаленных от Орлеана. Отделка и окраска производятся в зданиях мануфактур, которые занимают в общем (от шерстомойки до отделки) около 1 600 человек. Характерно, что в Тунисе эти изделия продаются по той же цене, что и изделия местного производства, несмотря на расходы по доставке; «не следует ли сделать из этого заключение,—замечает Трибер,—что заработная плата в Тунисе выше, чем в деревнях Бос».

Так же как в шерстяной промышленности, преобладание строя капиталистической мануфактуры характеризует промышленную организацию хлопчатобумажной промышленности. Отрасль эта (особенно ситценабивная промышленность) выросла во Франции в основном именно во второй половине XVIII в. Развитие ее шло бурно, она вытесняла шерстяную промышленность, притягивала к себе рабочие руки от земледелия, видоизменяла лицо целых провинций. Темп ее технического развития, определяемый английской конкуренцией, обгонял все остальные отрасли. Тарле совершенно правильно отмечал, что основной район х.-б. производства—Нормандия, Руанский округ, был одним из важнейших промышленных районов дореволюционной Франции, причем именно в деревнях промышленность, главным образом, и была сосредоточена. Перед революцией в х.-б. производстве на расстоянии 15 лье в окружности от Руана занято 188 217 человек[65]. Однако не деревня и не кустарь определяли экономическое развитие Нормандии. Сион—автор прекрасного исследования о крестьянах восточной Нормандии—показал, что дирижерская палочка находится в руках «купцов-фабрикантов».

Уже в 1744 г. полотняные «фабриканты» в Caux жалуются, что руанские купцы скупают весь хлопок. Большинство кустарей и ремесленников не имеет возможности закупать хлопок—«они существуют только благодаря кредиту купца, который в обмен отбирает у них пряжу. Большинство вынуждено каждую неделю занимать у фабрикантов сырье». Десятки тысяч кустарей находятся в полном подчинении у крупных торговых домов[66].

---

[65] I. Sion, Les paysans de la Normandie orientale, 1909, p. 184.

[66] Sion, l. s., c. 181-3. Métaljer, напр. в Hautot-Sant-Suplice занимает в окрестностях 2.500 рабочих. Снабжение сырьем в форме аванса кредита или прямой раздачи является, судя по всем приведенным Сионом документам, едва ли не общим явлением для Нормандии. Совершенно очевидна недостаточность для определения строя промышленности подчеркивание факта «широкого развития (в начале XIX в.) именно в северном районе домашней промышленности, в частности деревенской» (Тарле, Континентальная блокада, т. I, с. 210). Руанские, Эльбефские, Дарнен тальские красильни были не изолированными предприятиями, а центрами мануфактуры, на которые нормандские кустари и работали (там же, с. 211).

Документ 1728 г., который излагает Сион, указывает, что деятельность руанских фабрикантов состоит в раздаче работы деревенским кустарям, авансировании их сырьем, собирании пряжи и материй, которые они иногда у себя красят. «Города, в которых негоцианты жили, играли в хозяйстве округа роль руководящих центров,—это они давали импульс и руководство промышленной деятельности деревень».

Русские примеры Шуи, Иваново-Вознесенска напоминает история такого текстильного центра как Тарар. В начале XVIII в. крестьяне, в качестве дополнительного промысла, занимались изготовлением полотна. В 1756 г. негоциант Соер Симонт вводит здесь производство муслинов,— хлопок вытесняет коноплю. Постепенно весь округ обращается к работе над хлопком, и промышленный труд становится основным для населения. Появляется несколько крупных домов, наматывание утка производится в мастерских предпринимателя и в них же производится окончательная выделка. Открывается крупная прядильня (в 1771 г.) в Лепеше. Интересна «генеалогия» владельцев—в течение 30 лет они занимались торговлей шелком, затем об'единяются с торговым домом Пурталес, эльзасским ситценабивщиком, совместный капитал их составляет 4 млн. ливр. В мануфактуре применяются кардные и прядильные машины. Тем не менее в самом помещении работает только 170 человек, вокруг же в 10 деревнях на мануфактуру работают 1 884 прядильщика (а по данным владельцев — 4 500), причем посредниками-раздатчиками являются приходские священники [67]. Это только один из примеров капиталистической мануфактуры в хлопчатобумажном производстве, один из симптомов процесса, который не уловлен всей «русской школой».

Полное господство мануфактуры должно быть отмечено в ситценабивной промышленности. Речь идет не об изолированном предприятии Оберкаммфа, как представляет это Е. В. Тарле, а о целой отрасли промышленности, быстро развивавшейся во Франции после указа 1759 г. (Амьен, Париж, Бурж, Руан, Нант, Орлеан, особенно Эльзас). Значительный сбыт на внутреннем рынке и за границей (у некоторых эльзасских мануфактур $^5/_6$ и $^9/_{10}$ продукции экспортируется), трудности закупки сырья и полуфабрикатов, самое главное—необходимость значительных капиталов для постройки и оборудования ситценабивной мануфактуры об'ясняют, почему не исключением, а *общим правилом было здесь господство крупных* предпринимателей, на которых работает по 800, 1 200, 1 800, 2 300 рабочих. Мюнстерская мануфактура Пурталеса *Ригэ*, в которой 700—800 человек работает в мастерских,—еще одна иллюстрация обоснованности оценки

[67] *Reyband*, L., Le coton, P. 1863 (гл. о Тараре). *Балло*, с. 153; о прядильне в S.-Vérand, см. ст. Ch. *Schmidt*'а 1913—1914 г.; о Пурталесе—с. 206.— В 60-х гг. XIX в. в Тараре 12 тысяч населения, но он дает занятие 50 тыс. рабочих на 20 лье в окружности (с. 126).

Тарле мануфактуры Ван-Робэ, как «единственной», занимающей несколько сот рабочих «под одной крышей» [68].

Организация труда здесь очень сложна. Все крупные предприниматели к набивке ситцев (тонких—«indiennes»), производимых в самой мануфактуре, присоединяют прядение и ткачество, выполняемые в деревнях [69].

Закупленный мануфактуристом хлопок распределяется при помощи ряда комиссионеров-«раздатчиков» по деревням для прядения. «Раздатчик» следит за правильностью работы, ведет учет и пересылает готовую пряжу мануфактуристу. Затем перед передачей х.-б. пряжи ткачам «подготовительная работа производится в самом здании: окрашивается пряжа, наматывается и набивается основа, взвешивается уток, пропорционально распределяется по каждому цвету, соответственно рисунку, все это передается для тканья рабочим в город или в окрестности; они работают для фабрики, но изолированно у себя на дому, затем ткани возвращаются—через посредников или непосредственно для окончательной отделки на мануфактуру» [70].

К этому описанию полностью приложимы слова Ленина: «Типичная картина капиталистической мануфактуры, самыми разнообразными и причудливыми способами переплетающейся с мелкими заведениями» [71].

Кустарям совершенно не под силу приобретать такой экзотический вид сырья, продающийся на рынках, чрезвычайно отдаленных от деревень, где сосредоточено прядение хлопка. Не кустарь приобретает сырье, но и роль посредников чрезвычайно скромна. Это передаточные звенья между предпринимателем, центральной отделочной мастерской и рабочими [72].

Этот тип разделения труда, естественно, с целым рядом вариаций сложился в 70—80-х гг. [73] и сохранился в основных чертах еще в первой чет-

[68] В здании ситценабивной мануфактуры Дольфюса в Тане занято 724 ч., см. R. Lévy, Hist. économique de l'industrie cotonnièr en Alzace, 1912, p. 196.

[69] В XVIII в. почти все владельцы ситценабивных мануфактур имели в Вогезских долинах прядильщиков и ткачей. В 1787 г., напр., Зенн-Бидерман в Везерлинге, Дольфюс в Тане, Пурталес в Мюнстере, Стефан в Рибовиллэ, L'huillier b. s. Marie aux Mines были интегральными предприятиями. Стефан занимал (в 1786 г.)—1 200 человек, Зенн-Бидерманн—1 800, Пурталес—2 300, из них 1 500 прядильщиц (Lévy, p. 181),

[70] Леви, см. ук. книгу, с. 153—155, 193.

[71] Ленин, т. II, с. 254.

[72] Тарле «производство пряжи для комиссионеров» считает не работой на мануфактуру, «а мелкой деревенской промышленностью», связанной с рынком через посредника.

[73] См. Леви. «Еще в 1765 г., напр., Делорм имеет двух приказчиков, которые раздают хлопок в деревнях и получают пряжу и ткани, оплачивают рабочих и собирают товар в магазинах Делорма. Один из документов 1788 г. сообщает, что мюлгаузенские ситценабивные фабриканты создали мастерские и торговые конторы

верти XIX в. Он выгоден для мануфактуристов, потому что обеспечивает дешевые рабочие руки, не требует больших расходов на помещение и оборудование, не обязывает к непрерывной работе.

По сравнению с х.-б. и шерстяной промышленностью в полотняной господствует зачастую значительно более отсталый тип организации. Сырье находится у кустаря под руками, и, несмотря на то, что в области сбыта значительную роль начинает играть крупный купец (особенно в связи с спросом на полотна в Испанской Америке), производство по большей части находится в руках мелких производителей. Торговый капитал постепенно подчиняет себе полотняный рынок (напр., в Бретании), но в производство он еще совершенно не вторгается. Однако даже в такой экономически-отсталой провинции, как Бамен, начинает складываться мануфактурное разделение труда. Предприниматель-ткач (marchand-tissier) скупает пряжу и раздает ее за собственный счет ткачам. Уже в конце XVII в. изготовление слишком больших кусков полотна (в 100—120 локтей) об'ясняется происками gros maitres tissiers, так как нужно быть богатым, чтобы делать большие закупки тонкой пряжи для изготовления таких крупных кусков полотна[74].

В Анжу уже в середине XVIII в. (1751 г.) интендант сообщает, что в Анжере, «хотя есть очень много ткачей, однако, почти все работают за счет буржуа, которые снабжают их пряжей, и почти нет работающих за свой счет»[75].

Производство парусины в том же Анжере является превосходным образцом генезиса мануфактуры. Три купца—toilers, в том числе Бонэр, создают мануфактуру парусного холста, сбываемого адмиралтейству и «Индийской компании». Местного сырья нехватает, мануфактуристы ввозят коноплю и из соседних провинций. В обработке конопли, прядении (в окрестностях) и ткачестве (в здании мануфактуры) занято около 6 тыс. человек. Полотно ткется только из пряжи. К 1790 г. Губер-Бонер об'единяет в своих руках и анжерскую и бофорскую мануфактуры, в помещении которых работает до 700 человек. Число фактических мануфактурных рабочих настолько уже велико, что префект департамента Мэн и Луар в 1800 г. сообщает министру, что от плавности работы анжерской мануфактуры «зависит спокойствие департамента; вы этому не

для пряжи и ткания от Бельфора до Шлезштата, кроме 10 тысяч рабочих, занятых в их предприятиях, они дают работу 60-тыс. населению в провинции (Lévy, p. 215).

[74] H. Sée, Le commerce des toiles en Bas Maine (Hayem, m. 10). Статья написана на основани документов, сохранившихся от торгового дома Пусто-Дюплеси, занятого и продажей полотна и его побелкой (но не за собственный счет).

[75] V. Daufhin, Recherches four servir à l'histoire de l'industrie textile en Anjou, 1916 г., с. 60 и 122. Мэр Анжера сообщает в 1749 г.: «очень небольшое число ткачей этого города в состоянии покупать известное количество пряжи, большая часть работает для частных лиц».

удивитесь, если я добавлю, что она занимает, может быть, 20 тыс. душ населения всех полов, что она поглощает все сырье, добываемое в этом департаменте». Губер-Бонер—владелец этой мануфактуры—является и политическим хозяином Анжера—он председатель директории дистрикта Анжера (с 91 г.), в эпоху Директории—он член Совета пятисот, мэр города[76].

Купец вторгается в процесс производства, в собственной мастерской сосредоточивает определенную операцию, заставляет работать на себя целую округу, подчиняет ее себе экономически и политически—вот путь развития, характерный во второй половине XVIII в. не для одного Анжера.

В изготовлении самых тонких сортов полотна, батиста, сбываемых или в крупнейших городах Франции, или на внешних рынках, самостоятельность мелкого производителя уже совершенно ограничена. Цитированный нами доклад Bignon'а уже для 1698 г. указывает, что двадцать пять купцов ведут почти всю торговлю производимым в С.-Кантене и окрестных деревнях батистом, причем кое-где они же производят и отбелку полотна[77]. На севере выработкой изделий из тонкого льна занято около 150.000 тысяч человек,—во главе этой промышленности стоит Валансьен, где сосредоточена побелка. В городах, напр., в Фурми, сосредоточено сучение ниток. На городских негоциантов работают вязальщицы и кружевницы; от негоциантов же «получает пряжу значительное количество фландрских ткачей»[78].

Классическим образцом мануфактуры является шелкоткацкая промышленность Лиона. Характеристика ее Тарле, как организованной по типу домашней промышленности, является наглядным доказательством всей поверхностности этого определения, превосходно показанной Лениным. «Классификация капиталистических форм и стадий промышленности», данная Марксом, более правильна и более содержательна, чем та распространенная в настоящее время классификация, которая смешивает мануфактуру с фабрикой и выделяет работу на скупщика в особую форму промышленности (Гельд, Бюхер)... Понять значение работы на скупщика нельзя, не поставив ее в связь со всем строем промышленности на данной стадии развития капитализма. И крестьянин, плетущий корзинки по заказам деревенского лавочника и павловский черенщик, изготовляющий дома черенки по заказу Завьялова, и работница, шьющая платье, обувь, клеющая коробки по заказу

[76] Дофэн, ук. кн., с. 160, биография Бонера, см. с. 131.

[77] «Mém. et documents», v. I, p. 163. По Е. В. Тарле и в 1807 г. «в С.-Кантенском округе газовые материи выделываются 1200—1500 рабочими, которые живут отдельно и работают за свой собственный счет» («Конт. блокада», с. 214).

[78] G. Lefebvre, «Les paysans du Nord», 1924, v. I, p. 287—288.

крупных фабрикантов,—все это работающие на скупщика, но капиталистическая работа на дому имеет во всех этих случаях различный характер и различное значение.

Совершенно очевидно, что не «ouvriers-fabricants» стояли «в центре промышленной деятельности». Купцы-фабриканты поставляют сырье, оплачивают его обработку и сосредоточивают в своих руках продажу тканей. Громадная масса рабочих подчинена капиталу, получает только заработную плату, не владеет ни сырым материалом, ни готовым продуктом.

Острая борьба между «maîtres faisant fabriquer или работающих за свой счет» и «maîtres, работающих за счет других» намечается в Лионе еще к концу XVII в. Паризе[79] указывает, что уже к 1740 г. господство в шелкоткацкой промышленности Лиона принадлежит 130 крупным купцам, на которых работает ¾ станков. Они комбинируют рисунки, выбирают сорта шелковой пряжи, снабжают ими «maîtres-fabricants», концентрируют в своих руках сбыт тканей. «Можно сказать, что они монополизировали шелковую промышленность Лиона», «они покупают шелк и регулируют пользование им». На некоторых негоциантов работают уже в начале XVIII в. сотни станков[80].

Лионские негоцианты дают толчок к возникновению ряда ответвлений шелкоткацкой промышленности в окружных районах. Уже во второй половине XVII в. лионские купцы посылают своих приказчиков для раздачи шелка и выработки лент в район С.-Шомона и С.-Этьена. Во второй половине XVIII в. в округе, протяжением 40 лье в окружности, производством лент занято по минимальным подсчетам тридцатитысячное население. Нет никакого сомнения в том, что промысел этот организован как мануфактура. С.-этьенские купцы (в середине XVIII в. их всего около 30) занимают в окружающих деревнях около 15 тысяч станков. Что кустари превратились уже в мануфактурных рабочих доказывает описание ленточного промысла в S. Didier (1783) — «рабочие сами приносят в Forez ленты, которые они изготовили, чтобы получить у крупных негоциантов, на которых они работают («que les font travailler»), заработную плату. Они обычно жертвуют выходным днем, чтобы отнести ленты и получить новые шелка для работы на следующую неделю»[81]. Но эти кустари принесли только грубый фабрикат—лента должна быть еще выглажена, вылощена, на нее должен еще быть положен рисунок и т. д.; все эти операции будут выполнены частью другими кустарями, частью рабочими в мастерских marchand-fabricant'а. Тарле не отметил и интересной эволюции в области шелкопрядения и шелкокрутки,—отраслях, в свою очередь развившихся под влиянием лионских него-

[79] E. Pariset, Histoire de la fabrique lyonnaise, c. 179, 176, 181, 254.
[80] E. Pariset, p. 149, 210.
[81] Gras, Histoire de la rubannerie en S.-Etienne, 1908, p. 51, 121, 133.

циантов. До середины XVIII в. maclinago и. trage «остаются в Виварэ сельским дополнительным промыслом, выполняемым самими шелководами. Однако в этот период намечается эволюция. Женщины специализируются в этой работе и выполняют ее за чужой счет; ходят на работу сами, либо же коконы шелка доставляются им на дом для дальнейшей обработки. Таким же образом в Aubenas появляется «Улица прядильщиц». В это же время, особенно во второй половине XVIII в., рождается крупная промышленность, появляются «прядильни», однако сперва слабо оборудованные» [82].

Мануфактурный строй, основанный на новом типе разделения труда, господствовал почти во всех отраслях промышленности, ввозивших сырье и вывозивших готовый фабрикат. Естественно, что в такой отрасли промышленности, как кружевная, работавшей на внешние рынки, преобладала та же «рассеянная мануфактура», на которую работал мелкий производитель, постепенно лишавшийся самостоятельности. В Velay (Риц) кружевница не сносится к концу XVIII в. непосредственно с купцом—связь осуществляется через посредниц («laveuses des dentelles»), раз'езжающих в тележках, содержащих скупаемое кружево и сырье, которое они раздают крестьянкам, получая его в свою очередь от крупного купца. Уже в 1711 г. об Оверни интендант Бавилль сообщает, что кружевной промысел «занимает в кантоне большое число бедняков, которых купцы снабжают всем необходимым» [83]. В Аржантене уже в XVI в. одна семья Guyard заставляет работать на себя целый округ; негоциант сам производит раздачу рисунков, закупает тонкие нитки и при помощи своих рабочих выполняет сучение и беление. В самой мануфактуре заняты сотни рабочих—главная часть работы выполняется в окрестностях, в мануфактуре Алексона занято 700 человек, а в округе—8000, в Velay—60 тыс., в районе Лилль-Арраса—до 30 тысяч и т. д.

Текстильная промышленность во Франции XVIII в. была основной, ведущей в мануфактурную стадию капитализма. Вошла, однако, не только она, но и ряд других отраслей, имевших сравнительно второстепенное значение.

По типу мануфактуры, целиком напоминающему русское Павлово, организован ножевой промысел в Тьере, одном из значительных промышленных центров Франции. Уже в XV в. треть его населения—ножевщики. В XVIII в. Legrand d'Aussy, побывавший в Тьере за год до революции, сооб-

[82] E. Reynier, «La soie en Vivarai».

[83] Laprade, «Le poinct de Françe et les centres dentelliers», 1905, p. 153, 256 III. Е. В. Тарле еще в «Континтальной блокаде» утверждал, что «полотняное и кружевное производство всецело (разрядка Тарле) в руках кустарей больше, чем какая бы то ни была другая отрасль промышленности» («Конт. блокада», т. I, с. 564).

щает, что фабрикаты Тьера упорно борются с английскими вплоть до Индии, успешно сбываются в Испании, Италии, Турции. У фабриканта нет предприятия, а только раздаточная контора. «Сталь, которую он получает из Дофинэ или Севера в больших полосах, он раздает martinaires, которые превращают раскаленную сталь в полосы нужной длины. Кузнецы С. Реми или окрестностей Тьера получают затем эти полосы, из которых они куют разные ножевые части, затем переходящие в руки работающих напильником, сверлильщиков, точильщиков, полировщиков и т. д. Сам фабрикант производит закал стали по способам, переходящим от отца к сыну, затем после сдачи рукояток, все передается сборщикам (aux monteurs), которые живут в деревнях. Эта организация труда характеризуется рассеянием рабочих на дому, далеко идущим разделением труда (одна пара ножниц проходит через 20 различных рук), крайней специализацией рабочих на одной детали из поколения в поколение» [84].

Дешевизна фабрикатов Тьера об'ясняется изобилием рабочих рук в деревнях. Это огромное преимущество позволяло мануфактуристам Тьера сохранить организацию труда до середины XIX в., когда иностранная конкуренция заставила ввести машину. В революционные годы ножевщики Тьера занялись выделкой холодного оружия. Что мелкие кустари были уже только занятыми на дому мануфактурными рабочими и что под командой отдельного капитала находились уже сотни человек, — доказывает пример производства кавалерийских сабель Р. Courby, у которого занято больше 600 рабочих [85].

Ковалевский рассматривал промыслы Тьера, как подчиненные власти торгового капитала. Он не заметил, что и здесь в XVIII веке былой скупщик, раньше скупавший товары у кустарей, теперь стал предпринимателем, организовал производство как мануфактуру, поднял производительность путем проведения системы разделения труда.

В С.-Этьенне — важном оружейном центре, — так же, как и в Шарлевилле, нет крупных мастерских, но масса повсюду разбросанных мелких мастерских руководятся крупными предпринимателями, установившими между этими мастерскими определенное разделение труда. Совершенно так же организована будет впоследствии (в 1806 г.) машиностроительная мануфактура (Кокерилля) для шерстяной промышленности— «каждая часть производится отдельно разрозненными рабочими на дому в

[84] P. Combe, «Thiers et la vallée industrielle de la Durolle» («Annales de géographie», 1922 г., № 172). См. также Gras, «Essai sur l'histoire de la quincaillerie»; H. Sée, «Evolution économ. et industrielle de la Françe», p. 294; Bourgin, «L'industrie sidérurgique en Françe au début de la révolution», 1920 г., р. 349; см. также Ковалевский, «Происхождение....».

[85] Bichard, «Le comité de salut public et les fabrications de la guerre», P., 1922, p. 183.

городе и в его окрестностях; на фабрике заняты только тем, что собирают эти части вместе и конструируют машины»[86].

Мануфактурное разделение труда проведено в игольном производстве Laigle'я. Сырье (латунь) выписывается из-за границы и раздается кустарям на дом негоциантом, напр., Leben; в городе и соседних деревнях, на 4 лье в окружности, этим промыслом занято около 1.000 человек. Документы говорят о заработной плате, ими получаемой, и в этом промысле кустарь является мануфактурным рабочим[87].

В производстве мелких железных изделий, в гвоздильном промысле, слесарном — мануфактурное разделение труда проведено далеко.

Ленин, изучая мануфактурную стадию русского капитализма, подчеркивал, что речь идет не об отдельных предприятиях того или иного типа, а об «одном строе промышленности», тесно увязанном со всей ступенью экономического развития страны. Что и применительно к Франции должен быть поставлен вопрос о преобладании там мануфактурного строя промышленности, при всей причудливости и своеобразии его переплетения с более ранними стадиями и формами промышленности, — доказывает пример одной из значительных отраслей рыболовства — ловля сардин. В Бретани приманкой при этой ловле является тресковая икра (rogue), доставляемая из Дании и Норвегии, особенно из Бергена. Скупку этой приманки организовали крупные купцы, которые, не довольствуясь огромными прибылями при продаже икры рыбакам, в силу завоеванного монопольного положения, требуют обязательной продажи к себе в магазины сардин, вернее сдачи по устанавливаемым ими же ценам. Жалобы рыбаков указывают, что, напр., в 1785 г. негоциант Легро отказывается продавать икру даже за наличный расчет «потому что они не приносят ему сардин в магазин для продажи»[88]. Постепенно в руках кучки одних и тех же негоциантов сосредоточивается торговля икрой, скупка сардин у рыбаков, пресовка и соление их, упаковка и сбыт. «Ils achètent, revendenet et fabriquent la sardine», как говорит меморандум моряков, поданный в 1789 г. Та же группа монополистов (жалобы говорят о 30 скупщиках («accapareurs»), эксплоатирующих несколько тысяч рыбаков) владеет уже 88 собственными судами с командой около 400 человек. Совершенно не случайно в тексте жалоб попадается слово «capitalistes»; сардиночная промышленность — яркий образец успехов капитализма во Франции XVIII в. Бретонские рыбаки, лишенные капиталов, хотя и покупают приманку, как самостоятельные производители, но вынужденные сдавать рыбу тому же

[86] Ballot, p. 190, 429; Bourgin, «L'i-rie sidérurgique», p. 222—224, 19

[87] Bourgin, «L'indrie sidérurgique», p. 344; см. также у Тарле о Leben.

[88] См. чрезвычайно интересный этюд H. Sée, «Etudes sur la pêche en Bretagne au XVIII s.» (Mén. et docum. m. 9, p. 252—255).

скупщику, часть операций производящему уже у себя на дому, приближаются к положению нормандских или фландрских кустарей, получающих на дом сырье. При всем своеобразии отношений — основные черты перерастания торгового капитала в промышленный, развитие мануфактурного разделения труда и подчинения кустарей, характерные для эволюции всей страны, вполне обозначились и здесь [89].

V

«Французская промышленность была еще в стадии младенчества: вот категорическое суждение, которое К. О. С. выслушал еще в 1795 г. и которое, по мнению некоторых современников, оставалось в известном отношении в силе еще в первые годы империи. Почти совершенное отсутствие во Франции механических усовершенствований, как нельзя более гармонирует с уже отмеченным фактом господства домашней промышленности, об'ясняет и подтверждает этот факт» [90].

Что Франция перед революцией не переживала еще периода промышленной революции — это совершенно очевидно, и попытки доказать обратное обречены на неудачу. Работа Балло не доказала, что промышленный переворот начался в 1789 г., но она вместе с рядом других работ явилась превосходным доказательством известного положения Маркса, что «отчасти в мануфактурный период, в единичных же случаях задолго до него, эти орудия развиваются в машины».

Техника французской промышленности была техникой, соответствующей не «младенческому состоянию», а мануфактурной стадии. Основным процессом было здесь усиление роли централизованной мануфактуры, улучшение инвентаря, оборудование центральных отделочных мастерских, без чего промышленный экспорт Франции не в состоянии был выдержать конкуренции с другими странами. Но именно эта же конкуренция в одной отрасли промышленности — хлопчатобумажном прядении—обусловливала необходимость перехода от мануфактуры к фабрике.

Тарле считал, что и в этой области, «кроме робких, пионерских опытов в сущности почти ничего не было сделано» (с. 148). Совершенно естественно, что это вызывает ряд недоумений: если английская хлопчатобумажная промышленность столкнулась с «мелким производителем», то, чем об'яснить возможность такого мощного контрнаступления, каким была континентальная блокада?

---

[89] См. также, Vignols et Sée, «La correspondance d'un marchand de sardines» (Mém., série 10, 1926) и H. Sée, «La pêche et le commerce en Bretagne de 1791 à 1820» (Mem., série 12, 1929).

[90] Е. В. Тарле, Рабочий класс, т. II, с. 188.

Ш. Шмидта — очень осторожного историка-архивиста, — анализ фактических данных заставил притти к другому выводу о техническом уровне хлопчатобумажной промышленности: «после промышленной революции в Англии, аналогичная революция, но более медленная происходила во Франции, в конце XVIII в. «Начиная с 1780 г., машины начинают распространяться во Франции. После кризиса, в эпоху падения ассигнаций — последние годы XVIII в. — отмечены созданием множества больших мануфактур, возникающих с затратою значительных капиталов. В 1806 г. в Париже создается «комитет прядильщиков», признак, знаменующий могущество, достигнутое индустрией, 20 с небольшим лет назад начавшей создавать свое оборудование» [91].

Тарле не отрицает наличия некоторых машин, но он отрицает какую бы то ни было закономерность в их появлении. Тарле приводит цифры Талозана о распространенности jenny [92] и отмечает появление восьми машин Аркрайта, «введенных одной-двумя семьями английских механиков, которые ad hoc были выписаны и числились на службе правительства» [93].

История этих предприятий и их владельцев показывает, насколько неправильно истолковано их появление Тарле, как «дат в распространении технических знаний», не характеризующих экономическую эволюцию страны.

Первая по времени бумагопрядильня в Neuville принадлежит Perret. Ее владелец «marchand - fabricant» золотых, серебряных и шелковых изделий в Лионе; затем он создает в Лионе шелкопрядильню; присоединяет к ней в 80-х гг. обработка хлопка, а после удачи предприятия в 80-х гг. приобретает машину Мильна и приступает к механическому прядению.

Целиком показательной является история появления «машины и ее заведующего» в Лувье, этом старом центре капиталистической мануфактуры. Предприниматели Лувье, располагая очень значительными капиталами, стремились, еще начиная с 1777 г., перейти к механическому чесанию и прядению шерсти. Именно с этой целью они пригласили английских инструкторов. Но так как в Лувье усиленно начинает распространяться прядение хлопка, и выписанные англичане знакомы были как раз с новейшими изобретениями Аркрайта, предприниматели решают присоединить к прядению шер-

[91] Ch. Schmidt, «Les débuts de l'industrie cotonnière» («Revue d'histoire économique» за 1913 и 1914 г.).

[92] Ballot (с. 47—48) оспаривает обычно приводимую цифру jénny — 900; (в одном Руанском округе их было больше 700, Лилльском — 263, Труа—175, Noyon—40 и т. д.

[93] Т. II, р. 140: «Вторая машина существует в Лувье и ею заведуют (!) два англичанина; есть еще шесть машин... из них одна находится в Орлеане и ею заведует Фокслоу («зять Мильна»), другою «заведует сын Мильна» и т. д.

сти и механическое прядение хлопка, несколько крупных «торговых домов» (тот же Декрето и др.) вступают в соглашение с крупными руанскими предпринимателями (бр. Fontenay и др.) и открывают крупную мануфактуру, располагавшую водяным двигателем («la roue hidraulique»). В 1787 г. в помещении этой мануфактуры работает 18 кардных машин, 3 прядильных, около 200 рабочих. В 1810 г. та же мануфактура занимает уже 600 рабочих и дает продукции на 1½—2 млн. ливров [94]. Вместо этой переросшей уже в фабрику мануфактуры у Тарле оказалось только «двое английских инструкторов».

Гораздо сложнее появление «машины» в Орлеане. Здесь в роли предпринимателя выступает герцог Орлеанский. Разумеется, «зять Мильна» и не мог быть ее хозяином—постройка и оборудование предприятия обошлись в 500—600 тыс. ливров. Оборудование состояло к 1789 г. из 15 ассортиментов машин. В 1791 г. это — первая во Франции хлопчатобумажная мануфактура, на которой применяется паровая машина [95]; в помещении мануфактуры занято 700—800 рабочих. Орлеанский интендант Tribert в цитированных уже нами донесениях констатирует определенный прогресс техники: «в течение последних двух лет в Орлеане начало работать довольно значительное количество этих заново сконструированных во Франции машин — по образцу тех, какие давно уже употребляются в Англии». Директор мануфактуры предполагает, что при помощи паровой машины (pompe à feu) продукция в течение ближайшего года вырастет в 6 раз. «С помощью этих машин, число которых начинает быстро расти во Франции, нужно ожидать в ближайшее время крайнего удешевления хлопчатобумажной пряжи» [96].

Другим примером перерастания мануфактуры в фабрику является Амьенская прядильня. Крупный негоциант Морган и Delahaye предпринимают в 1765 г. производство хлопчатобумажных материй; как и всегда они заняты прядением, ткачеством и окраской. С 1783 г. они начинают применять «дженни», в 1781 г. в мануфактуре занято 400 рабочих; в 1791 г. кризис подталкивает их к установке mul. jenny. Кромптона. Применение «дженни» еще не означало появления фабрики: предприниматель Далу (в Crest), например, на которого работало около 1 000 человек, распределял их среди кустарей, но инициатива их применения идет от мануфактуриста, и та же самая конкуренция, которая вынуждала предпринимателей вводить дженни, заставляла приобретать и прядильные машины. Тот же Далу в 1790 г. покупает у Мильнов ассортимент машин. Тарарская бумагопрядиль-

---

[94] Балло, с. 83; см. также ст. Шмидта: О Fontenay см. дальше в связи с опытами Бертоле.

[95] Тарле считал (см. сб. «Россия и Запад»), что Франция не знала паровых машин до XIX в.

[96] См. «Mémoires et docum.», p. II; H. Sée, «L'évolution etc.». 284.

ня, Le-Pecheux часть дженни разместила у крестьян, но в самом здании есть уже прядильные машины.

Косвенным доказательством допущенной Тарле ошибки является его оценка роли детского труда во Франции. В своей характеристике промышленности до революции он о детском труде в мануфактурах не упоминает вовсе. В главе о кризисе промышленности, рисуя «весь трагизм положения» бумагопрядильной промышленности, Тарле указывает, что «содержать взрослого рабочего хозяева не в силах» и в силу этого, чтобы хоть как-нибудь поддержать существование предприятия, они вынуждены просить правительство дать им «несколько детей, призреваемых в благотворительных учреждениях» [97].

Е. Тарле слишком хорошо образованный историк, чтобы не знать, что в тех же 90-х гг. по ту сторону Ламаншского канала шла охота за детьми, которая никак уже «трагизмом положения» об'яснена быть не может. Уже в 80-х гг., одновременно с первыми опытами механического бумагопрядения, детский труд во Франции начинает получать более широкое применение. Уже на Ньевильской мануфактуре кардной машиной руководят дети от 4 лет. В мануфактуре Louviers в проекте организаторов указывалось на то, что один ребенок с помощью машины даст большую работу, чем 20 взрослых прядильщиков. На Орлеанской мануфактуре работает 96 детей в возрасте от 8 до 16 лет и около 50 в возрасте от 5 до 8 лет. В том же Арпажоне, на который ссылается Тарле, применение детского труда началось сразу же с открытием мануфактуры. Что кризис здесь решительно не при чем, видно из того, что после него фабрикант создал специальный приют для сирот, которые и работали на мануфактуре. Когда Boeyr-Fonfrède в 1791 г. (до всякого кризиса!) открывает мануфактуру в Тулузе, то он сейчас же требует детей и при Директории использовывает уже труд 600 детей. Прядильня банкиров Périer (1790 г.). занимает 600 детей, в гидравлической прядильне Sykes'а (1793 г.)—200 девочек. При открытии каждой новой прядильни — это одинаково характерно как для периода Конвента и кризиса ассигнатов, так и после него — постоянный припев предпринимателей: «дайте нам детей из приюта» [98]. Историк промышленности и рабочего класса связал развитие детского труда не с появлением машин, а с кризисом, и вдобавок проглядел первые загодыши движения рабочих против машин, исходя из представления о «младенчестве» французской промышленности. Поиски

[97] Т. II, с. 447—8.

[98] О всех приведенных фактах см. у Шмидта (ст. за 1914 г., об Арпажонской мануфактуре также у Балло, с. 81). Далеко не специалист-историк, П. Лафарг, указал еще в 1890 г., что мануфактура Ревельона использовывала труд детей от 14 до 15 лет. Снижение заработной платы и удавалось ему благодаря использованию детского труда (Лафарг, сочинения, т. II, с. 395—6).

луддитов в царстве северной Семирамиды были бы действительно безнадежной задачей, однако, аналогия эта была проведена, как видим, несколько поспешно...

В хлопчатобумажной промышленности в 80-х гг. установлено несколько случаев разрушения машин. В 1788 г. в Falaise огромная толпа женщин заявляет прокурору о своем решении сжечь недавно установленную фабрикантом машину. Попытка спасти ее не удается, и прокурор в своем докладе приходит к выводу, что в таком городе, где прядением занято 8 тысяч человек, опасно разжигать мятеж и употребление машин должно быть запрещено. Бюро торговли «вознегодовало»: машины необходимы, чтобы справиться с английской конкуренцией; нужно принять все меры к тому, чтобы мятеж был изолирован и опасный пример не передался Лувье, Руану, Арпажону, где созданы новые механические заведения. Отправляется батальон гренадер; это вызывает общее негодование и декан Фалеза отправляет просьбу королю с просьбой о помощи 4 000 прядильщиков, из-за машин остающихся без работы. По поводу всех этих петиций сам Неккер пересылает «тревожащую» его переписку Талозану и осведомляется, «нет ли у нас каких-либо сведений об Аббевиле, где, мне кажется, находятся в большом возбуждении по такому же поводу? Нет ли сообщения из Пикардии?» [99].

Однако спасти Руан не удалось. 14 июля 1789 года толпа в несколько сот человек, после двухдневных волнений, врывается в мануфактуру, где были установлены прядильные машины Барневилля [100], и разрушает их. Несмотря на репрессии волнения продолжались, в результате разрушено, кроме машин Барневилля, более 700 дженни, шесть кардных машин и т. д. Что почва накалялась издавна, видно из того, что к моменту созыва Генеральных штатов в Руане вышла брошюра «Требование шести предместий («faubourgs et banlieux») города Руана об уничтожении прядильных машин».

Требование это мотивировалось тем, что машины займут только $^1/_{20}$ часть рабочих рук и что вырастет конкуренция Руану в других городах.

В Труа рабочее население всячески мешает установлению механических прядилок, этого «предосудительного изобретения, лишающего многих

---

[99] C. Schmidt, «Revue historique» за 1908 г., ст. «Промышленный кризис 1788 г.», с. 86. Не случайно Кареев указывал Тарле на недопустимое игнорирование литературы предмета. Ведь еще в 1911 г. Тарле считал, что до революции рабочие «только в этом производстве (ленточном) почувствовали реальную опасность для себя от введения механических усовершенствований».

[100] История изобретения Барневилля также поучительна. Они имеют в Руане блестящую торговлю «полотнами, кружевами и шелком». В 1755 г. отец Б. изобретает машины для прядения шерсти, льна и особенно хлопка. Ясно видно, что почва капиталистической мануфактуры дает толчок технической мысли.

работы, требует их запрещения»[101]. Предприниматели отправляют их в деревню и там раньше всего развивается механическое производство; только позже, после Директории, их удается ввести в города, и в 1799 году в Труа создается прядильня с «mul. jenny». Депутат Caux в Учр. собр., жалуясь на повсеместную порчу машин, заявляет в 1790 г., что «придется ждать 20 лет до того, как разовьется широко применение машин».

Само собой разумеется, перечисленные факты свидетельствуют лишь о первых шагах в области механического бумагопрядения. Революционные формы процесс внедрения прядильной машины приобретает лишь в период континентальной блокады и завершается в основных чертах лишь к концу первой трети XIX в. Но об'яснен этот процесс может быть только в связи с установлением господства капиталистической мануфактуры в х.-б. промышленности, иначе непонятны дальнейшие, быстрые технические успехи. В 1790 г. «дженни» было только 900, но уже в 1805 их было около 12 500, а число прядильных машин с 8—9 выросло до 3 300[102]. В свете этих цифр несомненно, что первые машины и первые сотни «дженни» в 80-х гг. были не «совершенно случайным новшеством» «экзотическим явлением» (Тарле), а первыми признаками, обозначавшими начало процесса перерастания капиталистической мануфактуры в фабрику в х.-б. промышленности. Промышленную революцию в этой отрасли несколько задержали революция и войны. Но перерастание это было экономически неизбежно, и никаким демиургом правительство, как бы упорно это ни доказывали Балло и большинство французских исследователей, не было. Характерно, что в 1785 г. генеральный контролер отказывает Невильской мануфактуре в субсидии, так как образовалось много подобных мануфактур, которым государство ничего не дало. Крупная промышленность может создаваться без финансовой поддержки государства»[103].

Техническая отсталость преувеличена Тарле в шерстяной промышленности. Перерастание мануфактуры в фабрику здесь еще не началось перед революций, однако «дженни» нашла уже себе применение (в 1787 г. их было около 100). Еще в 1777 г. предприниматели Лувье жалуются,

---

[101] Vernier, «Cahiers de doléances du baillage de Troyes», v. I. «Прядение—душа вязального производства; чтобы пряжа была хороша, необходимо, чтобы она была сделана рукой, а не путем механических станков, которые очень распространены со времени упадка нашей «фабрики», особенно в деревнях, жители которых забросили обработку земли, чтобы со всей страстью броситься на эту отрасль промышленности, покровительствуемые механическими станками, которые дают им возможность истребить городских ремесленников» (с. 192 — наказ «comoagnions-bonnetiers», см. также с. 159).

[102] См. Балло, с. 124.

[103] Ук. ст. Шмидта за 1914 г., с. 274.

«что прядение страдает от недостатка рабочих» и хотят использовать механическую прялку [104]. Перерастание в основном началось в период империи, но то обстоятельство, что машины Кокерилля сразу нашли широкое применение (в 1812 г. сбывалось 2 000 машин в год) подтверждает, что мануфактура господствовала в шерстяной промышленности. Предположение, что «шерстобиты и суконщики далеко не всюду убеждены в нужности механических усовершенствований и иной раз весьма самоуверенно об этом заявляют» [105], сохранив эту позицию вплоть до периода консульства, опровергает нагляднее всего требования седанских предпринимателей. Morgue в донесении Шапталю сообщает: «остается поддержать желание седанских фабрикантов о введении у них искусных машин, которыми пользуются англичане... Много прядильных машин уже действует в Реймсе, трепальная машина имеет там великолепный успех. Введение этой последней машины в Седане положило бы конец мятежному духу tondeurs. Страх перед ними был долгое время... помехой для предпринимателей в применении машин в Седане». Предприниматели ходатайствуют, чтобы предприятия, применявшие машины, находились под особой защитой правительства — «единственный способ избежать их разрушения рабочими» [106].

Фабрика не могла вырасти из самостоятельных мелких кустарных промыслов—она сменяла мануфактуру. Лучшим примером является Терно— своеобразный Стиннес эпохи континентальной блокады, крупный седанский мануфактурист перед революцией. Первые шерстобитные машины Дугласа направляются в Реймс, Седан, Эльбеф — центры капиталистической мануфактуры.

Из того, что предреволюционная Франция не переживала еще периода промышленного переворота (исключая первые признаки его в хлопчатобумажном прядении), вовсе не следует, что она не знала ряда значительных технических усовершенствований. Маркс указывал, что от XVI до середины XVIII вв. происходит «внутри мануфактуры предварительная работа для создания машинной промышленности» (письмо Энгельсу), шагом к «изобретению самодвижущегося аппарата» являются попытки Вокансона, что «всякий способ разделения труда имеет свои орудия труда. С середины XVII до середины XVIII в. были инструменты и даже очень сложные» (письмо Анненкову).

---

[104] Ballot, p. 175.

[105] Тарле, Рабочий класс, т. II, с. 260: «еще при консульстве, в 1801 г. министерство внутренних дел тщетно взывало к изобретателям—до самого конца интересующей нас эпохи в области техники шерстяной промышленности почти ничего не было сделано».

[106] Schmidt Ch., «La draperie à Sèdan en 1803» («Rev. d'hist. des doctrines économ., 1912, p. 108). Кстати, этот документ доказывает правильность и для Франции мысли Маркса, что для Англии «изобретение и применение машин... было только результатом войны между рабочими и предпринимателями» (письмо Анненкову).

Техника мануфактурной стадии стоит несомненно выше техники предшествующих экономических стадий. Достаточно нескольких примеров, чтобы на истории французской промышленности убедиться в правильности положения Маркса. Совершенно очевидны технические достижения ситценабивной промышленности: печатание ситцев происходит только в централизованной мануфактуре, постройка и сложное оборудование которой требовало значительных капиталов, в среднем около 400 тысяч ливров, в отдельных мануфактурах по 80, 100, 125, 186 «столов» («tables»). Для набивки ситцев вводятся технические новшества (с 1782 г. — «planches plates de cuivre», прокатные валы — сперва у Оберкампфа, а с 1803 г. и в Эльзасе).

Купец превращается в мануфактуриста тогда, когда «производит у себя на дому некоторые детальные операции, организует крупные мастерские с разделением труда» (Ленин). Образцом таких мастерских являются белильни и красильни нормандских и фландрских негоциантов. Улучшение способом окрасок материи является результатом развития капиталистической мануфактуры, а не «правительственных забот», как считает Е. В. Тарле[107].

Способ окраски Бертоле применяется впервые в Руане крупнейшими негоциантами-прядильщиками Grandin'ом и Fontenay, поддерживавшими Бертоле после неудачи его первых попыток. Только при помощи Fontenay'я опыты Бертоле были доведены до конца. Толчок технической мысли исходит от мануфактуры, работавшей на внешние рынки и немедленно воспринимавшей технические новшества; этот прогресс одинаково может быть отмечен и в шелкокрутке, в ленточной промышленности, бумажной, металлургии и угольной промышленности.

Оценка Балло, что в шелкокрутильной промышленности «крупные прядильни с автоматическими машинами, работающими днем и ночью», представляют прообраз современного предприятия, неверно смешивает фабрику с мануфактурой. Крупные прядильни Deydier Judié — отнюдь не фабрики, но, как и ситценабивные мануфактуры, являются образцом крупной мастерской, которых еще не было во Франции первой половины XVIII века. Regnier отмечает, что «активными поисками», опытами механического усовершенствования наполнена «последняя четверть XVIII в.»[108]; вновь созданная «manufacture reunie» вводит значительные технические усовершенствования.

Точно так же применение «цюрихских станков» еще не означало промышленной революции в ленточном производстве, но инициатива их при-

---

[107] см. Ballot, p. 83 и 530; Тарле, Рабочий класс, с. 185. «Вопрос об усовершенствовании способов окраски материй сзабочивал французское правительство».

[108] Regnier, «La soie en Vivarais»; Ballot, p. 324, 327. См. критику Балло в ст. Ф. Потемкина. («Ист.-марксист», № 12).

применения шла именно от мануфактуристов. В С.-этьенском районе первым приобретает эти станки крупный предприниматель Dugas, на которого работает 1 200 семей и $^2/_3$ всех станков (около 2 400). Уже в 1755 г. Дюга скупил у разорившейся парижской компании 73 станка; в 1765 г. он собирается открыть централизованную мануфактуру. Салишон, с большим успехом применявший эти станки, в свою очередь является с.-этьенским marchand-fabricant [109]. К началу революции в С.-Этьене имеется уже около 1 200 «цюрихских станков», все они принадлежат мануфактуристам, технически перевооружающимся.

Превращение скупщика в предпринимателя, появление новых мастерских, применяющих технические нововведения, можно проследить и в металлообрабатывающей промышленности. Наиболее ярким образцом являются мануфактуры в Lamécourt [110] (Арденны). Крупные негоцианты, братья Орсель, в руках которых сосредоточилась торговля мелкими железными изделиями (quincaillerie) в Париже, экспортировавшие их в Испанию и в Италию, переходят к самостоятельному производству. Большинство рабочих занято не в самом здании, а в деревнях Седана и даже Шампани, но и в самом здании работают 140 человек, в том числе 60 детей. Мануфактура пытается применить способы производства Болтона. Современники отмечали богатство ее оборудования: «прокатный станок, приводимый в действие водой, две штамповальни, 5 прессов, шестой большой пресс для штамповки пряжек полировальная машина, движимая водой, и другая, которую приводят в действие двое людей, токарный станок для выделки гаек» и т. д. Крупные мастерские в этой отрасли промышленности возникают в La-Charité, Clermont, Лионе, Роанне, во всех них применяются станки для резки (coupoirs), прокатные станки (laminoirs), штамповальни. В Роанне отмечается «производство пряжек à la machine, по английскому образцу» [111]. Как в ситценабивной промышленности, в мелкой металлообрабатывающей промышленности, так и в производстве оружия появление крупных мастерских (напр., в Тюлле) явление не случайное, а закономерное для мануфактурного периода.

Мелкое производство преобладает в металлургии [112], однако, характеристика ее технического уровня будет совершенно неточна, если не подчеркнуть возникновения именно во второй половине XVIII в. нескольких крупных металлургических предприятий, созданных при затрате значительных капиталов и несколько улучшивших технику выработки чугуна и железа. Достаточно указать на лотарингские предприятия Дитриха, начавшего

[109] Gras, «Histoire de la rubannerie» en. S. Etienne, с. 838.

[110] Bourgin, «L'industrie sidérurgique á la veille de la Révolution», p. 21—28.

[111] Bourgin, p. 307—320, о Роанне—221.

[112] Необходимо однако отметить, что по самому беглому и неточному подсчету в списке металлургических предприятий, приведенных в публикации Bourgin'ом, около 20 предприятий с числом рабочих свыше 200.

с финансовых операций, вложившего затем свои капиталы в металлургию. В 1785 г. ему принадлежит 6 предприятий, в том числе железоделательный завод в Нидерброне, где занято 800 рабочих, предприятия в Егертале, о которых очевидец пишет, что «пять топок, два молота в постоянном движении, движение колес, большое число рабочих, всегда занятых, поражают взор в этой большой мастерской», Райхсгофене и т. д.[113]. Тип Декрето и Jouber-Bonnairéa — политических деятелей, выходцев из среды крупной промышленной буржуазии, дополняет брат Дитриха, первый мэр Страсбурга после революции, в доме которого впервые спел Руже-де-Лилль марсельезу[114].

Именно на мануфактурной стадии капитализма может быть понято появление такого крупного предприятия, как Крезо, обошедшееся в несколько миллионов ливров. Предприятие об'единило чугунно-плавильный и литейный завод, угольные шахты (Montcenis), стеклянный завод и т. д. В 1781 г. в деревушке было всего 7—8 хозяйств, в 1787 г. около 1 400 человек; только в чугунно-литейном заводе работает 578 человек. В Creusot применяется каменный уголь для плавки руды, имеется 5—6 паровых машин, паровой молот, разные станки и т. д.[115].

Наконец, представлению о «младенческом состоянии» техники несоответствуют данные о развитии угольной промышленности. Рост мануфактур естественно вызвал спрос на уголь со стороны промышленности. Совершенно понятно указание одного концессионера в Hainaut в 1784 г. на то, что «Нормандия с ее красильнями, ткацкими, винокурнями имеет огромную потребность в угле». В соответствии с этим именно во второй половине XVIII в. начинается рост угольной промышленности, появляются и крупные шахты. Анзенские копи, наиболее крупные, насчитывают 4 тыс. рабочих, 12 паровых машин; капитал, вложенный в них,—по преувеличенным, правда, подсчетам,—превышает десяток миллионов ливров; в 1789 г. шахты дают больше миллиона прибыли. Паровая машина есть и в шахтах менее значительной компании Aniche[116].

Мы считаем возможным ограничиться этими отдельными доказательствами. Промышленная революция не началась еще во Франции, уровень техники еще очень низок, но некоторый Крезо является исключением, да и его расцвет произошел в 30 гг., но все же технический прогресс, соответствовав-

---

[113] Bourgin, с. 362—3.

[114] Балло, с. 426—27. Владельцем нескольких крупных предприятий является Aubertot. Ему принадлежат заводы в Mareuié (400 рабочих), Vierin—Villages (400 раб.), Bourgin, с. 68.

[115] Этюд Балло о Крезо был опубликован еще в 1912 г., в работах Е. В. Тарле об этом предприятии не упомянуто.

[116] M. Rouff, Les mines de charbon en Françe au XVIII s., 1922 г. Машины изготовляются Périer, акционером Крезо. Между 1778 и 1781 гг. изготовлено около 40, здесь же изготовлены прокатные станки, валы для оберкампфа и т. д. (См. у Ballot).

ший мануфактурной стадии, совершенно очевиден. Первые опыты механического прядения хлопка, «цюрихские» станки в ленточном производстве, применение прокатных валов в ситценабивной промышленности, технические усовершенствования шелкокрутки в новых мануфактурах, новый способ окраски тканей, появление крупных мастерских с рядом приспособлений в мелкой обрабатывающей промышленности, первые опыты применения паровых машин, возможность появления таких предприятий, как Крезо,— все эти успехи еще достаточно скромны, не дают никаких оснований говорить о «введении машинизма в промышленности», потому что инструмент не заменил ручного труда, но все же совершенно несовместимы с представлением о господстве самостоятельного мелкого ремесла.

Техника производства у нормандских, пикардских бретанских кустарей оставалась неизменной; мануфактура не способна переделать мелкое производство, она «покоится на этом базисе», но техника в отделочных цехах manufacture dispersée прогрессировала, как бы медленны и ничтожны по сравнению с машинной индустрией эти успехи ни были бы. Самая беглая характеристика технического уровня французской промышленности подтверждает вывод о преобладании капиталистической мануфактуры. В хлопчатобумажной промышленности первые прядильные машины не были «датами технических знаний», это были «вестники новых времен», признаки превращения мануфактуры в фабрику.

VI

Несомненной заслугой «русской школы» было подчеркивание роли деревенской промышленности (хотя, как видим, со всей силой этот вопрос был поставлен Марксом). Справедливо было и указание на то, что деревенская промышленность существовала задолго до закона 1762 г. и была им лишь легализована. Но причины расцвета деревенской индустрии, ее легализации именно во второй половине XVIII в., использованы были неправильно.

Прежде всего нужно внести поправку к освещению вопроса о районах распространения деревенской промышленности; Лучицкий и Тарле считали, что к занятию промышленным трудом толкало неплодородие почвы и невозможность в связи с этим прокормить семью.

Жалобы на недостаток рабочих рук идут из Шампани, где широко развитое сукноделие вело борьбу на этой почве с виноградарством и виноделием. Такие же жалобы идут и из Прованса, где «помещики с давних пор недоброжелательно смотрели на индустрию», отнимающую руки от земледелия, из департамента устьев Роны, Вьенны, Соммы и некоторых других[117].

[117] Тарле, т. II, с. 99, 123—4.

В Лангедоке это недоброжелательство крупных землевладельцев к сельской индиустрии наблюдается еще в 1727 году—«нехватает рабочих для возделывания земли». Борьба за рабочие руки свидетельствует о том, что деревенская промышленность быстро развивалась и в районах плодородных с интенсивным земледелием.

Сэ считает, что во Франции обозначилось два района распространения сельской индустрии. Первый—где земледелие мало производительно, как Бретань и Bas Maine; в них торговцы выступают исключительно в качестве посредников и не руководят производством. После революции, в XIX в., индустрия здесь постепенно хиреет.

Наоборот, во Фландрии, Пикардии—земледелие процветает. Здесь деревенская промышленность широко развивается, потому что «большое количество крестьян лишено собственности» и здесь «деревенский ремесленник часто целиком зависит от подлинного мануфактуриста, который распоряжается его трудом»[118]. Не недостатку средств для пропитания, а «избытку рабочей силы обязана своим развитием деревенская промышленность во Фландрии и Пикардии: здесь она дольше удерживается в XIX в.»[119].

В первом случае промышленный труд является подспорьем, во втором—даже в районах интенсивного земледелия для пролетаризующейся части крестьян промышленный труд становится основным занятием. Капиталистическая мануфактура может проникнуть в деревню лишь на определенной ступени разложения крестьянства. Факты, приведенные самим же Тарле, заставляют признать правильность вывода Сэ.

Борьба между деревенским кустарем и системой цехов шла давно, но причины легализации кустаря, роста промыслов кроются именно в развитии мануфактуры.

Основной чертой экономической истории Франции XVIII в., как совершенно правильно подчеркивает Матьез, является борьба буржуазии против цехов. Эту борьбу ведет и торговая буржуазия: в Бордо (в 1716 г.) торговая палата хочет помешать плотникам и конопатчикам судов создать корпорации[120]; в Нанте хлебные негоцианты противятся образованию корпорации крючников; в Сен-Мало в 1732 г. буржуазия добивается не только запрещения создания новых цехов, но и разрешения старых, которые «тиранизируют население и отнимают у бедных жителей и вдов средства к пропитанию».

---

[118] H. Sée, «L'évolution commercielle et industrielle etc», p. 274.

[119] H. Sée, «La Françe économique sous la monarchie censitaire», 1927 (p. 82).

[120] Это связано, разумеется, с ростом кораблестроения. Бордо в XVIII веке был главным центром морской торговли Франции, его обороты достигают 250 млн. ливров; через порт проходит четверть всей морской торговли Франции (см. у Sée, «L'évolution», p. 180).

Резким и основным противником цехов является купец-предприниматель, который стремится вырваться из под цеховой опеки. В Эльзасе в 1754 г. цехи Мюльгаузена обращаются с жалобами на мануфактуристов (Гоффера, Рислера и др.) и с требованием запретить им заниматься бумагопрядением. Обвиняемые защищаются ссылкой на то, что «они раздают работу на 30 километров в окружности, где они не могут повредить интересам мюльгаузенских корпораций». Магистрат запретил заниматься прядением хлопка в самом Мюльгаузене, но разрешил за пределами его, там, где оно не могло бы причинить вред корпорации. Победа остается фактически за мануфактуристами и, «начиная с 1755 г., домашняя промышленность распространяется в долинах Верхнего Эльзаса»[121].

В чулочновязальном производстве цехи пытаются ограничить производство в нескольких городах и во всяком случае—ограничить его городской чертой. Что это не удается, видно из ряда тщетных предписаний «вернуться в город» (в Амьене—в 1717 г., в Лангедоке— в 1720 г. и т. д.). Разумеется, речь не идет об отдельных ремесленниках или подмастерьях—«на юге нашли ловкий способ обойти запрещение: фабриканты Нима достали свидетельства о принадлежности к цехам для рабочих в предместьях и особенно в деревне; таким образом, чулочновязальные станки (которыми снабжали предприниматели рабочих—*В. Д.*) нашли широкое распространение в деревне[122].

В производстве тонких полотен Камбрэ и Валансьена во второй половине XVIII в. замечается перелом—промышленность перемещается из городов в деревню; однако, в самом Валансьене сохраняются значительные белильни, которыми владеют крупные негоцианты, руководящие всей промышленностью.

Совершенно понятно, почему в Труа цехи требуют запрещения деревенской промышленности, а «лично заинтересованные» «купцы-фабриканты» отстаивают ее сохранение[123]. Новый тип предпринимателя, которому мешала цеховая система, подчиняет себе деревенские промыслы и борется с цехами за их легализацию.

Городского предпринимателя стесняла регламентация и цеховая опека. Но даже там, где корпорации были слабы, городской рабочий оказывался с точки зрения негоцианта слишком строптивым и требовательным. Борьба между предпринимателем и рабочим, как бы малы ни были размеры производства, может быть прослежена в большинстве промышленных городов Франции; конфликты эти значительно чаще и упорнее, чем принято думать, особенно из-за заработной платы. В свете этой классовой борьбы стремления предпринимателей найти дешевых и послушных рабочих—«рассеяние ма-

---

[121] Lévy, «Ind-rie cotonnière en Alsace», p. 11—12.
[122] Ballot, p. 268—69.
[123] Vernier.

нуфактуры», перенесение центра тяжести промышленности в деревни становится более понятным.

В Седане прядение и ткачество производятся, главным образом, в деревнях. Предприниматели об'ясняют это тем, что «рассеяние рабочих предупреждает опасность их коалиций и мешает дурному умыслу тех, кто об'единен, сноситься между собою». К несчастью, часть рабочих, ворсильщики и стригальщики должны оставаться в отделочных мастерских Седана: «это одно из опаснейших человеческих сообществ, они диктуют законы et ils sont durs» [124].

Предприниматель ищет дешевых рук—он может найти их только в деревне, где процесс разложения крестьянства пошел уже довольно глубоко. «Не за чем долго размышлять, — пишет руководитель мануфактуры шелковых кружев в Седане, — если рабочие руки обойдутся значительно дешевле, чем в окрестностях Парижа и если нельзя опасаться конкуренции другого предприятия, на которое население работает» [125].

Внимательный и вдумчивый наблюдатель, демократ Бакалан, в своем докладе о путешествии в Пикардию, Артуа и Фландрию (1768 г.) подчеркивает, что в Аббевиле «свобода деревенской промышленности имела своим счастливым последствием снижение зарплаты на $^1/_6$. За штуку сукна платят вместо 17—14. По мнению Мерика (крупного фабриканта) платили бы по 25, если бы не конкуренция деревенских рабочих. Этот фабрикант уверял меня, что предпочитает деревенских рабочих городским, по большей части распущенным и пьяницам» [126].

Сам же Тарле указывает, что «современники издание закона 1762 г. об'яснили исключительно (разбивка наша—*В. Д.),* стремлением удешевить плату за труд». Клико-де-Блерваш раз'яснил закон так: «не следует ли желать распространения (фабрик) в окрестностях, где потребности меньше и жизнь дешевле, где вследствие этого заработная плата ниже, а это преимущество имеется только в деревнях. Именно вследствие этого администрация в 1762 г...» и т. д. [127].

Свободы деревенской промышленности, свободы эксплоатации полупролетаризованных кустарей требует предпринимательская буржуазия. «В сохранении и расширении деревенской промышленности заинтересовано большинство фабрикантов», делает общий вывод для Нормандии Сион [128]. Зависимость деревенских кустарей от крупных предпринимателей и заинте-

---

[124] Schmidt, «La draperie á Sedan» (R. d'hist. des doctr. écon., 1912 г.).

[125] Hardy, «La localisation des industries dans la généralité d'Orléans» («Memoires», m. 3).

[126] «Rev. d'hist. des doctrines économiques», 1908 г., v. I, Obsérvations vaites par M. de Bacalan».

[127] Тарле, т. II, с. 81 и примеч.

[128] J. Sion, «Les paysans de la Normandie», c. 179.

ресованность последних в возможно более широком развитии деревенской промышленности подчеркивает Лефевр для всего северного района. «Те и другие (снабжавшиеся и неснабжавшиеся сырьем кустари)—и это самая характерная черта деревенской промышленности—зависели в конечном счете от крупных негоциантов, так как они работали на экспорт и не имели совершенно связи с рынком... Городские негоцианты извлекали пользу из деревенских промышленников... городским ремесленникам. Главным преимуществом для негоциантов было наличие дешевой силы и возможность совершенно свободно осуществлять капиталистическую концентрацию, об'единяя в своих руках производство и торговлю» [129].

Именно давление предпринимателей играло решающую роль для правительства, которое, с другой стороны, стремилось «улучшить печальное положение крестьян, отразить недовольство, возможные бунты, притти на помощь бедневшим крестьянам, занять безработных» [130]. Мануфактурист мог найти в деревне дешевле рабочие руки, потому что во французской деревне были крестьяне, почти или совсем лишенные собственности, готовые основное время уделить работе на мануфактуре. Как и в России, во Франции мануфактура проникла в деревню лишь на определенной стадии разложения крестьянства [131].

«Час пробил для цехов» не тогда, когда деревенский кустарь получил право производить: все данные говорят за то, что еще в значительно более ранние времена развились кустарные промыслы; не самостоятельный кустарь страшен был ремесленнику. «Час пробил тогда», когда городской предприниматель, «marchand-fabricant» обходным движением создал в деревнях новые промышленные центры, в противовес корпоративным городским центрам.

Это расширение деревенской промышленности является закономерным явлением, выясненным Марксом, соответствующим капиталистической эволюции всей страны. Оно имело место и в Англии, и в бельгийской Фландрии, и в России: деревня превращается в своего рода «гинтерланд» для капиталистической мануфактуры. Пиренн, в своем докладе на Лондонском мировом конгрессе историков, обобщает этот факт для всех стран Западной Европы: «если цеховые организации» продолжают существовать, то они больше не господствуют над организацией труда. Появляются новые индустрии,

---

[129] G. Lefebvre, «Les paysans du Nord», v. I, p. 284. Любопытно сопоставить с этими выводами Сиона и Лефевра положение Е. В. Тарле: «Деревня давала тон всей промышленной жизни провинции». «Деревня сделала невозможным для города повиновение регламентам».

[130] Hardy, ук. ст. (Mém., v. 3).

[131] «Параллелизм между фактом развития сельской кустарной промышленности и фактом умножения числа лиц, едва обеспеченных в земельном отношении, был отмечен и Лучицким.

которые, чтобы вырваться из-под мелочной опеки муниципальных властей, располагаются в деревнях. Рядом со старыми привилегированными городами, которые прозябают, появляются молодые мануфактурные центры; в Англии: Шеффильд, Бирмингам, Ливерпуль; во Фландрии: Hondshoote, Арлентьер; Вервье—в льежской области»[132].

Предприниматель борется с городскими ремесленниками, превращает деревенского кустаря в мануфактурного рабочего. В других формах та же борьба с мелкой собственностью за превращение свободного труда в наемный происходит в угольной промышленности.

Обезлесение Франции, рост промышленного спроса на топливо делают чрезвычайно прибыльным угольное дело. Накопленные капиталы в стране устремляются к углю, но препятствием является мелкая крестьянская собственность на угольные залежи: крестьянин «царапает землю» и сам извлекает из нее уголь. Как указ 1762 г. сметал мануфактуристам препятствия для проникновения в деревни,—указ 1744 г., нарушая права собственности, открывал капиталу дорогу в угольную промышленность. Право добычи было предоставлено не собственникам угольных местонахождений, а исключительно получавшим от правительства концессию на право разработки, — своеобразная «полунационализация» угольных залежей! Крупные концессионеры—большей частью богатые буржуа, так как постройка шахт, поддержание их деятельности, оплата рабочей силы требовали очень значительных издержек—получают право явиться на крестьянский участок, уничтожить мелкую шахту исконного владельца местонахождения[133].

Начинается ожесточеннейшая борьба мелких собственников, не желающих превращаться в наемных рабочих, против концессионеров, доходящая до вооруженных столкновений. В Оверни, например, в 1779 г. на шахту концессионера напали 500 крестьян и ограбили ее. Через несколько дней к ним присоединились 2 000 окружных крестьян и рабочих; толпа добивается освобождения трех арестованных, исход борьбы решается драгунами. Против другого крупного промышленника, Тюбефа, пытающегося закрыть крестьянские шахты, движение мелких собственников возглавляет епископ Нарбоннский, владевший сам шахтой неподалеку[134]. «Все ли равно—быть собственником или простым рабочим? Руки, которые обрабатывали перешедшую по наследству шахту, станут руками наемника»—крестьянские петиции всячески сопротивляются этой перспективе, от слов переходя к насильственным нападениям на концессии (Kapuo, Rive de Gier, Montcenis, Graissessac), за-

[132] H. Pirenne, «Les périodes de l'histoire sociale du capitalisme», Bruxelles, 1922.

[133] См. чрезвычайно интересную для характеристики классовой борьбы в предреволюционной Франции работу M. Rouff'a, «Les mines de charbon en Françe» 1922 г.

[134] Rouff, ук. книга, с. 140—141, 144, 156—57. Одни лишь расходы на покупку свечей в Анзенских копях составляют 30 т. ливр. в год.

прещению возчикам перевозить уголь и т. д. Некоторая часть мелких собственников, сломленная в этой борьбе, превратилась в наемных рабочих крупных угольных компаний.

Расцвет капиталистической угольной промышленности был еще впереди; однако, эта борьба сравнительно крупного капитала с мелкой собственностью в угольной промышленности как нельзя более соответствует борьбе буржуазии с цехами. Все это сходные, близкие ряды явлений. Указы 1744 и 1762 гг.—законодательные акты, типичные для мануфактурной стадии капитализма.

VII

За последние два десятилетия в историографии всей эпохи XVI — XVIII вв. происходит определенный перелом. Сроки возникновения промышленного капитализма отодвигаются все дальше,—это делает «манчестерская школа» для Англии, Пиренн для Бельгии и всей Западной Европы, новейшие изыскания по экономической истории во Франции. В той или иной мере это движение, возможно, соответствует изменению исторических взглядов, обозначившемуся в историографии средневековья.

Без сомнения, мотивы социологического порядка прежде всего толкают к этому пересмотру. Их очень ясно выразил H. Hauser: «еще меньше, чем революция политическая, экономическая революция никогда не представляет собой скачка (saltus)»[135].

Классовые влияния обусловливают позицию французских буржуазных историков. Промышленный под'ем Франции XX в., ускорение темпа индустриализации подталкивают буржуазных историков к пересмотру обычных представлений о промышленной отсталости их родины. Тот же самый H. Hauser, особенно активно защищающий этот пересмотр, крайне благосклонно отнесшийся к работе Балло, возглавил в 1915 г. «Национальную ассоциацию экономической экспансии», доказывая в своих работах, что «время, когда Франция могла оставаться исключительно сельскохозяйственной страной, прошло. У нас нет выбора... Мы вступили на путь к индустриальному государству... Разве наше сельское хозяйство не стоит перед решением: индустриализироваться или погибнуть?»[136]. Сборники Hayem'a, тесно связанного с промышленными кругами, находятся под особым покровительством министров торговли. Те же влияния сказываются на работах Балло, на его положении о роли государственного вмешательства, об эволюционном характере развития промышленности.

---

[135] H. Hauser, «Les débuts du capitalisme», Alkan, 1927, p. 320.

[136] См. Ungern-Sternberg, «Grundzüge der französischen Volkswirtschaft», S. 27.

Совершенно несомненно, что общий вывод Балло о торжестве минимума во Франции 1815 г. должен быть оспорен, как и его тезис о решающей роли государственного вмешательства [137]. Нужно, однако, отметить, что условия выхода книги (после смерти автора) вызвали в ней целый ряд противоречий. Наряду с тезисом о «торжестве машинизма к 1815 г.» там есть и совершенно противоположное утверждение, что «единственной отраслью, которая действительно трансформировалась между 1792 и 1815 гг. была шерстяная», но если исключить это превращение в шерстяной промышленности и прогресс, достигнутый в шелковой, благодаря изобретению Жаккара, нужно признать, что технические улучшения, осуществленные между революцией и концом империи, были самыми ограниченными (les plus restreintes); паровая машина нашла применение только в угольной промышленности [138].

Однако, кроме этих неприемлемых выводов, важно, что в характеристике отношений в промышленности предреволюционной Франции факты заставили Балло занять позицию, совершенно противоположную «русской школе». В рецензии на книгу Леви еще в 1913 г. Балло формулировал свою позицию так: «в Эльзасе, как и во всей Франции, капитализм предшествовал... машинизму; в конце XVIII в. текстильная промышленность ясно представляет черты капиталистической формы домашней промышленности; к концентрированной промышленности перешли через ткацкую мастерскую» [139]. Не случайно, что часть работы, касающаяся развития предреволюционной Франции, Балло хотел озаглавить: «Крупная промышленность перед введением машин» (к 1780 г.) [140]. Этот основной вывод о характеристике предреволюционной промышленности

---

[137] См. обзор работ по промышленной революции Ф. Потемкина («Архив Маркса», т. IV).

[138] Ballot, с. 35. Глава, характеризующая деятельность крупных текстильных фабрикантов Bawens'a и Ришар-Ленуала, заканчивается выводом, что плодом их деятельности является натурализация во Франци хлопчатобумажной промышленности со всеми новейшими способами производства и «что замечательнее всего, применительно к совершенному усилию и осуществленному делу, что это происходило без того, чтобы правительство вмешалось как-либо иначе, кроме минимального поощрения»,—утверждение, совершенно противоположное тезису в той же главе о том, что хлопчатобумажная промышленность существовала «только благодаря покровительству правительства» (там же, с. 112 и 135).

[139] «Revue de synthèse historique», 1913, реценз. Ch. Ballot на кн. R. Levy (p. 312—319).

[140] Редактор Жевель отказался от этого заголовка: «мы не считаем нужным ставить вопрос в этой форме». Самую книгу Балло собирался назвать «Начало крупной промышленности во Франции», исходя из того положения, что «не машины создали во Франции крупную промышленность, они ее развили и преобразовали» (см. введение Gevel'я).

является еще одной иллюстрацией правильности марксовой теории стадий капитализма.

Буржуазные историки, отвергающие Маркса, не в состоянии дать обобщающей характеристики экономического строя Франции, примирить противоречия между преобладанием мелкого производства и значительным ростом элементов капитализма. Сэ считает, что в предреволюционной Франции «дело идет только о торговом капитализме, который предшествует и порождает капитализм промышленный», «капиталистическая промышленность еще не торжествует» [141], наоборот, Hauser говорит о «господстве капитала», Баллю признает, что «капитализм предшествовал машине».

Этот разброд может быть преодолен только на основе принятия марксовой схемы экономической истории, признания господства перед революцией мануфактурной стадии капитализма. Метод Маркса еще раз доказал свою безусловную пригодность и правильность: народническая историография, освеженная бюхерианством, потерпела поражение и в изучении экономической истории Франции.

---

[141] Sée, — Evolut. commercielle, p. 298; «Rev. de synthèse historique» (ст. под тем же названием, p. 88).

Ф. Кретов

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ О КРЕСТЬЯНСКОЙ ПОЗЕМЕЛЬНОЙ ОБЩИНЕ

Наша периодическая печать, особенно газеты, в своих юбилейных статьях о Н. Г. Чернышевском до сих пор больше всего рассматривали его как революционного демократа и меньше всего — как социалиста-утописта. Такой подход не лишен известного оправдания, ибо нам хочется в первую очередь установить в Н. Г. Чернышевском то, чем он особенно приближается к нам,—это революционные, прогрессивные его черты. Однако историческая истина—и не только она—требует, чтобы Н. Г. Чернышевский был представлен современным поколениям во всех своих характерных чертах, т. е. и с тех сторон, которые прямо для нас не приемлемы. От этого вовсе не пострадает оценка Н. Г. Чернышевского, как «всероссийского революционного демократа» и как «предшественника русской социал-демократии» (Ленин). Неприемлемым для нас в Н. Г. Чернышевском, отрицательной стороной его взглядов, реакционным «наследством», от которого мы действительно «отказались», являются прежде всего утопические его воззрения на крестьянскую поземельную общину.

Вопрос этот между прочим не утратил своего интереса и по сей день, что об'ясняется усиленной работой нашей общественной мысли над поисками подходящих форм, вернее сказать, надежных зацепок для скорейшего переустройства деревни на социалистических началах. Именно в эту связь приходится ставить, к сожалению, еще не потухшие споры о судьбах и роли «современной общины». Поразительно при этом только одно: как это люди умудряются спорить о судьбах и роли того, чего давным-давно не существует. Остатки старой крестьянской поземельной общины, как пережитка крепостничества, сметены «походя» нашей пролетарской революцией в 1917—18 гг. То, что мы имеем во многих деревнях сейчас,— это земельные общества, которые отнюдь не тождественны, отнюдь не равнозначны старой поземельной общине; они только по укоренившейся привычке называются общинами. Во многих деревнях с такой формой землепользования старая поземельная община «исчезла» задолго до Октябрьской революции. Следовательно, прежде чем спорить о «современной общине»,

надо доказать, что Октябрьская революция такую «общину» создала. А возможность такого доказательства как раз и вызывает абсолютное сомнение.

Для взглядов Н. Г. Чернышевского на крестьянскую поземельную общину предреформенного периода характерны следующие два момента: во-первых, «мечтание» о переходе через общину прямо к социализму; во-вторых, утопическая надежда на то, что государство помещиков добровольно решится отдать крестьянам по крайней мере все те земли и угодья, которыми они пользовались на общинных началах при крепостном праве,— отдаст им все эти земли и угодья без всяких выкупов и платежей. Оба эти момента переплетаются между собой самым непосредственным образом, и без учета этого переплета невозможно понять весь ход развития взглядов Н. Г. Чернышевского на крестьянскую поземельную общину. В глаза прямо бросается та особенность позиции Н. Г. Чернышевского, что его утопические планы насчет общины питались в значительной мере беспочвенными упованиями на правительство и «просвещенных людей» господствующего класса, которые якобы согласятся освободить крестьян с полным земельным наделом и без всяких платежей.

Для Н. Г. Чернышевского поземельная община предреформенного периода была средством перехода от современного ему общественного строя к высшей ступени общественного развития, совершенно отличной как от самой крестьянской общины, так и от западноевропейского капиталистического строя. В том, что Россия обладала таким средством, тогда как Западная Европа его уже не имела, он видел огромное преимущество России. «Принцип общинного владения не погрешителен, и мы чрезвычайно счастливы тем, что он не только вполне применим к нашей будущности, но существует уже как факт в настоящем, сроден нашему толковому народу и прочно лег уже в основание нашей общественной жизни. Это такое благо, которому могут позавидовать и опередившие нас в развитии народы: оно в наших руках и может в будущем предохранить от язвы пролетариатства многие миллионы русских людей. Это—истина и притом истина как нельзя более утешительная. Дорожить этим благом, как даром провидения, лелеять его, по возможности, развивать более и более,— это наша непременная и отрадная обязанность» [1].

Однако Н. Г. Чернышевский менее всего был склонен по-славянофильски мистифицировать или подобно последующим народникам раскрашивать увлекательными узорами это сродство принципа общинного владения «нашему толковому народу». Он пытается подойти к этому вопросу и разрешить его чисто материалистически. Вот как Н. Г. Чернышевский представлял себе возникновение у крестьян наклонности к общинному владению.

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Замечание на статью «О поземельной собственности», Собр. соч., т. IV, с. 88.

«Мы совершенно ошиблись бы, если бы вздумали считать наклонность к общинному владению в наших поселянах какою-нибудь таинственною чертою исключительной национальной организации славянского вообще или в частности великорусского племени. Дело просто в том, что сохранение уравнительного права на общинный участок чрезвычайно выгодно для общего благосостояния крестьян. Кроме этого, наклонности крестьян к общинному владению оказались слишком устойчивыми еще вследствие невыгодных исторических условий развития России. Мы просто полагаем, что вследствие исторических обстоятельств, надолго задержавших Россию в состоянии, близком к патриархальному быту, общинный дух сохранился у нас довольно неприкосновенным, между тем как давно исчез из обычаев тех племен Западной Европы, которые более нашего участвовали в историческом движении. Итак, сохранение его у нас есть следствие невыгодных обстоятельств нашего исторического развития». Эта наша отсталость, несомненно, принесла нам очень много бедствий. Но нет худа без добра: «как самые хорошие вещи имеют свою дурную сторону, так и самые дурные вещи—свою хорошую. Наша историческая неподвижность послужила источником многих бедствий и в нашем прошедшем и отчасти в настоящем; она причина нашей малой образованности, нашей бедности, нашей лени и т. д. Но среди всех этих пагубных следствий нашей неподвижности есть также нечто иное, и прежде бывшее не бесполезным, но при настоящем развитии экономического движения в Западной Европе, движения, в котором начинаем принимать участие и мы, становящееся чрезвычайно важным и полезным» [2].

Главное, что беспокоит и даже пугает Н. Г. Чернышевского в современном ему экономическом развитии Западной Европы,—это слишком быстрый прогресс капитализма, который уже успел обратить всю землю, принадлежавшую нации, в частную собственность, переходящую из рук в руки по закону безграничной конкуренции. Вследствие этого большинство крестьян превращается в пролетариев, т. е. перестает иметь собственное хозяйство, делается сословием батраков, выход из которого чрезвычайно труден. Россия тоже начинает принимать участие в этом экономическом движении Западной Европы; следовательно и русским крестьянам грозит опасность пролетариатства, опасность капиталистической эксплоатации по принципу фермерства. Против этой грядущей опасности, против всепожирающего капитализма, который надвигается, единственной гарантией, единственным заслоном является община. Нечего и говорить, насколько она выгодна крестьянам. Но она выгодна и помещикам. Следовательно, они также—намекает Н. Г. Чернышевский—должны быть заинтересованы в со-

---

[2] Н. Г. Чернышевский, Studien Гакстгаузена, Собр. соч., т. III,—с. 291—295—303.

хранении и поддержании общины. «Мы разве несколькими десятилетиями, вероятно, не более как двадцатью пятью или двадцатью годами удалены от той эпохи, когда, например, английскому и французскому капиталисту будет так же выгодно пустить свой капитал в русское земледельческое предприятие, как ныне выгодно ему обратить его на наши железные дороги и облигации государственного долга; когда и русские капиталы найдут для себя выгодным обращаться в земледельческих предприятиях, нежели лежать в кредитных учреждениях. Тогда-то, хотели мы сказать, в стране, представляющей удобство для обширных сельскохозяйственных предприятий на коммерческом основании, какова Россия,—тогда-то едва ли большинство крупных землевладельцев удержится от искушения променять на беззаботное получение ренты от фермера-капиталиста хлопотливую возню с собственным хозяйством, и хозяйство поселян было бы совершенно подавлено соперничеством капиталистов. Эта будущность от нас не за горами; мы должны предусматривать ее и принимать меры к отстранению бедствий фабричной эксплоатации для земледельцев. Единственным средством против этого кажется нам сохранение у поселян общинного владения. Тогда они, при появлении нужды в большом оборотном капитале для земледелия и в расширении размеров хозяйства, найдут у самих себя, через соединения в товарищества, нужные денежные средства и нужный размер полей. Точно так же эти товарищества поселян будут полезны тогда для крупных землевладельцев. Общины земледельцев, являясь соперниками капиталистов при найме поместий, избавят помещика от зависимости, в которую поставила бы монополия капиталистов, и от невыгодных условий контракта, предписываемого монополией»[3].

«Сохранение поземельной общины имело бы огромное значение и с точки зрения обеспечения внутреннего спокойствия государства, так как, предохраняя Россию от язвы пролетариатства, она тем самым исключала бы возможность повторения тех государственных бедствий, которые так часто разражаются в Англии и Франции. Вот, например, в первой статье мы сказали, что возникновение пролетариата произвело много государственных бедствий и в Англии и Франции и грозит этим странам новыми смутами, жесточайшими прежних, потому что, с одной стороны, требования пролетариев остаются все еще неудовлетворенными, а с другой стороны, число пролетариев все увеличивается и, главное, возрастает их сознание о своих силах и проясняется их понятие о своих потребностях. Это кажется вздором г. И. В-скому; в пролетариях нет никакой закваски смут, говорит он: они ничего особенного не требуют и совершенно успокоились. Ах, если бы это было так, если б Англии и Франции вашими устами мед пить, г. И. В-ский!».

---

[3] Н. Г. Чернышевский, Ответ на замечания г. Провинциала, Собр. соч., т. IV, с. 96—97.

Следовательно, в своей горячей защите поземельной общины Н. Г. Чернышевский апеллирует не только к хозяйственной расчетливости помещиков; кроме того, он не прочь «пугнуть» «язвой пролетариатства» самое правительство, чтобы сделать его более уступчивым, чтобы понудить его сохранить общину при освобождении крестьян, а для этого—оставить за ними без всяких платежей по крайней мере те земли, которыми они пользовались все время.

Рассматривая поземельную общину как средство для перехода из «настоящего состояния» в «будущность», Н. Г. Чернышевский великолепно понимал, что «между общинным владением без общинного производства и общинным владением с общинным производством—разница неизмеримая. Первое только предотвращает пролетариат, второе, кроме того, и содействует возникновению производства»[4]. Вместе с тем для него не подлежала сомнению «та истина, что формы патриархального быта несовместимы с высокой степенью цивилизации», но, не в пример многим образованным людям своего времени, у него не было стремления «отвергать все то, что существует в патриархальном быте, и от отрицания форм переходить к отрицанию всех принципов, имеющих корень в этом быте»[5]. Напротив, Н. Г. Чернышевский искренно верил, что «через тридцать или двадцать пять лет общинное владение будет доставлять нашим поселянам очень важную выгоду, открывая им чрезвычайно легкую возможность к составлению земледельческих товариществ для обработки земли»[6]. По собственному его признанию, это соображение оказывало на него чрезвычайно сильное влияние. Самый переход «от настоящих способов обработки отдельных участков общинной земли частными силами отдельного хозяина к общинной обработке целой мирской дачи» Н. Г. Чернышевский не мыслил без соответствующих, очень значительных, технических улучшений в области земледелия. «Много раз положительно и подробно говорили мы о том, что при быстром развитии механических и других средств для обработки и улучшения земли, при быстром развитии других промышленностей и торговли, при улучшении средств сообщения и т. д. нашему земледелию предстоит вступить в новую эпоху, когда потребуются от него улучшенные способы производства, в которых оно еще не нуждается теперь или довольно мало нуждается; к тому времени относили мы осуществление многих наших понятий, исполнение которых вовсе не требуется настоящим; также положительно говорили мы о том, что все эти улучшения, относимые нами к будущему, будут происходить постепенно, сообразно развитию потребности

[4] Н. Г. Чернышевский, О поземельной собственности, Собр. соч., т. III, с. 455, 461.

[5] Н. Г. Чернышевский, Studien Гакстгаузена, Собр. соч., т. III, с. 271,

[6] Н. Г. Чернышевский, Ответ на замечания г. Провинциала, Собр. соч., т. IV, с. 95.

в них. Из этого можно заключить, что полнейшее развитие общинного принципа должно быть делом будущего, а для настоящего достаточно желать сохранения в общинном владении той части земли, которая в нем находится»[7].

Итак, полное развертывание общинного принципа обеспечено в будущем; оно будет происходить постепенно, по мере развития техники. Что же касается настоящего времени, то необходимо во что бы то ни стало сохранить самую общину и землю, которая находится в ее владении. Именно заботы о настоящем больше всего занимали Чернышевского и делали его таким горячим защитником общинного владения. Оно важно уже по одному тому, что «обеспечивает огромному большинству поселян пользование землею и предотвращает излишнее неравенство состояний между членами общины; этих выгод на наш взгляд совершенно достаточно для предпочтения общинного владения всякому другому»[8].

Н. Г. Чернышевский не хотел в то время пугать «просвещенных людей» требованием обобществления всей земли. Достаточно будет, если они помогут сохранить общину так, как она есть. А там совершенно ясно, как пойдет дело; не следует поэтому «дразнить гусей». Вера Н. Г. Чернышевского в силу принципа общинного владения была настолько велика, что он даже не сомневался в неизбежности полного вытеснения частной поземельной собственности. Отсюда его смелое решение: пускай она остается и существует «подле» общинного владения. Вот как он представлял себе перспективу вытеснения частной поземельной собственности: «Общинное владение, огражденное от вторжения частной собственности в свою область, может и должно расширять эту область сообразно тому, как будет представляться в том надобность, по мере возрастания населения и развития других условий, требующих этого расширения области общинного владения». Из мер, которые в свою очередь могли бы способствовать «тихому достижению этой цели, особенно полезной в агрономическом отношении кажется нам мысль почтенного корреспондента о присоединении к ближайшей общине тех клочков частной земли, которые через наследственное дробление измельчали до известного предела. Очень важна мысль о передаче, по завещанию отца, наследственной его земли в общинное владение его роду»[9].

Итак, главное «наше требование—не разрушать общинного владения в России в настоящее время».

Напрасно противники общинного владения, полемизируя с Н. Г. Чернышевским, указывали ему, что в культурно-хозяйственном отношении оно

[7] Н. Г. Чернышевский, Ответ на замечания г. Провинциала, Собр. соч., т. IV, с. 96.

[8] Н. Г. Чернышевский, Studien Гакстгаузена, Собр. соч., т. III, с. 279.

[9] Н. Г. Чернышевский, Ответ на замечания г. Провинциала, Собр. соч., т. IV, с. 96.

играет регрессивную роль, что при нем десятина земли не может давать такого большого дохода, как при фермерском хозяйстве, что оно препятствует развитию плодопеременной системы и поддерживает трехполье. Напрасно они приводили все эти аргументы: если бы и в самом деле правда была на их стороне, то все равно общину надо сохранить. Общинное владение уже по одному тому выгоднее для крестьян, что оно избавляет их «от язвы пролетариатства». Бесспорно, конечно, что при фермерском хозяйстве будет производиться гораздо больше ценностей; зато тогда большинство крестьян неизбежно превратится в наемных работников, чего никак нельзя допускать. Поэтому несомненно, что положение поселян все-таки лучше при общинном хозяйстве.

Наконец, если рассматривать по существу аргументацию противников общинного владения, то они оказываются с точки зрения Н. Г. Чернышевского безусловно неправыми. Все, что они выдвигают против общины, покоится исключительно на предрассудках и беспочвенных предубеждениях. Если бы противники общинного владения разобрались как следует в сущности дела, то они не стали бы воображать, что «именно частная поземельная собственность развивает плодопеременную систему или что общинным владением поддерживается трехпольная система. Развитие одной, закоснелость в другой зависят от причин, не имеющих ни малейшего отношения к тому или другому принципу поземельного владения. Сравните Англию и Францию—там и здесь владычествует частная собственность; откуда же в Англии успехи земледелия, которых нет во Франции? В Англии прочный законный порядок, которого никто не осмеливается и никто не желает нарушать, потому что мирным путем законного требования и прений торжествует всякая сознанная обществом потребность; во Франции этого нет, там, как ни ясно сознавай общество, как ни разумно доказывай оно необходимость реформы, реформа достигается только насильственным путем,—вот главное различие. Из него проистекают все остальные»[10].

Далее: «статистика говорит, что степень успехов сельского хозяйства везде соответствует густоте населения. Лучше всего в Европе земля обрабатывается в Англии, в Рейнской Германии и в Ломбардии: эти страны имеют от пяти до шести тысяч населения на квадратную милю. Во Франции, где население простирается до четырех тысяч человек на квадратную милю, земля обрабатывается далеко не с такой заботливостью». Так вот, «если Франция до сих пор держится трехпольного хозяйства, если она до сих пор остается почти совершенно чужда усовершенствованным способам производства, то не безумно ли приписывать мистическому влиянию общинного владения то обстоятельство, что мы, подобно французам, дер-

---

[10] Н. Г. Чернышевский, О поземельной собственности, Собр. соч., т. III, с. 454.

жимся трехпольной системы и, подобно французам, плохо удобряем свою землю? Кто, сравнивши густоту населенности в Европейской России и в Западной Европе, будет нуждаться еще в гипотезе о вредном влиянии общинного владения, тот, по нашему мнению, должен в случае болезни лечиться не у доктора, а у знахарей: действие медицинских средств ему должно казаться тоже недостаточным и он должен искать помощи себе в каком-нибудь заговоре колдуна.

«Малая населенность даже самых населенных наших земель уже могла бы служить удовлетворительным об'яснением тому, что наше земледелие еще не вышло из под господства первобытных методов обработки; но сколько еще есть других несомненных причин, действующих в том же направлении. Замечено, например, что развитие сельского хозяйства идет в уровень с развитием городов. Дело очень понятное: методы производства улучшаются тогда, когда нужно усиленное производство; усиление производства возможно только тогда, когда есть сбыт для продуктов. В большой стране города собственного государства должны служить важнейшим местом сбыта сельских продуктов. Потому, чем значительнее пропорция городского населения в общем числе жителей страны, тем высшего развития достигает в ней земледелие». Но «по пропорции между городским и сельским населением русское земледелие находится в положении, в полтора раза неблагоприятнейшем, чем земледелие Австрии, самой отсталой западной державы по методам сельского хозяйства».

Итак, дело вовсе не в поземельной общине, не она является причиной отсталости России. Надо посмотреть глубже, и уж если на то дело пошло, то извольте: коренная причина отсталости России—это крепостное право. «Коренным образом крепостное право принадлежит сфере сельского хозяйства, и само собой разумеется, что если оно обессиливало всю нашу жизнь, то с особенной силой должны были отражаться его результаты на земледелии, которое полнее всего подчинялось его силе. Довольно будет сказать, что цена хлеба зависела от той части его, которая производилась крепостным трудом, т. е. не имела ровно никакой цены в глазах владельца, и что крепостное право, переделавши в своем духе все наши обычаи, конечно, не могло содействовать ни развитию духа предприимчивости, ни поддержанию трудолюбия в нашем племени. Если бы не было никаких других неблагоприятных обстоятельств, одного крепостного права было бы достаточно, чтобы об'яснить жалкое положение нашего земледелия».

Вот почему «говорить, что наше земледелие задерживается общинным владением, значит подражать той даме, которая зимой поехала на бал, накинув на плечи только легкую мантилью, а потом, выдержав горячку, приписывала свою болезнь тому обстоятельству, что забыла взять с собой веер. Мы не знаем, имеет ли веер свойство предохранять от простуды; но

можно думать, что если б он и был у нее в руках, он не заменил бы для нее шубы и теплых ботинок. Можно полагать, что каков бы ни был способ землевладения в стране, где население мало, города не развиты, путей сообщения нет, торговли и промышленности почти нет, оборотного капитала в земледелии нет, где не развита в народе энергия и нет простора умственной деятельности,—можно думать, что каков бы ни был способ владения землей в такой стране, земледелие не могло бы достичь в ней никаких успехов» [11].

Следовательно, нечего всю вину сваливать с больной головы на здоровую: общинное владение тут совершенно ни при чем. Напротив, если бы в России были другие условия, если бы не крепостное право, то чего только нельзя ожидать от нашей общины. Ведь это—какой-то неистощимый резервуар всевозможных улучшений; это—огромный запас национального благосостояния; это—плодороднейшая почва государственного процветания. Чего же в таком случае недостает; что нужно для того, чтобы крестьянская поземельная община полностью развернула все свои потенциальные возможности?—«Одно только нужно, чтобы началось для нашего царства время невиданного на земле в таких обширных размерах, в таком стройном порядке общего благоденствия великой державы и всех детей ее: нужно только одно, чего желал некогда Шторх, о чем говорил он некогда своим державным воспитанникам: да идет наша держава по пути экономических улучшений, и да совершит Александр II дело, начатое Александром I и Николаем I» [12]. Следовательно, чтобы общинное владение стало почвой возможных улучшений, чтобы оно показало себя в качестве неистощимого источника нацинального благосостояния и государственного процветания,—отмените прежде всего крепостное право, освободите крестьян так, чтобы они сохранили в общинном владении всю землю, которой пользовались до сих пор! Не упирайтесь, взывал Чернышевский, обращаясь к правительству и «благородным людям», ведь такое освобождение крестьян полностью отвечает общегосударственным интересам! Если вы в самом деле—благородные люди, горячо убеждал Чернышевский передовых помещиков, то поймите, наконец, что «уступка личных выгод общему благу—вот девиз истинного благородного человека!».

Да и какая там, собственно говоря, уступка личных выгод? В действительности вам придется очень мало уступить. Зато посмотрите,—насколько это вам выгодно, как вы будете потом вознаграждены. «Не проиграет, а безмерно выиграет сословие помещиков от такой системы действия при разрешении вопроса о крепостном праве, потому что все эти

[11] Н. Г. Чернышевский, Суеверие и правила логики, Собр. соч., т. IV. с. 551—553 и 555—557.

[12] Н. Г. Чернышевский, Studien Гакстгаузена, Собр. соч., т. III, с. 309.

уступки в десять раз, в сто раз вознаградятся помещикам выгодами, которые приносит за собою большим землевладельцам сообразное с государственным благом решение этого великого дела».

Стремление Н. Г. Чернышевского убедить сословие помещиков в прямой выгодности для него именно такого способа разрешения крестьянского вопроса было чрезвычайно велико. Поэтому он не прочь был «побеседовать» на эту тему не только с передовыми помещиками, составлявшими ничтожное меньшинство, но и с крепостниками, которые были в большинстве и ни за что не соглашались на освобождение крестьян с землей и без выкупа. Хотя и ясно, что «привилегия, продолжения которой они хотели бы, несомненно вредна, но столь же несомненно и то, что эти личности не могут быть предметом вражды со стороны справедливого поборника улучшений. С одними он должен доброжелательно беседовать о средствах и путях, которыми они могут не только не проиграть, а напротив, выиграть при отмене привилегии; в пользу других он сам должен приискивать материальные средства, чтобы они взамен прежних источников жизни получили новые, если возможно, обильнейшие прежних. Таковы, по нашему мнению, должны быть чувства просвещенных противников крепостного права относительно большинства наших помещиков» [13].

Такие «беседы» Н. Г. Чернышевский вел с помещиками до тех пор, пока воочию не убедился, что игра не стоит свечей. Это произошло сравнительно скоро, и какой ужасный гнев охватил его, когда он узнал, что все его благородные призывы и «мирные беседы» оказались напрасными! Уже в 1858 г. для Н. Г. Чернышевского стало совершенно очевидно, что нечего и мечтать об освобождении крестьян без всяких платежей и с той землей, которая находилась в общинном владении. В своей знаменитой статье «Критика философских предубеждений против общинного владения» он писал: «И теперь, когда берусь я за перо, чтобы снова защищать общинное владение, я выдерживаю сильную борьбу с самим собою и не знаю сам, не лучше ли было бы продолжать мне упорное молчание. Дело в том, что я стыжусь самого себя. Мне совестно вспоминать о безвременной самоуверенности, с которою поднял я вопрос об общинном владении. Этим делом я стал безрассуден,—скажу прямо, стал глуп в своих собственных глазах».

Теперь он готов публично покаяться в том, что допустил огромную ошибку, взявшись за предмет, не доставляющий чести его здравому смыслу. Для него ничего не стоит обратиться с унизительной просьбой об извинении, если бы только это могло обеспечить забвение совершившихся фактов.

В чем же дело; что случилось такое, что заставляло Н. Г. Чернышевского теперь стыдиться самого себя? «Предположим, что я был заинтере-

---

[13] Н. Г. Чернышевский, Ответ на замечания г. Провинциала, Собр. соч. т. IV, с. 93, 99.

сован принятием средств для сохранения провизии, из запаса которой составляется ваш обед. Само собой разумеется, что если я это делал из расположения собственно к вам, то моя ревность основывалась на предположении, что провизия принадлежит вам и что приготовленный из нее обед здоров и выгоден для вас. Представьте же себе мои чувства, когда я узнаю, что провизия вовсе не принадлежит вам и что за каждый обед, приготовленный из нее, берутся с вас деньги, которых не только не стоит самый обед, но которых вы вообще не можете платить без крайнего стеснения. Какие мысли приходят мне в голову при этих столь странных открытиях? «Человек самолюбив», и первая мысль, рождающаяся во мне, относится ко мне самому. Как был я глуп, что хлопотал о деле, для полезности которого не обеспечены условия. Кто, кроме глупца, может хлопотать о сохранении собственности в известных руках, не удостоверившись прежде, что собственность достанется в эти руки и достанется на выгодных условиях? Вторая моя мысль о вас, предмете моих забот, и о том деле, одним из обстоятельств которого я так интересовался: «лучше пропадай вся эта провизия, которая приносит только вред любимому мною человеку! Лучше пропадай все дело, приносящее вам только разорение! Досада за вас, стыд за свою глупость—вот мои чувства».

Следовательно, Н. Г. Чернышевский теперь не рад тому делу, ради которого он столько хлопотал, т. е. он не рад и самой общине. Почему же он не рад? Уж не подействовали ли на него аргументы противников общинного владения? Может быть, отсюда происходит его стыд перед самим собою? Нет, не учеными доводами он побежден; его стыд совершенно другого происхождения. «Как ни важен представляется мне вопрос о сохранении общинного владения, но он все-таки составляет только одну сторону дела, которому принадлежит. Как высшая гарантия благосостояния людей, до которых относится, этот принцип получает смысл только тогда, когда уже даны другие низшие гарантии благосостояния, нужные для доставления его действию простора. Такими гарантиями должны считаться два условия. Во-первых, принадлежность ренты тем самым лицам, которые участвуют в общинном владении. Но этого еще мало. Надобно также заметить, что рента только тогда серьезно заслуживает своего имени, когда лицо, ее получающее, не обременено кредитными обязательствами, вытекающими из самого ее получения. Примеры малой выгодности ее при противном условии часто встречаются у нас по дворянским имениям, обремененным долгами. Бывают случаи, когда наследник отказывается от получения огромного количества десятин, достающихся ему после какого-нибудь родственника, потому что долговые обязательства, лежащие на земле, почти равняются не одной только ренте, но и вообще всей сумме доходов, доставляемых поместьем. Он рассчитывает, что излишек, остающийся за уплатою долговых обязательств, не стоит хлопот и других неприятностей, при-

носимых владением и управлением. Потому, когда человек уже не так счастлив, чтобы получить ренту, чистую от всяких обязательств, то по крайней мере предполагается, что уплата по этим обязательствам не очень велика по сравнению с рентою, если он находит выгодным для себя ввод во владение. Только при соблюдении этого второго условия, люди, интересующиеся его благосостоянием, могут желать ему получения ренты.

На предположении этих двух условий была основана та горячность, с какою я выставлял общинное владение необходимым довершением гарантий благосостояния».

Итак, общинное владение имело бы смысл только в том случае, если бы крестьяне были освобождены с землей, которая в этом владении находится, и если бы сами крестьяне при этом не были обременены выкупными платежами. Теперь стало совершенно ясно, что эти два основные условия не будут соблюдены. Поэтому нечего теперь горячиться при отстаивании общинного владения. Больше того: по разрушении всех надежд, в которых Н. Г. Чернышевский начал хлопоты об общинном владении, оно стало внушать ему «отвращение и негодование». Лучше пропадай все это общинное владение, которое будет теперь приносить только вред нашему поселянину! Лучше пропадай такая отмена крепостного права, которая принесет крестьянам только разорение! «Вопрос поставлен так, что я не нахожу причин горячиться, даже из-за того, будут или не будут освобождены крестьяне. Тем меньше из-за того, кто станет освобождать их: либералы или помещики. По-моему, все равно. Помещики, даже лучше... План помещечьей партии разнится от плана прогрессистов только тем, что проще, короче. Поэтому он даже лучше. Меньше проволочек, вероятно, меньше обременений для крестьян. У кого из крестьян есть деньги, тот купит себе землю. У кого их нет—того нечего и обязывать покупать ее. Это будет разорять их. Выкуп—та же покупка. Если сказать правду, пусть будут освобождены лучше без земли... Лучше пропадай все дело, которое принесет им только разорение!».

Таким образом, утопические надежды, которые связывал Н. Г. Чернышевский с освобождением крестьян сверху, крахнули навсегда и безвозвратно. И теперь уже Н. Г. Чернышевский выступает как истинный революционный демократ с программой: «Вся власть мужицкая, выкупа никакого! Убирайся, помещики, пока живы!».

Совершенно иначе обстояло дело с его алгебраической формулой насчет роли общины в случае благоприятного хода общественно-экономического развития России, т. е. в том случае, если бы крестьянский вопрос был разрешен сообразно с теми условиями, которые он намечал. Н. Г. Чернышевский и теперь не складывал своего оружия; он далеко не считал себя побежденным учеными доводами противников крестьянской поземельной

общины. «Теперь, я уже сказал, я желал бы быть может, чтобы все оно пропало. Другие напротив хлопочут о том, чтобы привести его к концу, все больше и больше склоняясь к тем мнениям, какие были выражены мною при начале спора об общинном владении. Дело это уже и не может быть брошено. А если дело, которому лучше было бы быть брошену, уже не может быть брошено, то нечего делать, надо участвовать в его ведении». Только не следует—как это делают некоторые исключительные поклонники русской национальности—гордиться и хвастать нашим общинным землевладением. «Сохранением этого остатка первобытной древности гордиться нам нечего, как вообще никому не следует гордиться какою бы то ни было стариною, потому что сохранение старины свидетельствует только о медленности и вялости исторического развития. Сохранение общины в поземельном отношении, исчезнувшей в этом смысле у других народов, доказывает только, что мы жили гораздо меньше, чем эти народы. Таким образом, оно со стороны хвостовства перед другими народами никуда не годится».

С этой оговоркой Н. Г. Чернышевский ведет свое «дело» дальше, пытаясь посредством уже чисто абстрактной аргументации доказать возможность перехода крестьянской поземельной общины в высшую коммунистическую форму. «Мы сами готовы были бы,—говорит он,—смеяться над образами теллурической жизни, служащими подкреплением политико-экономических истин, если бы не замечали, как много зависит тот или другой взгляд на какой-нибудь, повидимому, чисто практический и очень специальный вопрос от общего философского воззрения». Во всех проявлениях жизни господствует закон, согласно которому высшая ступень развития совпадает по форме с его началом. Само собой разумеется, что при сходстве формы, содержание в конце развития неизмеримо богаче и выше, нежели в начале. В качестве иллюстрации к этому закону Н. Г. Чернышевский анализирует ряд явлений из области природы и отсюда заключает, что общественная жизнь людей также развивается по этому закону триады. Окончательный его вывод таков: «Высшая степень развития по форме совпадает с его началом. Под влиянием высокого развития, которого известное явление общественной жизни достигло у передовых народов, это явление может у других народов развиваться очень быстро, подниматься с низшей ступени прямо на высшую, минуя средние логические моменты. При этом необходимо учитывать то обстоятельство, что «история, как бабушка, страшно любит младших внучат [14]». Следовательно, крестьянская поземельная община может перейти в высшую фазу общественного развития, минуя средние логические моменты, т. е. минуя стадию капиталистической частной собственности.

[14] Н. Г. Чернышевский, Критика философских предубеждений против общинного владения, Собр. соч., т. IV, с. 304, 306—307, 309, 311, 313, 323, 329, 331 и 332.

Если оставаться в рамках чисто отвлеченных возможностей, то это философское решение вопроса об общине не представляет собою ничего невероятного. Возьмите нашу теперешнюю постановку вопроса о путях развития отсталых в экономическом отношении стран в случае победы социалистической революции в главнейших капиталистических государствах. Или, на что лучше, возьмите наш Советский Союз: в его состав входит ряд чрезвычайно отсталых в экономическом отношении республик. Неужели вы думаете, что, например, Узбекистанская советская республика должна проделывать весь путь от низшей ступени до высшей, не исключая стадии развитого капитализма? Нет, следуя учению Маркса и Ленина, мы уже на практике делаем все необходимое и достаточное, чтобы Узбекистанская советская республика миновала средний момент развития, т. е. стадию развитого капитализма. Словом, для марксизма-ленинизма этот вопрос давным-давно решен положительно.

В свое время Маркс в той же плоскости ставил вопрос о судьбах русской поземельной общины. Этим обстоятельством, вероятно, и об'ясняется тот факт, что некотрые современные наши писатели находят возможным утверждать наличие, якобы, полного совпадения взглядов Н. Г. Чернышевского и Маркса на крестьянскую общину. Получилось такое заблуждение, несомненно, в результате, я бы сказал, недостаточно внимательного отношения к взглядам того и другого.

Н. Г. Чернышевский дал свое алгебраическое решение вопроса о судьбе и роли крестьянской поземельной общины, оперируя почти исключительно чисто абстрактной аргументацией. Он не занимался при этом анализом статистических данных, не исследовал внутреннего характера развития России, не останавливал своего внимания на возникавших вследствие этого развития явлениях, отрицательно влиявших на общину. Поэтому немудрено, что Н. Г. Чернышевский не показал нам конкретно те причины, в силу которых община может перейти, трансформироваться в высшую фазу общественного развития, и не раскрыл внутренние, так сказать, имманентные силы, которые обеспечивают общине развитие в таком, а не в другом направлении. К сожалению, Н. Г. Чернышевский не мог заняться таким исследованием, а если бы он занялся, то вряд ли пришел бы к такому заключению о судьбе и роли крестьянской поземельной общины. «Русская община,—говорит Фр. Энгельс,—просуществовала целые столетия, и ни разу внутри ее не замечалось стремления выработать из самой себя высшую форму общественной собственности, совершенно так же как не происходило ничего подобного и в германской марке, кельтском клане, индусских и иных общинах с первобытно-коммунистическими учреждениями. Все они с течением времени, под влиянием окружающих их условий или же возникающего в их собственной среде и постепенно охватывающего их товарного производства и обмена между отдельными семьями и отдельными лицами,—все они все более и более утрачивали свой коммунисти-

ческий характер и превращались в общины независимых друг от друга земельных собственников. Если поэтому может еще подниматься вопрос, не предстоит ли русской общине иная, лучшая будущность, то причина тому коренится не в ней самой, а исключительно в том обстоятельстве, что она сохранилась сравнительно хорошо в европейской стране и до того времени, когда не только товарное производство вообще, но даже и его высшая и последняя форма, капиталистическое производство, пришло в Западной Европе в противоречие с созданными им самим производительными силами, когда оно оказывается не способным управлять долее этими силами, когда оно разбивается об эти внутренние противоречия и соответствующие ему классовые конфликты. Уже из одного этого видно, что инициатива такого предполагаемого преобразования русской общины может исходить не от самой общины, а исключительно от промышленного пролетариата Запада. Победа западноевропейского пролетариатаа над буржуазией и связанная с такой победой замена капиталистического производства общественно-организованным производством,—вот необходимое предусловие поднятия русской общины на ту же ступень развития»[15].

Отстаивая крестьянскую поземельную общину, Н. Г. Чернышевский надеялся таким образом избавить нашего поселянина от «язвы пролетариатства». В качестве достаточной для этого меры он считал добрую волю русского самодержавного правительства, которое, казалось, само должно было понять, что его собственное благополучие зависит от благосостояния крестьян. Эта надежда есть типичная черта социалиста-утописта.

Но допустим на минуту, что надежды Н. Г. Чернышевского оправдались; допустим, что царское правительство и сословие помещиков освободили бы крестьян без всяких платежей и со всей землей, которая находилась в общинном владении. Что было бы в таком случае? Можно ли считать, что трансформация общины в высшую коммунистическую фазу была бы обеспечена? Этого никак нельзя сказать. Мы не будем останавливаться на исторической среде, в которой оказалась бы община. Достаточно будет посмотреть на самую дореформенную общину. Вот, что она представляла собою и как жила. В слободе Алексеевка, Воронежской губерни, принадлежавшей графу Шереметьеву, наряду с такими крупными торговцами, как некий Штурба, который вел обороты на сотни тысяч рублей, были крестьяне, не имевшие возможности внести легкий шереметьевский оброк. В татарской вотчине Э. Нарышкина, в Тимбовской губернии, из 2 700 тягол до 1 000 были безлошадными, так что пошли слухи, будто вместо лошадей в сохи впрягаются бабы и таким образом обрабатывают землю. В некоторых имениях Смоленской губернии встречались зажиточные крестьяне, у которых на один гектар приходилось по шесть

[15] Фр. Энгельс, Статьи 1871—75 гг. Послесловие, с. 76—77.

голов скота, а у бедняков, составлявших большинство,—только по две или одной голове. В Балашовском уезде, Саратовской губернии, некоторые исследователи различали среди помещичьих крестьян четыре группы в имущественном отношении: бедных, исправных, зажиточных и богатых. Бедный—обыкновенно безлошадный крестьянин, не всегда имевший даже плохую корову; у него было две -три овцы да несколько кур и самый незначительный запас хлеба. У исправного крестьянина была одна, а иногда две хороших лошади на тягло, две коровы с подтелком, до десяти овец, иногда две—три свиньи, несколько кур и уток. Зажиточный имел на тягло две и больше лошадей, несколько коров и быков, собственный плуг. Такие крестьяне часто арендовали землю, не ограничиваясь обработкой своих полей. Богатый крестьянин имел несколько лошадей, коров и другого мелкого скота, располагал некоторым денежным капиталом, арендовал землю или вел торговлю хлебом и скотом. Более половины дворов составляли исправные и зажиточные крестьяне, остальные— бедные; богатых насчитывалось до двух—трех сотен на уезд.

Очень рано среди крепостных крестьян начала развиваться кабала. «В конце сороковых годов помещик А. В. П. нашел в только что купленном имении Подольского уезда, Московской губернии, неоплатную задолженность крестьян у промышленников, дававших им семена на посев. Возвращать они должны были в два раза больше взятого. А так как нередко случалось, что долг невозможно было возвратить, то землевладелец соглашался ждать, но с условием, чтобы в следующем году опять у него одалживали. А там повторялось опять прежнее, так что задолжавший раз оставался должником, пока того хотел кредитор. У некоторых крестьян этого имения было только по одной корове, у других одна корова на два тягла из-за отсутствия корма» [16]. И таких примеров можно привести сколько угодно не только для промышленного, но и для черноземного, поволжского, северного районов и по Украине.

Поземельная община государственных и удельных крестьян в первой половине XIX столетия мало чем отличалась в своей жизни и развитии от поземельной общины крепостных крестьян. Одновременно с процессом пауперизации среди удельных и государственных крестьян развивалась диференциация. Ни того, ни другого не могли задержать энергичные реформы, проведенные в отношении государственных крестьян графом Киселевым в его бытность министром государственных имуществ [17]. Пауперизация и диференциация среди государственных крестьян развивалась, пожалуй, гораздо сильнее, чем среди помещичьих крестьян.

Одним словом, дореформенная поземельная община ни в какой мере не содействовала развитию благосостояния крестьянских масс, не являлась за-

[16] И. И. Игнатович, Помещичьи крестьяне, с. 152.

[17] См. ст. М. Богословского, Государственные крестьяне при Николае I. История России в XIX веке. Изд. Гранат и К°, с. 236—260.

слоном против растущего имущественного неравенства и потому не способна была застраховать наших поселян от «язвы пролетариатства»; еще меньше она в состоянии была самостоятельно подняться на высшую ступень человеческого общежития.

Гораздо вернее оценивало для себя значение и роль общины царское правительство. Вот почему, отменяя крепостное право, оно не хотело разрушать общину, так как,—по словам Александра II, писавшего председателю редакционных комиссий Ростовцеву,—«общинное устройство теперь, в настоящую минуту, для России необходимо, народу нужна еще сильная власть, которая заменила бы власть помещика. Без мира помещик не собрал бы своих доходов ни оброком, ни трудом, а правительство—своих податей и повинностей».

Еще более ярко эта мысль была выражена в переписке министра двора Воронцова-Дашкова по поводу крестьянского законодательства. «Прежде,—писал он,—у крестьянина была такая последовательность: бог, царь со своими пособниками и помещик, как лицо, ближе всего к нему стоящее, непосредственно им руководившее. В этом строе явился пробел: выпал из него ближайший непосредственный руководитель—помещик. Заменить его, очевидно, надлежало каким-нибудь учреждением, обладающим не только всеми качествами прежнего руководителя, но даже большими, и не имеющим его недостатков. Этим руководителем явилась община».

Итак, крестьянская поземельная община дореформенного периода уже была поражена тяжелым внутренним недугом, который потом, на исходе XIX столетия, открыто развивался в форме мучительного кризиса. Никаких «зачатков будущего» в ней фактически не было, и она не обладала имманентной силой, способной толкать ее по пути к высшей форме общежития. Уже в дореформенный период поземельная община теряла своих сторонников даже среди самих крестьян. Время делало свое дело. Остаток древнего коллективизма—общинное владение землей—превратился в простую фикцию. Привычка к «мирскому» быту утратила свою прежнюю обаятельность и силу. Крестьянство даже под спудом крепостничества неудержимо раскалывалось на резко противоположные группы,—кулаков и бедняков,—которые восставали против общины, как крепостнического намордника. Община уже была заражена «язвой пролетариатства» и неудержимо шла к своей гибели. «Дуализм,—говорит Карл Маркс,—свойственный строю сельской общины, может ее одушевлять мощною жизнью. Освобожденная от крепких, но тесных уз кровного родства, она получает прочную основу в общей собственности на землю и в общественных отношениях, из нее вытекающих, и в то же время дом и его двор, являющиеся исключительным владением индивидуальной семьи, парцелярное хозяйство и частное присвоение его плодов способствуют развитию личности,—развитию, несовместимому со строем более древних общин.

«Но не менее очевидно, что с течением времени тот же дуализм может превратиться в зерно разложения. Не говоря о всяких злокачественных влияниях, привходящих извне, община носит в себе подтачивающие ее элементы. Частная поземельная собственность уже вторглась в нее в виде дома с его сельским двором, и он может превратиться в крепость, из которой подготовляется нападение на общую землю. Это случилось. Но самое существенное—это парцелярное хозяйство, как источник частного присвоения. Он дает почву для сосредоточения движимого имущества, например скота, денег, а иногда даже рабов или крепостных. Это движимое имущество, не поддающееся контролю общины,—об'ект индивидуальных обменов, в которых хитрость и случай играют такую большую роль,—будет все сильнее и сильнее давить на всю сельскую экономию. Вот момент, разлагающий первобытное экономическое и социальное равенство. Он приносит чужеродные элементы, вызывающие в недрах общины конфликты интересов и страстей, способные подорвать общую собственность сперва на пахотные земли, а затем и на леса, пастбища, пустоши и прочее, каковые, будучи однажды превращены в общинные придатки частной собственности, постепенно достанутся последней.

Сельская община, будучи последним фазисом первобытного образования общества, является в то же время переходным фазисом к вторичному образованию, т. е. переходным фазисом от общества, основанного на общей собственности, к обществу, основанному на частной собственности.

Вторичное образование, разумеется, охватывает ряд обществ, покоящихся на рабстве и крепостничестве.

Но значит ли это, что исторический путь сельской общины должен фатально привести к этому исходу? Отнюдь нет. Ее врожденный дуализм допускает альтернативу: либо начало собственности одержит верх над началом коллективным, либо же последнее одержит верх над первым. Все зависит от исторической среды, в которой она находится». Россия являлась тогда современницей высшей, капиталистической культуры. Она была «связана с мировым рынком, на котором господствует капиталистическое производство» [18]. Вот историческая среда, которая не могла не определять положение и судьбу русской крестьянской поземельной общины. Внутри самой общины не было таких сил, которые делали бы об'ективно необходимым и неизбежным ее переход к коммунизму, как высшей форме человеческого общежития. Этот переход был бы возможен т о л ь к о при благоприятной внешней обстановке: «после победы пролетариата и перехода средств производства в общественное владение у западноевропейских народов... Только тогда, когда капиталистическое хозяйство будет побеждено на его родине и в странах, где оно достигло расцвета, только тогда, когда остальные страны увидят на этом

[18] А р х и в К. М а р к с а и Ф р. Э н г е л ь с а. Кн. 1.—«В. Засулич и Карл Маркс», с. 284—285 и 280.

примере «как это делается», как пользуются в качестве общественной собственности современными промышленными производительными силами для служения интересам всего общества,—только тогда развитие отдельных стран может пойти этим сокращенным путем» [19]. Только в таком случае, следовательно, возможен был переход общины к коммунизму. Это решение поставленной К. Марксом альтернативы, конечно, предполагало, что предварительно будут устранены в самой России те «тлетворные влияния, которые теснят общину со всех сторон», и таким образом будут обеспечены условия для ее развития в направлении к коммунизму, т. е. это решение предполагало, что прежде всего будет свергнут абсолютизм в России.

Но даже при создании таких условий община была бы не способна к самостоятельному развитию по коммунистическому пути, ибо она не располагала для этого соответствующими внутренними силами. Только при непосредственной материально-технической помощи со стороны социалистической промышленности и при всестороннем культурно-политическом воздействии со стороны победившего социалистического пролетариата община была бы постепенно преобразована на социалистических началах. Следовательно, «демиургом», преобразующим общину в социалистическое общежитие, явилось бы отнюдь не коллективное владение землей, унаследованное издревле, а крупная машинная техника, привнесенная извне, т. е. со стороны социалистической, пролетарской промышленности.

Как известно, наша поземельная община почти окончательно разложилась и исчезла прежде, чем наступила мировая социалистическая революция, на победу которой К. Маркс указывал еще в своем предисловии к русскому изданию Коммунистического манифеста, как на условие, при наличии которого только и можно было говорить о переходе общины к коммунизму. Вокруг, следовательно, еще господствовал капитализм. Внутри России в свою очередь окончательно восторжествовал капитализм. В таких условиях вся сущность пореформенной эволюции общины состояла в создании и усилении имущественного неравенства, далее «в превращении простого неравенства в капиталистические отношения» [20]. Таким образом, оправдалось предсказание К. Маркса, а именно: «начало собственности одержит верх над началом коллективным».

Вот—в самых общих чертах—как смотрели на русскую поземельную общину Н. Г. Чернышевский и К. Маркс. Совершенно очевидно, что неправильно утверждать, будто эти взгляды вполне совпадали. Они не совпадали и не могли совпадать, потому что Н. Г. Чернышевский смотрел на поземельную общину глазами социалиста-утописта. Маркс же смотрел на поземельную общину глазами основоположника научного социализма и вождя пролетариата.

---

[19] Фр. Энгельс.—Статьи 1871—75 гг., с. 79—80.

[20] Ленин.—Собр. соч., т. IX, с. 622.

ДОКЛАДЫ В ОБЩЕСТВЕ

А. Арциховский

НОВЫЕ МЕТОДЫ АРХЕОЛОГИИ [1]

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО т. ГУКОВСКОГО

Разрешите товарищи, открыть заседание Социологической секции Общества историков-марксистов. Прежде чем дать слово докладчику, мне бы хотелось задержать ваше внимание на следующем. Многие из присутствующих здесь не являются членами Общества историков-марксистов, и поэтому для них интересно было бы знать, почему Общество историков-марксистов ставит доклад, посвященный вопросу о новых методах археологии.

Наша секция до последнего времени занималась главным образом изучением общественных формаций. Но с прошлого года замечается тенденция расширить ее деятельность, и в круг ее вопросов включаются новые задачи, имеющие большое методологическое значение. В частности секцией кое-что проделано и в области этнографии. Поставлен уже ряд докладов, и вокруг секции собирается ядро не только этнографов-материалистов, но и этнографов-марксистов. И теперь речь идет об организационном оформлении этнографов в подсекцию.

Что касается археологии, то здесь Социологической секцией еще ничего не было сделано. Данный доклад является первым почином. Кстати сказать, этот доклад ставится по инициативе группы археологов. Одним из членов этой группы является докладчик. Этот факт является знаменательным, показывающим, что в рядах археологов наблюдается какое-то течение, идущее в сторону приобщения к материалистическому методу. Нас интересует вопрос, как археологи—инициаторы доклада—понимают применение метода исторического материализма при археологических исследованиях и какое место они отводят археологии в ряду исторических наук. В зависимости от того, что покажет сегодняшний доклад, какую он встретит поддержку среди других археологов, можно будет поставить вопрос о более тесном общении Социологической секции с археологами в будущем. Конечно сейчас рано говорить, в какие организационные формы это выльется. Возможно, будет поставлен вопрос о создании при Социологической секции какой-нибудь группы археологов-материалистов, а еще лучше было бы говорить о марксистах, если такие окажутся. Таковы задачи Социологической секции при постановке данного доклада.

---

[1] Заседание социологической секции от 4 ноября 1929 г.

ДОКЛАД АРЦИХОВСКОГО

Мое сегодняшнее выступление не является индивидуальным. То, что я сегодня здесь буду оглашать, составлено Брюсовым, Киселевым и мною. Я буду очень краток, чтобы оставить как можно больше времени для прений. Главное, в чем сейчас нуждается археология,—это в большой методологической дискуссии. Ведь до сих пор археология занималась изучением в лучшем случае внешних форм памятников культуры и сводилась к голой систематике. Представители соседних дисциплин часто называют археологов вещеведами. Конечно недостаточно быть только вещеведами, но большая часть археологов не заслуживает даже такого названия. В самом деле, статьи об эволюции форм орнаментов (форм, якобы отражающих непрерывное переселение народов) заполняют собою подавляющее большинство страниц лучших западноевропейских журналов. Орнаменты изучаются как нечто самодовлеющее, и это унылое занятие удовлетворяло до сих пор большинство археологов. Только немногие из них поднимаются до вещеведения, этой предварительной стадии действительно научного исследования. Они сопоставляют типологические эволюционные ряды топоров, мечей, браслетов, но и они не видят за вещами заключающихся в этих вещах отношений между людьми,—тех отношений, изучение которых является прямой целью всякой общественной науки.

Археология имеет право на существование только лишь в том случае, если ее задачей является восстановление по памятникам материальной культуры общественно-экономических формаций. Систематика ради систематики никому не нужна.

Задачи археологии совершенно совпадают с задачами истории. Эти две науки отличаются друг от друга только характером своих источников (письменные источники истории и вещественные источники археологии, я говорю, конечно, об истории в узком смысле слова). Археология и история—две параллельные науки, которые разрабатывают вместе с другими материал для социологических обобщений.

Но обладает ли археология достаточным материалом для этих социологических обобщений? Лет пятьдесят назад на этот вопрос нужно было бы ответить отрицательно. Теперь количество археологических памятников увеличилось неимоверно, методы раскопок и наблюдений уточнились чрезвычайно.

Каков же качественный состав этих материалов?

Во-первых, мы имеем орудия производства, эти основные определяющие производительные силы,—о значении их для марксистской социологии распространяться не приходится. Десятки тысяч орудий хранятся в музеях, еще больше там продуктов производства, по которым можно заключать о приемах и масштабе трудовой деятельности. По количеству и по качеству земледельческих орудий, а также по остаткам культурных злаков мы можем восстанавливать систему земледелия и его роль в хозяйстве. Относительно скотоводчества аналогичные выводы позволяет делать остеологический материал. Тот же материал плюс безграничное разнообразие оружия позволяет восстанавливать многочисленные стадии и формы охоты. Положительно невозможно даже перечислить все данные, характеризующие ремесла. Наконец раскопками жилищ, шахт, мастерских можно установить количество людей, занятых в том или ином производстве. Методы раскопок жилищ

именно в последнее время чрезвычайно уточняются. Таким образом мы можем восстановить по археологическому материалу древнюю систему производительных сил.

Но если это так, то отсюда мы можем восходить к системе производственных отношений, поскольку зависимость производственных отношений от производительных сил установлена марксизмом. Уже на этой стадии восхождения мы можем дополнять данные восхождения археологическим материалом, относящимся непосредственно к производственным отношениям. Сюда относятся, например, типы поселений, т. е. рефугиум, город, деревня, усадьба, заимка, промысловая стоянка, лагерь; типы жилищ: жилища так наз. малых и больших семей, родовые жилища, жилища-мастерские, дворцы, места общественных собраний; типы погребений: индивидуальные, семейные, родовые, княжеские, купеческие, военные и т. д. Затем сравнение инвентаря отдельных жилищ, отдельных погребений; иностранные товары и пути их распространения; распространение предметов роскоши; диференциация и развитие типов оружия. Часто наблюдаем явление симбиоза двух культур—господствующей и подчиненной. Даже для идеологии мы можем прямыми указаниями проверить данные восхождения от базиса. Сюда относятся—храмы, ритуальные места, погребальные обряды, памятники искусства, памятники культа.

Итак, методом восхождения от производительных сил к производственным отношениям можно восстанавливать общественно-экономические формации по памятникам материальной культуры. Именно в этом смысле т. Покровский говорил об археологии, как наиболее материалистической по своим об'ектам общественной науке.

Метод восхождения от производительных сил к производственным отношениям пытается разрабатывать наша небольшая археологическая группа. Первые опыты применения этого метода напечатаны в трудах Секции теории и методологии Научно-исследовательского института археологии и искусствознания РАНИОН.

Прямое отношение к методу восхождения имеют следующие слова «Капитала»: «Технология раскрывает активное отношение человека к природе, непосредственный процесс производства его жизни, а следовательно и общественных отношений его жизни и вытекающих из них духовных представлений. Даже всякая история религии, абстрагирующаяся от этого материального базиса,—синкретична. Конечно, много легче посредством анализа найти земное ядро причудливых религиозных представлений, чем наоборот—из данных отношений реальной жизни вывести соответствующие им религиозные формы. Последний метод есть единственный материалистический, а следовательно, научный метод» (т. I, гл. XIII).

При работе методом восхождения нужно брать за основу технику достаточно широких общественных групп, а не технику одного или нескольких совершенно однородных пунктов, часто неправильно определяемых термином «культура». В последнее время благодаря увлечению систематикой в археологии понаделано столько культур, что они нуждаются в самом беспощадном укрупнении по принципу социально-хозяйственного единства. При этом укрупнении едва ли нужно стесняться разнородностью памятников. Невозможно, например, разделять на две культуры хотя бы Золотую орду, где провинциальные погребения кочевников и столичные жилища оседлых татар дают совершенно различный материал. Еще любопытнее в этом отношении приемы некоторых авторитетных ленинградских археологов, ухитряющихся разби-

вать материал из одной небольшой стоянки на 5—6 культур соответственно 5—6 видам орнаментов глиняной посуды.

При работе восхождения особое внимание нужно обращать на конкретную археологическую обстановку, т. е., во-первых, на положение техники данной группы в ряде развития техники всего человечества, во-вторых, на своеобразие окружающей среды, поскольку конечно на эту среду человек может воздействовать при данном уровне производительных сил. Эта конкретная археологическая обстановка, как дальше придется говорить, чрезвычайно часто забывается. Ее выяснение настоятельно требует единой хронологической классификации. Это чрезвычайно острый археологический вопрос. Культуры должны изучаться не изолированно, как это часто делается, а в их связи и взаимодействии. Они не были друг от друга оторваны, и поэтому типологические аналогии и диффузия типов дают достаточный материал для хронологизации и синхронизации. Необходимо только делать поправку на скорость распространения типа. Однако конкретный материал указывает, что, чем медленнее было это распространение, тем медленнее было и изменение форм.

Следовательно практическое значение этой поправки ничтожно. Острота вопроса о единой классификации особенно увеличивается за последнее время, поскольку существует и возрастает тенденция рассматривать отдельные эволюционные ряды культур не диалектически, изолированно друг от друга.

Новой археологической науке приходится бороться не только с традициями старой школы, но и с захватническими тенденциями соседней дисциплины. Многие этнологи, в особенности так называемые палеоэтнологи, отрицают право археологии на самостоятельные социологические построения. Замечу, что термин «палеоэтнология» (им многие заменяют термин «археология»)—название не только чрезвычайно неблагозвучное и с точки зрения греческого языка неграмотное, но и заключающее в себе чрезвычайно неприятную методологическую тенденцию (надо отметить, что само слово «этнология» чрезвычайно сомнительное, поскольку это—или синоним этнографии или социология второго сорта). Так вот палеоэтнологи утверждают, что только в этнологических категориях археология черпает живую воду для своего мертвого материала. Этой живой водой считается метод наложения. Этнологический комплекс накладывается на археологический, причем тысячи километров и тысячи лет в соображение не принимаются. Считается, что если вещественный археологический комплекс частично совпадает с этнологическим,—а полностью они никогда не совпадают, — то этнологическая формация может быть чуть ли не целиком перенесена в прошлое. Если бы это было так, это чрезвычайно упростило бы задачу археологии.

Но, во-первых, как я сказал, полное совпадение невозможно. Во-вторых, такое забвение конкретной обстановки недопустимо и недиалектично. Древние цивилизации Вавилона, Рима, Багдада—суть явления не повторявшиеся, и здесь о наложении не приходится говорить. Но как неповторимы древние руководящие цивилизации, так неповторимы и культуры, находившиеся под их воздействием. Влияние римской техники, а вслед за ней экономики, а вслед за ней идеологии проникало в самые глухие углы Европы. Какие этнологические шаблоны возможны для древних славян, развившихся при перекрестном воздействии халифата и империи? Этнологические параллели не применимы здесь. Да и откуда брать эти параллели? Разве не овеян теперь

весь земной шар веянием эпохи финансового капитала и пролетарской революции? Разве не напластовались, например, у негров влияния промышленного и торгового капитала Европы, арабского халифата, Римской империи, Карфагена, Египта? И вот у палеоэтнологов выступают все те же неизбежные бакаири, урабунна, ботокуды, семанги и прочий немногочисленный инвентарь, состоящий из племен, отставших в развитии или деградировавших. Маленькая коллекция этнологических трафаретов не может заменить всего многообразия древней культуры.

Археология, как и всякая другая историческая наука, берет категорию не этнологическую, а социологическую, например родовой строй; она пользуется категориями, отвлеченными от всей реальности известных индивидуальных процессов, заимствованными далеко не у одной этнологии. Дьяковская культура, развившаяся здесь, где мы сидим, в первое тысячелетие нашей эры, не может оживляться и после нашей эры этнологической категорией «родовой строй современных чукчей»; не может, хотя в вещественном инвентаре я признаю довольно значительное совпадение. При таком перенесении мы перенесли бы не только чукчей, но и северо-восточную Азию и влияния поздних общественно-экономических формаций. Дьяковская культура оживляется социологической категорией «родовой строй», которая, наполняясь археологическим материалом, индивидуализидуется. Мы восстанавливаем культуру, действительно развившуюся на Москве-реке, действительно в эпоху античных цивилизаций.

Основной грех палеоэтнологов есть, следовательно, забвение конкретной исторической обстановки. Такую позицию нельзя не назвать механистической. Палеоэтнологи так же, как современные экономисты-механисты, считают очевидно производственные отношения механическим рефлексом производительных сил. Но близость двух систем производительных сил, развившихся в разных исторических обстановках, не обусловливает близости двух систем производственных отношений. Я подчеркиваю: близость не обусловливает близости, а тождество невозможно. Поэтому и метод наложения неприменим. Метод же восхождения позволяет учитывать все своеобразие исторической обстановки.

Та полемика, которая идет сейчас в археологии, есть повидимому только часть большой полемики, ведущейся сейчас во всех науках между диалектиками и механистами. И не случайно палеоэтнологи в своих тезисах,—мы с ними весною дискутировали,—употребили такое упрощенное определение диалектики: «диалектически, т. е. пространственно и хронологически».

Итак, археология есть наука самостоятельная, обладающая достаточным материалом для социологических построений. Значение ее в марксистской системе общественных наук достаточно определяется уже тем, что она изучает орудия производства, эти основные, определяющие производительные силы, в их возникновении, развитии и исчезновении. Программное значение для археологии приобретают слова Маркса: «Такую же важность, как строение останков костей имеет для изучения исчезнувших животных видов, останки средств труда имеют для изучения исчезнувших общественно-экономических формаций. Экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами труда. Средство труда—это не только мерило развития человеческой рабочей силы, но и показатель тех общественных отношений, при которых свершается труд» («Капитал», т. I, гл. V).

ПРЕНИЯ

Брюсов. Здесь был задан вопрос, можно ли по археологическому материалу без этнографических данных восстанавливать такие соотношения, как например: форма семьи, брачные отношения и т. д., и т. д. Как раз именно по этому вопросу появилась недавно очень любопытная статья Г. Вильке. Я приведу подзаголовок: «Матриархат в неолитическую эпоху и в начале бронзовой эпохи». Общее же заглавие: «Мать и дитя». Вопрос решается в этой статье почти исключительно по археологическому материалу. Археологический материал очень часто дает возможность решения таких вопросов, которые раньше очевидно не считали возможным ни в какой мере связывать с археологией.

Приведу еще конкретный пример. В последнее время шел большой диспут относительно происхождения религии. Между тем не так давно, в конце 1927 г., вышла чрезвычайно любопытная работа г. Свердрута, которая называется «От обычая захоронения до веры в мертвых». Статья эта имеет не только частное значение для археологии, она имеет общее значение. Написана она исключительно по археологическому материалу. Правда, там имеется несколько этнографических параллелей, но только в общей части. И надо сказать, что эта статья вполне по-марксистски разрешает вопрос о происхождении религии на основании археологического материала и делает излишними споры о «теории страха», между тем как никакой этнологический материал не дает и не может дать убедительных доказательств, что ранние погребения не были некогда связаны с религиозными или даже магическими представлениями и только позднее совершился переход к освящению самого места погребения и затем к культу предков.

Представьте себе, что вы бы хотели выяснить этот вопрос на этнологическом материале. Где этот материал взять? В настоящее время на всем земном шаре нет ни одного народа, который не подвергался бы влиянию со стороны. Попробуйте сопоставить, как толкуют этнографы австралийцев в смысле их хозяйственных форм и как те же самые этнографы толкуют их с точки зрения их идеологии и религии. Получаются два совершенно несовместимых ряда: с одной стороны, крайне примитивное хозяйство, с другой— довольно развитые религиозно-магические формы. Как это может быть? Если в эволюции хозяйства австралийцев нельзя найти предпосылок для возникновения религии, то надо предположить, что эта религия заимствована ими со стороны и приспособлена к хозяйственным и общественным отношениям австралийцев. Следовательно в данном этнографическом явлении мы имеем дело не с первичной идеологической формой, а с ее искажением. Какое же наложение возможно при этом? Вот почему я утверждаю, что и для более древних эпох выяснение даже таких явлений, как семья или религиозные воззрения, предпочтительно делать по археологическим данным и только затем сравнивать выводы с этнографическими данными.

Кушнер. Я вполне понимаю, что всякие новаторы пытаются прежде всего расчистить себе место, т. е. обособить себя от всех дисциплин, которые могут конкурировать или могут мешать, а также от тех адептов, которые к этим конкурирующим дисциплинам имеют отношение.

Безусловно, выступление т. Арциховского против археологов-систематиков, археологов-коллекционеров—это боевое выступление, это борьба с ветхим старым во имя чего-то нового. Но ударив по старому, т. Арцихов-

ский не удержался, чтобы не обособить себя и от тех дисциплин, в которых сейчас марксизм все-таки пробил кое-какие пути. Я думаю, что это ошибка, и очень большая ошибка чисто методологического характера. Конечно очень легко полемизировать с этнологами, очень легко полемизировать с методом наложения, но трудно полемизировать с этнографией, если к ней применен марксистский метод. Еще труднее будет полемизировать с марксистской социологией, которая пользуется этнографией так же как археологией, в качестве вспомогательного материала. Легкость, с которой т. Арциховский разбил метод наложения, об'ясняется только тем, что он взял об'ект, легко поддающийся обстрелу, и тем заранее облегчил себе задачу. В действительности дело не так просто. Что такое общественно-экономические формации, при помощи которых т. Арциховский и вообще новое течение в археологии пытаются обновить или, может быть, реформировать, даже революционизировать археологию? Общественно-экономическая формация это вовсе не одни только орудия труда, это вовсе не методы, при помощи которых человек работает, это даже не производительные силы в целом,—это более широкое понятие. Это— и производственные отношения, и то, что мы называем гражданским обществом, и то, что мы называем идеологией. Наиболее полно, по-моему, Маркс изложил, что такое общественная формация, в своем письме к Анненкову,—наиболее полно и наиболее популярно.

Так вот я задал бы вопрос, каким путем археология может вскрыть то, что мы называем гражданским обществом, или семейные братские отношения, или идеологию, или, наконец, первобытную психику? Правда, существует очень богатый археологический материал и по идеологиям—это первобытное искусство; оно может дать материал для умозаключений о первобытной психике. Но для брачных семейных отношений первобытная археология абсолютно ничего не дает. Борясь с этнографией, т. Арциховский выбросил то ценное, что этнология или этнография уже дают. Он говорит: «Мы можем родовой строй выяснить на основании археологического материала». Это глубочайшее заблуждение. Само понятие «родовой строй»—не археологическое и не историческое понятие. Это понятие целиком взято из этнографии, а потом применено в истории. Дальше, такие понятия, как брак и семья, взяты тоже из современности. Когда мы говорим о браке и семейных отношениях, мы чаще всего исходим из отношений современных, потом переходим к историческим отношениям, и уже на основании сравнения современного с исторической действительностью мы можем судить о еще более ранних, еще более примитивных отношениях. Мы пользуемся или методом пережитков, или методом сознательного упрощения, отбрасывая те сложные напластования, которые в течение многих веков наслаивались в жизни человеческого общества. Только таким методом мы можем подойти к тем примитивам, которые были в первобытности.

То, что привел здесь т. Брюсов в качестве примера полноты археологического материала, служит наглядным уроком, как может ошибаться узкий специалист-археолог, когда он пользуется своим «методом восхождения». Пример материнского права, взятый якобы на археологическом материале, бьет вас, археологи, прямо по голове. Что такое материнское право? Это этнографическое понятие, понятие, которое было вскрыто этнографией, а потом уже перенесено на ряд исторических периодов. Оказалось, что материнское право возникло давно, и мы находим яркие примеры его в истории. Вы можете пользоваться этими примерами, можете привести археоло-

гические данные и доказать, что материнское право было и раньше. Но попробуйте, откажитесь от самого понятия материнского права, которое дала этнология, попробуйте, откажитесь от первоначального материала, которым было подтверждено существование материнского права у исторических народов, попытайтесь на основе археологического материала создать термин «материнское право». Это абсолютно невозможная вещь. Иначе говоря, вы только потому можете создавать ваши новые теории, открывать новые факты, что пользуетесь материалом, который подготовили другие науки, материалом этнографическим.

Все это я говорю вот к чему: и археология, и история по памятникам письменности, и этнография — все это только частицы одной исторической науки. Это только методы особой группировки исторического материала и только. Разве можно разобщать, совершенно разрывать археологию от истории и говорить: вот вам новая наука, которая совершенно самостоятельно может создавать какие-то новые социологические категории? Это возможно только, когда вы выступаете впервые и хотите себе расчистить почву. Другим это об'яснить нельзя. Но это абсолютно немарксистская постановка вопросов.

Дальше, относительно упрощения. Совершенно верно, что метод наложения есть упрощенчество. Я с этим совершенно согласен. Метод наложения вообще примитивен и пользоваться им, как таковым, нельзя. Но можно пользоваться другим методом—этнографическим методом, методом аналогий, методом сравнений. Когда у вас есть материал, положим, в области развития производительных сил какого-либо народа или страны и когда есть указания на сходство или, может быть, почти тождество уровня производительных сил у другого народа, да, кроме того, еще сходство в формах искусства, религии, то вы имеете право заполнить брешь в других пластах данной формации материалом этнографическим, понимаемым не как материал, целиком конкретно взятый и перенесенный в другую обстановку, а только как примерный схематический материал. Это совершенно допустимый прием, поскольку вы оперируете методом экономических формаций, потому что существует взаимозависимость между отдельными частями формации. Формация—закономерно развивающийся комплекс, который имеет свои особенности, но который имеет свое совершенно явное ядро. От этого ядра вы отказываетесь.

Какие же выводы?

Я думаю, что, обособляя себя от этнографии, археологи делают большую ошибку. Всегда выгоднее быть нападающей стороной, чем обороняющейся. Но противопоставление себя истории и этнографии осложняет ваше нападение и принижает те новые методы, которые вы выставляете. Вместо того, чтобы бить по старому, ваш доклад оказался заостреным против того, что никоим образом не противоречит марксизму. Вместо того, чтобы бить по искривлениям, вы бьете по основному. Доклад, который должен был дать что-то новое в археологии, в смысле метода дает очень мало.

Дмитриев-Кельда. Основной вывод докладчика гласит: археология—самостоятельная наука, имеющая достаточный материал для известных социологических построений. Прежде всего остановимся на моменте самостоятельности, а потом и на моменте достаточности материала. В связи с этим стоит провести очень интересную параллель, правда, несколько из другой области. Прежняя лингвистика считала себя совершенно самостоятельной наукой, обладающей своим методом и очень обильным материалом.

Но за последнее время новое направление в лингвистике почему-то имеет усиленную тенденцию постепенно приближаться к социологическим построениям и постепенно лишает себя самостоятельности. Я не знаю, чем об'ясняется это самоубийство лингвистики, но для меня совершенно ясно, что обратный процесс, происходящий в археологии,—явление нездоровое. Чтобы показать нездоровость этого явления, достаточно остановиться на втором моменте доклада. Спрашивается, имеется ли необходимая база для построений по методу восхождения?

Прежде всего конкретные материальные данные, которые получает эта самостоятельная наука. Несомненно, в начальный момент работы они трактуются как локальные, но никоим образом не как общие, мировые, следовательно как нелокальные факты. В этих локальных материальных данных мы можем найти некоторый намек на былые производительные силы, на былые орудия производства, и тем самым мы можем дать какие-то намеки на былые производственные отношения. Кроме того, здесь мы можем найти обломки явлений, смутно показывающие на состояние идеологическое. Значит, локальность материала в данном случае не может являться достаточной основной базой для «восходительных работ». Восхождения на базе локальности ничего иного не дадут кроме фантастических построений совершенно не существовавших явлений и процессов. Следовательно, эта локальность требует какой-то проверки. Чем проверять? Только сравнением с другими локальными данными, получаемыми археологией? Но тем самым, т. е. допущением сравнения, мы уже встаем на скользкий путь. На самом деле, каким образом мы должны производить это сравнение? Казалось бы, что единственно безопасно—это производить сравнение по внешним формам данных нам материалов. Но это, как показала практика, очень ненадежное средство, которое приводит к совершенно ложным положениям. При том этим же делом как раз и занималась старая отвергаемая ныне археология. Вторая возможность по существу верна, но отвергается докладчиками: мы можем привносить к материалам от себя особую теорию. Но тут как раз и встает вопрос: какую теорию? Говорить здесь о методе восхождения еще нельзя, так как здесь мы находимся еще только у базы. Пользоваться другими науками, напр., социологией, мы не можем, потому что социология не дает материалов для тех глубин, которые захватывает археология. От этнографии докладчики отказываются, потому что она несимпатична своими построениями для археологии.

Что остается для базы, на которой строится новая археология? Ничего! Все отвергается, все сомнительно, ничего нет реального.

Удивительно четко представляет ошибочность позиции докладчика пример, который привел один из участников подготовки данного доклада. Этот пример сводится к тому, что, пользуясь результатами только археологических изысканий и новым методом восхождения, мы можем предположить, что современная религия австралийцев—заимствование. Для меня, как для лингвиста, имеющего некоторое соприкосновение с австралийскими языками, совершенно ясно, что религия австралийцев совершенно гармонирует в своем развитии с тем состоянием языка, которое имеется у них. Но признать, что язык австралийцев во всех формациях, которые мне известны как лингвисту, тоже заимствован, я считаю нелепостью. Следовательно, здесь остается только один выход: признать возможность неувязки религии с языком или возможность заимствования религиозных идей помимо языка. Но

возможность расхождения достигнутой ступени языка с достигнутой ступенью религии тоже является сплошной фантазией, сплошной нелепостью.

Вот к каким выводам можно притти при построении этой самостоятельной науки по самостоятельному методу восхождения.

Брюсов. Я хочу только ответить на некоторые возражения. Во-первых, товарищи говорили о том, что без помощи этнологической или этнографической параллели мы не можем восстановить целого ряда более сложных формаций в древнейшие эпохи существования обществ. Прежде всего я должен согласиться, что действительно во многих случаях по имеющемуся материалу этого сделать нельзя. Но вместе с тем я не вижу никаких оснований, почему восстановление возможно делать через наложение одну на другую двух формаций, отделенных друг от друга временем в десятки и сотни тысяч лет и находящихся друг от друга на расстоянии от Западной Европы до Австралии. Почему такое наложение может дать вам хотя бы приблизительно верную картину? Затем я должен ответить т. Дмитриеву, что когда я говорил о религии австралийцев, то я имел в виду заимствование не в позднее, а в достаточно отдаленное время. Я утверждал только, что на древнейшей ступени развития австралийцев у них этой религии не было и она заимствована. А товарищ утверждает, что в тот момент, когда они только достигли современной ступени развития, у них уже была эта религия, что они ее создали сами.

Действительно, по общесоциологической схеме мы не имеем еще никаких предпосылок для непосредственного возникновения религии у австралийцев при данном состоянии их хозяйства. Мы имеем здесь преимущественно собирательное хозяйство, с некоторым переходом к систематической охоте. Если мы даже возьмем более развитую форму хозяйства в конце западноевропейского палеолита, где мы имеем уже развитую охоту, то и здесь только с большой натяжкой приходится говорить о какой-нибудь религии. Там можно говорить о религии только в том случае, если мы магию, как таковую, всю целиком включим в религию.

Вот почему можно сомневаться, что австралийцы, которые достигли, грубо говоря, приблизительно той же ступени хозяйства, как скажем общество мустьерской эпохи в Зап. Европе, могли непосредственно, ниоткуда не заимствовав основ, создать у себя религию. Но я никогда не буду утверждать невозможности того, что, получив толчок извне, они могли приспособить заимствованную религию к существовавшему у них строю.

Тов. Кушнер сказал, что археология стремится создать новые археологические категории, противопоставив их категориям социологическим. Мне кажется, что этого в докладе не было, и никто из нас этого не говорил. Никто не думает заменять социологические категории какими-то новыми «археологическими» категориями.

Киселев. Сейчас мы получили обвинение в том, что являемся империалистами, что мы хотим захватить такие плодородные колонии, как этнография, поработить этнологию и высосать из них все соки где-то за ширмой, чтобы преподнести эти соки под видом самостоятельной археологической работы. Но ведь в возражении т. Кушнера был один чрезвычайно характерный момент. Перечисляя всевозможные источники, из которых мы можем получить материал для определения понятия «материнское право», он упустил одно, что самое это понятие является известным отвлечением от целого ряда реальных процессов, что материнское право у какого-нибудь ботокудского

народа и материнское право у наших чукчей—это явления весьма разные. Никто не спорит, что языковое выражение, самое понятие «материнское право» ни в коем случае не может быть почерпнуто из археологического материала, но думаю, хоть я и не знаток чукотского языка, что и у него не почерпнешь такого понятия, как «материнское право». Мы протестуем против перенесения «материнского права» чукчей со всеми его атрибутами на материалы миллионов вымерших (на живых—не решитесь) племен. Но мы будем только приветствовать, если все социологи не фетиш-этнологического толка сумеют оживить археологический материал основными чертами материнского права, пусть и полученными у чукчей, но осознанными как общие черты в сравнении с рядами других подобных процессов. И в этом отношении, мне думается, требуя проверки спецификума индивидуального путем сравнений, путем исследования его неслучайности, правильности в повторяемостях, мы идем по пути, намеченному Лениным в статье «Что такое друзья народа». Он там говорит: «Анализ материальных общественных отношений сразу дал возможность заметить правильность и обобщить порядок разных стран в одно понятие «общественная формация».

Мы как раз зовем к заимствованию археологией черт общественных формаций как социологических формаций, обобщающих совокупностей конкретного. Но мы продолжаем протестовать против перенесения всей конкретности феодализма какого-нибудь древнего хакаса, развивавшегося в первом тысячелетии нашей эры в Сибири, целиком на феодализм германцев эпохи Карла Великого. Мы считаем, что должно быть перенесено лишь самое общее и тем самым обращаемся к посредничеству социологии, а не этнографии. И тут мы переносим все наиболее характерное для данной общественной формации, но ни в коем случае мы не можем перенести целиком все атрибуты этнологической категории, потому что мало ли какие атрибуты имеет матриархат чукчей. Ведь вовсе не обязательно, чтобы эти атрибуты чукотской конкретности бытовали и у носителей какой-нибудь археологической культуры. Поэтому-то я и присоединяюсь к товарищам и продолжаю протестовать против предлагаемого нам перенесения этнографических индивидуальных явлений на те или иные конкретные процессы, рисуемые археологическим материалом.

Далее о заявлении т. Кушнера, что мы заостряем наши копья совершенно не по адресу, что мы должны были бы заострить их в направлении рутины старого археологического метода и старых археологических приемов. Я не знаю, может быть т. Кушнер не совсем в курсе современной археологии. Но как раз сейчас старая археологическая рутина и систематика нас волнуют гораздо меньше, чем то, что нам преподносится под видом этнологической и палеоэтнологической теорий, которые идут в конце-концов не откуда-нибудь, а из Вены, от патера Шмидта. Поэтому мы, наоборот, считаем, что, заостряя свое копье в направлении палеоэтнологии, мы гораздо более современны, чем думает т. Кушнер. А старая рутина давно отживает сама собой.

Теперь по поводу выступления т. Дмитриева относительно обломочности нашего материала. Я не знаю, чем мы в этом отношении отличаемся от других исторических наук. Разве материал истории не обломочен? Однако выводы т. Дмитриева таковы: раз вы обладаете лишь фрагментами, то какое же возможно восхождение, вам же нельзя подниматься выше исследования системы производительных сил. Спрашиваем, почему, что особенно уме-

стно, так как т. Дмитриев сейчас же за этим торжественным заявлением, восхваляя историю, признает за ее служителями право восстанавливать по обломкам памятников идеологии, путем нисхождения, хозяйственную систему. Выходит, по фрагментам идеологии, поверяемым анализом обусловившей ее экономической структуры, идеологию восстановить нельзя, а вот восстановить систему хозяйства по этим же фрагментам идеологии можно, и горе тому историку, который этого не сделает. Это возражение мне напомнило возражения, делавшиеся нам из наиболее рутинного лагеря археологов-систематиков, которые говорят: позвольте, вы хотите восстановить общественно-экономическую формацию по археологическому материалу, а он у вас в обломках. Но ведь это и историкам могут сказать. И поэтому ни мы, ни историки никогда и не мечтаем дать исчерпывающие детали, но дать общее ни нам, ни историкам никакие Дмитриевы не помешают. Что же касается примеров из этнографии, на которых Дмитриев так настаивает, то они для нас могут быть лишь гипотетическими иллюстрациями. Они будут только материалом вроде гипса, которым мы, археологи, заполняем пустоты при заливке разбитых горшков. Но это не будет перенесением какого-нибудь этнографического факта, как факта несомненно существовавшего и в данной вымершей археологической общественно-экономической формации, ибо такое перенесение без проверки социологичности факта было бы простым насилием над истиной. Кроме того, оно было бы непозволительным упрощенчеством, и приходится только жалеть, что такое упрощенчество поддерживается т. Дмитриевым, старающимся ретушировать основной наш тезис о необходимости при исследовании археологического материала исходить из анализа системы производительных сил. Впрочем, к чему затевать такое сложное предприятие, как этот анализ. По т. Дмитриеву мы можем поступить гораздо проще. Можно просто взять напрокат какую-нибудь этнологическую категорию, перетащить и наложить. Однако, т. Дмитриев, это и есть то упрощенчество, против которого мы боремся.

Наконец последнее—к вопросу о самостоятельности археологической науки. И т. Кушнер, но главным образом т. Дмитриев, представили дело так, что мы являемся какими-то империалистами, которые хотят расчистить место и обособиться, построить две-три китайских стены, спрятаться от всех смежных дисциплин, подчиненных социологии. Я согласен с вами в одном, что каждая наука должна быть связана с другой. Против этого никто из нас не возражает. Но когда мы говорили о возможности заимствования различных этнографических материалов для археологии, мы ведь как раз и говорили о взаимоотношениях этнографии и археологии. Так же обстоит дело и с лингвистикой. И скорее мне кажется, т. Дмитриев, что вы сами переходите ту грань, которую перешел т. Мещанинов в своей последней работе о популяризации яфетидологии. Ведь как раз вы, вкладывая в современную лингвистику чрезвычайно большое содержание, делаете то же, что сделал Мещанинов, т. е. превращаете свою материалистическую лингвистику в то же, во что современные этнологи превращают этнологию,—в суррогат социологии. Мне кажется, что вы сильно переоцениваете диапазон своей науки.

Дмитриев-Кельда. Последнее замечание выступавшего относительно яфетидологии является только красивым словцом, потому что в своем выступлении я об яфетидологии не сказал ни слова. Я говорил, что нелепо представлять возможность разрыва религии с языком. Это я говорил, но о яфетидологии я не сказал ни слова.

Мне сделали два совершенно неудовлетворительных возражения. Первое возражение сделано было Брюсовым. Оно сводилось к стремлению во что бы то ни стало не дать прямого ответа на очень четко поставленный вопрос: признает ли он возможность разрыва в развитии форм языка и религии, или не признает. На это он мне отвечает, что возможно наличие низкого уровня материальной культуры при заимствованной религии из высокого уровня культуры. Как высшая форма религии, например, при введении христианства у малых национальностей, отражается на форме идеологии низшей культуры? Очень четкая картина получается тогда, когда вы, предположим, разбираете христианство у вотяков. Вы здесь христианства не найдете, потому что здесь христианство является суррогатом христианства, совершенным искажением основных норм христианства и приспособлением к религии, соответствующей уровню культуры. Таким образом мой оппонент не отвечает прямо на поставленный вопрос, ибо он не может дать соответствующего доказательства того, что возможен разрыв между ступенью развития языка и состоянием религии. Я должен констатировать, что система австралийских языков представляет собой не низкую стадию развития, что мы имеем в некоторых наших национальных языках. И поэтому утверждение о возможности разрыва между австралийской религией и соответствующими формами языка совершенно отпадает. Вместо того, чтобы направить свое внимание на об'яснение такого факта, когда при наличии увязки между языком и религией имеется низшая форма культуры, вместо того, чтобы об'яснить, почему имеется низшая форма культуры, нам предлагают об'яснить, почему именно заимствована высшая форма идеологии при данности низшей культуры. Русские в Якутии тоже имеют низшую культуру. Почему?

Второе возражение идет мимо цели. Я совсем не говорил о том, что социология пользуется методом восхождения. Социология, наоборот, пользуется методом нисхождения, социология производит процесс нисхождения. Поэтому это возражение моего оппонента бьет мимо цели и совершенно не реабилитирует докладчика.

Аптекарь. В докладе, который мы заслушаем, в докладе очень интересном по самой проблеме (мы имеем здесь попытку поставить археологию на марксистские рельсы, попытку, которую, конечно, надо только приветствовать), есть три очень серьезных методологических ошибки, которые во всяком случае уже не дают возможности рассматривать данную попытку как удавшуюся.

Прежде всего мне кажется, что у докладчика, когда он обрисовывал предмет и задачи археологии как особой науки, был дан, в сущности, метафизический подход к этой проблеме. Вместо единой конкретной исторической реальности, о которой только и может итти речь у марксиста-исследователя (если стать на почву цитат, можно привести указание Маркса—Энгельса из «Немецкой идеологии», что мы знаем только одну науку—историю),—вместо этого докладчик ведет ожесточенную борьбу за отмежевание кафедр, ставя своей задачей так построить свой угол, чтобы и чужие ноги не торчали и свои никому не мешали, попытаться доказать возможность воссоздать ход всего исторического процесса только по памятникам материальной культуры. Если даже признать, что в некоторых частях, в некоторых отдельных случаях такая попытка может удасться, то в целом этого материала, конечно, будет совершенно недостаточно. Можно привести целый ряд примеров, из которых следует, что если мы возьмем для исторической реконструкции

только данные археологии, то они смогут привести нас только к неправильным выводам.

Я возьму пример, который приведен в труде т. Зифельта «Uralo-Altaica». Автор приводит интересные соображения, если не ошибаюсь, исследователя Стрелова по поводу русских, живущих на севере Якутии, которые попали в совершенно особые условия, в корне отличные от обычных русских, и приобрели всю материальную культуру якутского типа. Если основываться только на данных их материальной культуры, то целый ряд надстроечных отношений, которые довольно резко отличаются от якутов, будет совершенно не восстановлен. Я лично стою на той точке зрения, что археологию нужно понимать только как чисто историческую дисциплину, т. е. такую дисциплину, которая может только вместе с другими дисциплинами воссоздать исторический процесс, а сама в отдельности и изоляции может дать только ту или иную вариацию, всегда довольно далекую от реальной действительности. Это то же самое, как если бы мы попытались построить исторический процесс по данным одной лишь лингвистики. Такие попытки имеются, и в основном все индоевропеисты методологически подходят к этому. Мы знаем, каковы результаты этих попыток: получилась дикая вещь, именуемая пра-культурой, пранародом и пр. Подобными же делами занимаются также многие археологи и даже целые школы. Мне кажется, что эти попытки не закономерны, что они нарушают основные принципы диалектической методологии.

Дальше, второй момент, на котором следует остановиться, это—вопрос о закономерности привлечения этнографического материала. Тут у докладчика опять-таки совершенно метафизическое восприятие самых этнографических явлений.

Прежде всего надо сказать, как мы понимаем этнографические явления. Если мы будем стоять на точке зрения так называемой этнологии, то я вполне солидаризируюсь с четвертым тезисом доклада, где квалифицируют этнологию как социологию второго сорта. Можно сказать еще точнее—как буржуазный суррогат научного обществоведения. Но если мы отмежевываемся от этнологии, то это еще не значит, что мы должны отмежевываться также от реальных этнографических фактов, которые наличествуют совершенно независимо от нашего сознания и от необходимости правильного их изучения.

Все дело здесь в том, что сами этнографы, поскольку почти все они стоят еще на базе этнологической методологии, мыслят изучаемые ими явления как синхронные, как данные вне исторической зависимости друг от друга. Они отрицают возможность исторического изучения этнографических явлений, ставя своей задачей дать только чистое описание их и классификацию. Отсюда корни противопоставления истории доистории. Не приходится долго доказывать, что «доистория» совершенно нелепый термин с точки зрения марксизма, так как не может быть ничего такого, что не имело бы истории. Речь может итти только о том, как эту историю изучать и реконструировать. От одних исторических эпох мы имеем письменные памятники, от других—бесписьменные. Поэтому методом этнографического исследования может быть только метод исторический, который рассматривает явление в его происхождении—становлении, развитии и уничтожении.

Исторические эпохи требуют особой методики исследования, особых приемов, но ни в коем случае не особой методологии. Мы не можем говорить об этнографических явлениях, что они не имеют истории; подобное утвержде-

ние противоречило бы марксизму. Само же этнографическое изучение, предмет этнографии, которая выступает как целый комплекс различных исторических дисциплин, мы мыслим как конкретное изучение (во времени и пространстве) социально-экономической формации. Когда мы говорим о формации, мы ее не мыслим в качестве отвлеченной сущности. В этом отношении и у докладчика, и у т. Киселева имела место сверхсоциологичность. Они хотели построить такую социологическую категорию, которая является настолько абстрактной, что она ничего общего не имеет с теми конкретными формами, которые реально существуют в действительности.

Поэтому, мне кажется, не случайной является формулировка пятого пункта, где речь идет о том, что археология, как и история, пользуется не этнологическими, но социологическими категориями, отвлеченными от всей совокупности известных сейчас индивидуальных процессов, индивидуализируя эти категории всеми признаками археологической реальности. Здесь налицо смешение у докладчика категории «конкретного» с категорией «индивидуального».

Я думаю, что здесь не место раз'яснять эти категории. Достаточно указать, что это совершенно особые категории и путать их не рекомендуется. Историку - марксисту всегда приходится и нужно иметь дело с конкретными фактами.

Теперь о закономерности сравнительного метода в историческом, этнографическом, археологическом и т. п. исследовании. Если мы подойдем диалектически к этнографическим фактам, к этнографическим явлениям и будем их сравнивать, тогда ничего страшного не будет. У вас речь идет о невозможности этого дела, о его имманентной незакономерности, а сравнивать между тем можно только с конкретными формами. Если вы сравниваете, например, какое-нибудь явление с материнским правом, то вы не сможете сравнивать его с материнским правом вообще, вам всегда приходится сравнивать с конкретными формами материнского права. Если вы будете говорить о феодализме, то вы ни с каким абсолютным феодализмом, феодализмом абстрактным, сравнивать не сможете, а должны сравнивать с его конкретными формами, с феодализмом, например, японским, английским и т. д. Это совершенно естественно. Почему нельзя сравнивать с какой-нибудь культурой? Я согласен, что этот термин «культура» может вообще запутать. Но если отвлечься от неудобства этого термина, то почему нельзя сравнивать те или иные вскрываемые археологией исторические комплексы с ныне существующими так наз. культурами, т. е. конкретными вариантами социально-экономических формаций? Я думаю, что это будет вполне закономерно.

Сравнительный метод и в частности метод наложения применять можно, но только разумно и в известных пределах, всегда имея в виду не только схождение, но и расхождение признаков. Если же подходить механически, т. е. попросту ставить знак равенства между формами археологическими и этнографическими, то получится резкое искажение исторической действительности. Вот, мне кажется, три момента, которые неправильно, недиалектически поняты и изложены докладчиком и его коллегами, вполне солидаризировавшимися с ним. Поэтому, хотя археология par excellence и является наукой материалистической, где самый материал кричит о необходимости материалистического подхода, тем не менее формулировки докладчиков, здесь нами заслушанные, не могут еще послужить базой для марксистского построения археологии как науки.

Дмитриев. Мы не отрицаем вспомогательного значения других дисциплин для археологии. Точно так же, как археология является вспомогательной наукой для этнографии и других наук, равным образом этнография является вспомогательной наукой для нас. Если сейчас говорили о самостоятельности археологии, этот пункт был направлен против этнологов и палеоэтнологов, которые говорят, что археология должна входить в состав этой науки, что археологии, как таковой, не существует. В этом отношении мы отстаиваем свое право. Надо сказать, что этому заседанию предшествовал диспут с палеоэтнологами и поэтому вполне понятно, что этот тезис сюда входит. Когда говорили о методе наложения, мы высказывали свою точку зрения, что нельзя поставить знака равенства и что археология должна вводить известные коррективы. В этом заключается смысл последнего тезиса, что археология может придать индивидуальность социологическим категориям. (Аптекарь: Конкретность).

Конкретность. Далее, только взаимным непониманием об'ясняется ваше утверждение, что мы хотим давать сверхсоциологические категории. Мы совершенно на это не претендуем, а наоборот, только и утверждаем, что археология может дать возможность конкретизировать эти категории для данной эпохи, данного места и для данной народности. Конечно, сравнивать с феодализмом вообще феодализм, который мы можем предполагать у какой-нибудь народности, мы не будем. Но дело в том, что разве категория феодализма исключает категорию родового строя и т. д.? Мы эти элементы, характерные для феодализма, можем проверять в некоторых случаях,—я не говорю, что везде возможно это сделать,—но можно проверять на археологическом материале. И когда мы эти элементы видим, мы можем иметь феодализм. А какая разновидность, какая фаза этого феодализма,—это опять-таки можно указать только на основании археологического материала. При этом как к вспомогательному материалу, можно прибегать к историческому, этнографическому и проч. Но сказать, что феодализм такой-то народности совпадает вполне с феодализмом, который мы восстанавливаем, потому что здесь одни и те же орудия производства, вообще одно и то же состояние производительных сил,—невозможно. Нельзя отрывать каждую формацию от исторической обстановки.

Теперь я возражу т. Дмитриеву-Кельда. Вы говорили о неполноте археологического материала. Конечно, тот материал, который до сих пор до нас дошел, во многом не может в настоящее время сыграть такую роль, какую мы хотим, потому что здесь важен метод археологических раскопок. Прежний метод для нас не совсем подходит. Мы не на то обращаем внимание, на что обращали старые исследователи. Старый материал для нас имеет значение, но сплошь и рядом является недостаточным, потому что он собран не теми способами, которые мы хотим применять. Например, при раскопке стоянок на что обращается внимание? Главным образом на быт, на орудия труда. Систематичность исследования точно так же важна для того, чтобы получить полный комплекс материала с одного и того же места. Если нами будет исследован земной шар нашим методом, у нас материал будет обладать большей точностью.

Никольский. Заслушанный доклад показывает, что в наши дни даже в таких, казалось бы, «допотопных» науках, как археология, мы встречаемся с большой переоценкой ценностей. Поскольку это движение еще очень молодо, приходится относиться к первым его шагам хотя и критически, но учитывая то, что оно еще не созрело.

В прениях уже отмечалось, что это движение идет не против старых систематиков, а против палеоэтнологов, которые, видимо, рассматривают себя тоже как новое направление. Приходится жалеть, что палеоэтнологи здесь не выступали. Благодаря этому здесь прозвучали только отзвуки той дискуссии, которая протекала не в этих стенах. И так как большинство присутствующих с ней недостаточно знакомо, то, само собой разумеется, тут возможна некоторая неясность в понимании.

Затем в процессе обсуждения всплыл ряд моментов, которые докладчик не осветил и которые в тезисах не фигурировали. Выяснилось, что, по мнению докладчика, нужно координировать свою работу с антропологами, с лингвистикой. Дальше выяснилось, что новое течение идет не против этнографии. Однако т. Арциховский отводил в своем докладе необычайно маленькое место этнографии. Он не использовал (как использовали в старые годы те систематики-археологи, против которых он выступал) возможности сравнивать орудия, найденные при раскопках, с орудиями, найденными в живых современных обществах. Потом он совершенно не отметил, что надо определить высоту этих обществ, их формацию и сравнение вести именно с соответствующими формациями, так как только такое сравнение и может быть тут пригодно.

Никоим образом не следует думать, что археологам можно обойтись без сопоставления своего материала с этнографическим: надо лишь методологически правильно это сравнение проделывать.

Конечно урабунна нельзя искать в десятом тысячелетии, но мы можем искать основной каркас общества урабунна. Почему мы ищем этот каркас? Да потому, что не построена окончательно социально-экономическая формация, к которой относится урабунна. Мы имеем лишь недоделанный каркас этой формации. Когда будет совершенно доделан каркас, нам легче будет понимать и чисто археологический материал. Но и здесь придется пользоваться теми вариантами в живых обществах, которые устанавливает этнография. В этом отношении страх перед продолжением этого сопоставления мне представляется просто недоразумением. Конечно, если все данные в отношении урабунна или австралийской группы в целом перетащить в переходную эпоху от палеолита к неолиту и поставить знак равенства, это будет неправильно, это будет гипс. Но если мы основные штрихи переносим в эту переходную эпоху, мне кажется, что это будет играть роль отнюдь не гипса, а той связки, которая восполнит недостаточно полный археологический материал. Конечно такое восполнение может быть только из соответствующей экономической формации. Разумеется, перекидывать австралийский материал на неандертальское общество мустьерской культуры будет абсолютно неправильно. Но мы вправе проделывать сравнение, о котором говорил т. Кушнер. От такого сравнения будет, конечно, взаимная польза и для этнографов и для археологов. И тогда, мне кажется, мы получим некоторые коррективы к тезисам докладчика.

Если итти методом восхождения от орудий труда к системе производительных сил и производственных отношений, не используя весь этот добавочный материал смежных дисциплин, мы конечно к цели не дойдем. Ведь самая система производительных сил не так-то легко восстанавливается только по археологическим материалам. Мы даже назначение отдельных орудий, относящихся к палеолитической или другой эпохе, не можем установить определенно на основании только археологического анализа. И как ни велики

новые успехи технологического анализа в археологии, они недостаточны. Что касается тех отношений, которые в процессе производства возникают, здесь, конечно, обойтись одним археологическим материалом было бы сейчас слишком рискованно. Здесь элементы и исторические, и пережиточные, и фольклорный материал, и лингвистический, и антропологический и этнографический сыграют настолько важную роль для археологии, что практически ни один здесь присутствующий археолог не будет отрицать этой пользы, так как никакой исследователь не сможет пренебречь лишним источником, который кидает новый свет на изучаемый им материал. Но если в отношении практики и наш докладчик и его содокладчики пойдут именно этим путем, то и теоретически они должны признать, что слишком переоценили мощь работы археологов.

Дальше. Когда вы пойдете по пути только археологического анализа, только этим методом восхождения, вы не учтете различия между социально-экономической формацией и конкретным обществом. Вы совершенно не коснулись вопроса, как создается категория социально-экономической формации. Между тем при построении ее отправным пунктом служат конкретные общества. И вот в данном-то случае письменная история и этнография поставлены в гораздо более благоприятные условия, чем археология. Поэтому эти научные дисциплины всегда будут для установления самой категории социально-экономической формации играть, мне представляется, основную роль по сравнению с археологией. Что касается социально-экономических формаций, о которых т. Брюсов правильно говорил, что они на этнографическом материале никак сконструированы быть не могут (скажем, низший палеолит и т. д.), то мы не можем их определять, не мобилизуя материал лингвистики и, в первую голову, не используя материал пережиточный, который дает этнография. Мы идем, как указывал т. Кушнер, от современного, от знакомого и постепенно нисходим в самые глубины. Даже для отдаленнейших эпох при их крайней бедности археологическими памятниками мы не только социально-экономической формации, но и самого общего очерка общественных отношений не дадим, сочетая этот прием «восхождения» с приемом «нисхождения».

Здесь было допущено выражение: «археология и история—параллельные науки». Если понимать это выражение буквально, оно абсолютно неприемлемо. Оно терпимо лишь, если под историей мы стали бы понимать только часть истории общества—письменную историю. Тогда мы могли бы сказать, что есть история преимущественно (но не исключительно) или на археологическом (можно назвать это археологией), или на этнографическом, или на письменном материале. Во всяком случае археология должна быть равноправной с этнографией. Попытки же основать новую дисциплину—палеоэтнологию—являются совершенно неприемлемыми. Конференция этнографов (в апреле 1929 г.) в Ленинграде показала неприемлемость для советской науки и одной «этнологии», этого буржуазного «суррогата марксистского обществоведения». Палеоэтнология является суррогатом вдвойне. Она еще более искусственна, еще менее приемлема. Сегодняшнее выступление докладчиков против нее следует признать ценным и актуальным.

Я пожелал бы новому направлению и впредь быть дальше от палеоэтнологии и вступить в более тесную связь, на основе равноправия, с этнографией, лингвистикой, антропологией, признавая вместе с ними гегемонию истории общества, в свою очередь руководящейся теорией исторического ма-

териализма. Тогда неминуемо сгладятся те неточности, неувязки и ошибки, которые неизбежны при первых шагах в новом направлении. Тогда можно будет изжить и наиболее крупный минус нового течения в археологии: нечеткое различение социально-экономической формации от ее вариантов—конкретных обществ. Мы твердо можем быть уверены, что уже в ближайшее время археология, переведя свою работу на рельсы исторического материализма, внесет много нового в историю человеческого общества, во все экономические эпохи его развития, в особенности же в эпохи древнейшие, «бесписьменные».

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Откуда т. Дмитриев взял, что мы отмахиваемся от социологии? Наоборот, вся задача доклада в том, чтобы все барьеры, которые между археологией и социологией существуют, по мере возможности уничтожить. Только что он говорил о самоубийстве лингвистики. Уверяю вас, что мы такие же археологи-самоубийцы, мы стремимся подчинить археологию социологии, но в отличие от старой школы, о которой мы говорили,—социологии, но не этнологии. Вы только что сказали, что социология не дает материала для тех глубин, по которым работает археология. С таким сужением социологии мы никогда не согласимся. Вы считаете, что для глубин археологии дает материал этнология. Таким образом ваша этнология есть социология второго сорта, социология для бедных, т. е. конечно для бедных культур. Социология едина.

Самостоятельная и несамостоятельная наука—что это такое? Ни одна общественная наука от социологии самостоятельной быть не может, в этом смысле все общественные науки несамостоятельны.

Но археология в такой же мере самостоятельная наука, как этнография, история и т. д. Тов. Кушнер тоже говорил про нас, что мы отмежевываемся от социологии и даже от истории. Но мы с палеоэтнологами именно и сражаемся главным образом потому, что они забывают конкретную историческую обстановку. От социологии мы никогда не отмежевываемся, и конечно огромный этнографический материал мы воспринимаем.

Мы не Робинзоны. Огромный материал, переработанный социологией, мы воспринимаем, но только переносить этнографическую реальность в археологию мы не можем. Вы говорили, что мы в своем докладе избрали слишком хрупкую мишень. Если это хрупкая мишень, то тем хуже для наших противников. Но сейчас этот самый метод наложения—существеннейшая опасность, крупнейшее препятствие для развития новой социологической археологической науки.

И я должен присоединиться к тому, что сейчас говорил т. Киселев.

Что касается т. Аптекаря, то ему по целому ряду основных линий уже ответил т. Дмитриев 2-й, прошу не смешивать.

Разрешите остановиться на примере: русские на севере Якутии. Мне кажется, этот пример направлен не против нас, а против палеоэтнологов. Это они на основе того, что у русских на севере Якутии такие же орудия, как у якутов, будут утверждать, что надстройка должна быть одинаковая. А наше основное положение—конкретная историческая обстановка. Кроме того, мне кажется, полное совпадение производительных сил у этих русских и у якутов невероятно.

Относительно социологических категорий. Тов. Аптекарь упрекает меня и Киселева в том, что мы создаем социологические сверхкатегории. Он повторяет бесспорную истину, что в социологии категории являются не чем-то абстрактным, а совокупностью конкретностей. Я эти слова и употребил: «совокупность конкретностей» в ответе на вопрос т. Аптекаря. Мы говорим не об отвлеченности, а об отвлечении от индивидуальных процессов. Смешивать эти понятия можно только для игры слов.

Социологическая категория не есть нечто существующее метафизически. Когда вы нас упрекаете в том, что мы верим в такую метафизическую сущность, то мне вспоминается средневековый спор номиналистов и реалистов, но я вас уверяю, что мы не такие средневековые люди и вы тоже. Мы требуем, чтобы археологический материал оживлялся социологической категорией, которая есть совокупность конкретностей этнографических, археологических, исторических и т. д.

Теперь слово «древний». Оно у нас не является принципом. Археология может изучать и XIX в. и XX в., она должна быть той критической историей технологии, о которой говорил Маркс.

Наложение этнографических конкретностей в археологии мы отрицаем; это—главная опасность в нашей науке. Отрицая наложение, мы вовсе не протестуем против сравнения. Но сравнение никогда не бывает доказательством.

ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ

Л. Мамет

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ [1]

Моей задачей является показать ту роль, которую может и должно сыграть историческое образование в общественно-политическом воспитании. Изложение поэтому, естественно, разделяется на несколько частей. Во-первых, нужно сначала договориться о том, что мы понимаем под общественно-политическим воспитанием, какую роль мы отводим ему в системе всего воспитания. Нужно дальше проанализировать, справляется ли наша школа с задачами общественно-политического воспитания, и если нет, то почему. И, наконец, нужно показать, какую роль правильно поставленное историческое образование может сыграть в общественно-политическом воспитании.

Задачи общественно-политического воспитания определяются тем местом, которое наша школа должна занять во всей системе социалистического строительства, в выполнении тех задач, которые стоят перед нашим пролетарским государством. Задачи общественно-политического воспитания в школе непосредственно вытекают из того положения, в котором мы находимся в данный момент. Для того чтобы яснее стал вопрос о задачах общественно-политического воспитания нужно эти задачи увязать с ходом классовой борьбы в нашей стране вообще и с борьбой на идеологическом фронте в особенности. XV с'езд партии в резолюции по отчету ЦК следующим образом характеризовал положение:

«Несмотря на ведущую и все возрастающую роль социалистического хозяйственного ядра, под'ем производительных сил экономики СССР неминуемо сопровождается частичным нарастанием классовых противоречий. Частнокапиталистические слои города и деревни, смыкающиеся с некоторыми бюрократическими элементами советского и хозяйственного аппарата, стремятся усилить свое противодействие наступлению рабочего класса, пытаются оказывать враждебное пролетарской диктатуре влияние на определенные слои служащих и интеллигенции, на отсталые слои кустарей и ремесленников, крестьян и рабочих. Это влияние проявляется также в области культурно-политической и идеологической» [2].

[1] Из доклада в Методической секции с-ва историков-марксистов 26 окт. 1929.
[2] XV С'езд ВКП (б), стенографический отчет, с. 1283.

Это решение XV с'езда четко указывает на те линии, по которым развертывается классовая борьба. Несомненно, в этой классовой борьбе, которая идет в нашей стране на идеологическом и хозяйственном фронтах, вопрос о подрастающем поколении, вопрос о смене является основным вопросом. Естественно, что классовый враг направляет свое внимание в первую очередь на то, чтобы, если не прямо получить подготовку смены в свои руки,—то во всяком случае в той или иной степени провести в школу свое влияние, свои указания и по возможности поставить школу на службу себе. В классовом обществе,—а мы живем еще пока в классовом обществе,— политические задачи, которые стоят перед господствующим классом—перед пролетариатом—никак неотделимы об общественно-воспитательной работы в школе. Мы имеем на этот счет точную и четкую директиву в программе нашей партии. Собственно говоря, весь вопрос об общественно-политическом воспитании давно решен в программе нашей партии, решен принципиально. Но на практике, к сожалению, это решение еще недостаточно проводится в жизнь. Программа нашей партии, в 12-м пункте, вопрос о народном образовании ставит следующим образом:

«В области народного просвещения РКП ставит своей задачей довести до конца начатое с Октябрьской революции 1917 года дело превращения школы из орудия классового господства буржуазии в орудие полного уничтожения деления на классы, в орудие коммунистического перерождения общества. В период диктатуры пролетариата, т. е. в период подготовки условий, делающих возможным полное осуществление коммунизма, школа должна быть не только проводником принципов коммунизма вообще, но и проводником идейного, организационного, воспитательного влияния прлетариата на полупролетарские и непролетарские слои трудящихся масс в целях воспитания поколения, способного окончательно установить коммунизм».

В этих словах программы нашей партии выявляются общественно-политические задачи воспитания. Они сводятся к тому, что школа должна быть активной наступательной силой, которая должна переработать и элементы, близкие нам, и попутнические, и подготовить поколение, способное построить коммунизм. Здесь развивается мысль о том, что задача школы сугубо политическая, что школьная работа есть политическая работа. Недаром Владимир Ильич говорил о том, что школьный учитель должен стать агитпропом партии в деревне, что школа есть участок политической борьбы. Эта мысль неоднократно подчеркивалась Владимиром Ильичем в его выступлениях: «Наша школа,—говорит Ленин,—должна давать молодежи основы знания, давать умение вырабатывать самим коммунистические взгляды, должна делать из них образованных людей. Она должна за то время, пока люди в ней учатся, делать из них участников борьбы за освобождение от эксплоататоров». И несколько дальше: «Наше воспитание

нужно соединить с борьбой трудящихся против эксплоататоров для того, чтобы помогать первым решать те задачи, которые из учения коммунизма вытекают»[1].

Таким образом общая установка задач общественно-политического воспитания дана и в программе, и в решениях нашей партии, и во многих выступлениях Владимира Ильича. Но нужно конкретизировать эти задачи общественно-политического воспитания применительно к той эпохе, которую мы сейчас переживаем. Основная задача, которая выдвигается сейчас перед школой, как орудием пролетарской диктатуры, есть подготовка, выражаясь словами программы, «людей, которые построят коммунистическое общество». Значит, перед нами стоит задача дать такое воспитание в школе, которое дало бы нам людей, не только способных в потенции быть членами этого коммунистического общества, но которые должны быть активными его строителями, активными революционерами. Прежде всего, революционер—это человек, всецело преданный революции и социалистическому строительству, человек, умеющий свой личный интерес, свои личные потребности, свои личные чаяния подчинять коллективным потребностям, потребностям общества, потребностям социализма. Вот это основная задача, которая стоит перед нами в этом отношении.

Когда мы говорим о подготовке строителей социалистического общества, мы понимаем этот термин во всей широте. Не только делового человека, не только «советского американца» нужно готовить, который умеет ориентироваться во всяких делах, который технически грамотен и т. д. Если бы мы только к этому свели задачи подготовки строителей социализма, то наши задачи ничего социалистического, ничего коммунистического в себе бы не заключали. Деловой человек—это еще не есть человек социалистического общества. Очевидно, поколение, которое мы готовим в школе, должно уметь соединять свою практическую работу по социалистическому строительству с марксистской теорией. Без революционной теории нет революционного движения. Поэтому вторая сторона единой задачи общественно-политического воспитания заключается в том, чтобы дать марксистско-ленинское воспитание. Если мы хотим воспитать людей, которые умеют различные свои задачи, свою непосредственную работу связывать со всей системой общей работы, которые умеют мелочи поставить в систему великого, то для этого им нужно дать определенное мировоззрение, надо, чтобы будущий строитель социализма, которого мы в нашей школе создаем, умел связывать каждый свой шаг с задачами пролетарской революции, чтобы он за деревьями не проглядел леса, чтобы он за отдельными задачами, как бы они важны ни были, не проглядел тех великих задач социалистического строительства, революционной борьбы, в которую мы уже вступили и которая нам еще предстоит.

[1] Ленин, Собр. соч., т. XVII, с. 325 327.

Естественно, что для выполнения этих задач нужна определенная идеология, определенная политическая направленность, которые мы должны дать при подготовке наших школьников. Я хочу отметить только два важнейших момента из этой категории. Во-первых, остановлюсь на вопросе интернационального воспитания.

Грош цена будет всем нашим разговорам о коммунистическом воспитании, о социалистическом воспитании и строительстве социализма, если мы не сумеем вырвать наших учащихся из национальной ограниченности, в которой они еще в значительной степени пребывают, и вывести их на дорогу интернациональной работы, интернациональной борьбы, научить наших учащихся связывать каждый шаг своей работы с задачами международной пролетарской революции. Если к этому прибавить еще, что весь наш Союз есть тоже своеобразный интернационал, заключающий десятки, если не сотни, национальностей, то задача интернационального воспитания получает еще большее значение.

Затем, что не менее естественно, выдвигается задача антирелигиозного воспитания, о котором скажу ниже.

Таким образом вкратце задачу общественно-политического воспитания можно свести к следующему: воспитание борцов, строителей, революционеров, воспитание марксистское, идеологически выдержанное, воспитание интернациональное и антирелигиозное.

Когда мы говорим о роли истории в общественно-политическом воспитании, очевидно, нужно проследить, насколько могут содействовать именно такому воспитанию исторические знания и насколько для этого исторические знания необходимы. Но сначала посмотрим, насколько наша школа справляется с задачами общественно-политического воспитания, насколько наша школа действительно умеет связывать свою практическую работу с задачами социалистического строительства.

Я выдвигаю положение, что в основном наша школа своих задач общественно-политического воспитания не выполняет. Получается чудовищный разрыв между теми задачами, которые перед школой стоят, между теми потребностями, которые школа должна удовлетворить, между теми запросами, которые к школе пред'являет вся наша революция, и тем, что школа на практике, в жизни, дает. Школа не дает того действительно марксистско-ленинского, революционного, интернационального воспитания, которое нужно дать подрастающему поколению. Как бы отдельные школы или отдельные учителя ни хотели оторвать свою работу от политики, как бы они ни хотели подчеркнуть, что перед ними стоит задача «чистого» воспитания и пр., но все-таки вся эта воспитательная работа, вся школьная работа есть политическая и классовая работа. И если мы констатируем, что школа не справляется с теми общественно-политическими задачами, которые перед ней стоят, то это значит, что мы стоим перед громаднейшей опасностью,

что в школе воспитываются такие люди, которые могут оказаться вредными. Не желая делать обобщений, я все-таки хочу указать на то, что при том положении, которое мы имеем в школе, мы часто воспитываем своих классовых врагов.

Из школы ребята выходят без достаточно четкой идеологической направленности, они выходят, не сознавая того места, которое они должны занять в жизни, они выходят из школы, выражаясь старым термином, лишними людьми.

Я хочу сначала привести несколько примеров, касающихся разных школ как столичных, так и провинциальных, которые говорят о том, что на этом фронте у нас крайне неблагополучно. Школа отрывает наших ребят от жизни. Вместо того, чтобы связывать их с жизнью, вместо того, чтобы вводить ребят в жизнь и подготовлять людей, непосредственно по окончании школы могущих войти активными участниками в эту жизнь, наша школа отрывает ребят от жизни и в момент окончания ее наш подросток больше оторван от жизни, чем когда он в эту школу вступил. Первое, что обращает на себя внимание, это то, что оканчивающие школу ребята оказываются беспомощными, оторванными от определенной среды. В результате среди оканчивающей нашу школу молодежи появляется упадочничество, недовольство собой, поиски выходов,—настроения, которые заходят иногда очень далеко.

Вот, например, корреспонденция, относящаяся к 1928 году, касающаяся одной провинциальной школы: «Ученица выпускной группы II ступени (т. е. девушка, которая кончает школу и должна войти в жизнь), начитанная, развитая девушка, но очень мало знакомая с жизнью, не удовлетворялась общественной работой в школе, развернутой, правда, в узких, ограниченных размерах. Желание использовать свою энергию, желание деятельности побуждает ее с группой своих соклассников создать общество «Возрождение древнегреческой культуры». Прием в члены производился с большой мистической торжественностью: произносилась клятва с громкими фразами о чести, крови и жизни, все вступавшие получали по своему выбору греческие имена. Собрания проводились с различными конспиративными предосторожностями и посвящались вопросам древнегреческой культуры, в очень оригинальном, неприемлемом в наших условиях толковании»[1].

Когда это дело было раскрыто, то все прелести конспирации отпали, и организация эта развалилась.

Из Сибири сообщают, например, о существовании под легальной формой общества «ОДН» организации «долой нравственность», которая развертывает большую подпольную работу в школе.

[1] «Революция и культура» № 5, 1928, с. 54.

Количество этих фактов можно было бы значительно увеличить. О чем они говорят? Конечно, можно указать на влияние внешкольной среды, но все же показательно, что эти случаи происходят в школе, что если даже это влияние среды, то школа не дает ничего такого, что изменило бы эти настроения и это влияние, а наоборот, она очень часто их культивирует.

В одном подпольном журнале (тоже провинциальной школы), где был резко выражен культ Есенина, девушка, оканчивающая школу, входящая в жизнь, пишет стихи, которые показывают, с какими настроениями она входит в эту жизнь. Стихи такие:

В прекрасный мир к тем голубым чертогам
Ушел недаром юноша, великий наш поэт,
И может быть прославленный там богом
Воспел он дивный мир и спел ему сонет.
Уйти в тот мир хочу и я скорее,
Но слишком слабым создан человек.
И очень, очень многим жизнь на земле милее,
Каков бы ни был грязный пошлый свет». [4]

Вот с какими настроениями наши ребята оканчивают школу.

В Оренбурге (Оренбург—не любой провинциальный городишко, а более или менее крупный культурный центр) обследуется лучшая школа II ступени им. Шевченко. Вот материалы этой школы: «На уроке происходит заключительное занятие по теме: «Гражданская война». Говоря об «учредиловке», один из учащихся безапелляционно заявил, что «Учредительное собрание потому собралось, что этого хотел народ». Преподаватель и все учащиеся молча «проглотили» это «желание народа». Дальше разбиралась революционность партий, выставлявших своих кандидатов в «учредиловку». Один из учащихся выступает с таким заявлением: «Самой революционной партией в Учредительном собрании были левые эсеры». И левые эсеры были «с'едены» без возражений и рассуждений. Как и кем была установлена советская власть и почему было распущено Учредительное собрание—об этом ни единого звука. Чехо-словацкое восстание, по словам «обществоведа», произошло просто: «по соглашению с Францией». «Чайковский—старый революционер-народник» (ни слова о его контрреволюционной деятельности на севере СССР). Не была раз'яснена и ошибочность «брестского» лозунга Троцкого: «Ни войны—ни мира», хотя о нем и упоминалось на занятиях. Избирать и быть избранным в советы, согласно раз'яснению обществоведа, «имеют право все» (ни слова о кулаках, нэпманах и прочих нетрудовых элементах). К сказанному нужно добавить, что это занятие происходило в выпускной группе.

[4] «Революция и культура» № 13 за 1928, с. 53.

В той же школе работала обществоведом преподавательница, окончившая года три тому назад Восточный педагогический институт, с обществоведческим уклоном, в г. Казани.

На ее заключительных занятиях по истории классовой борьбы и политэкономии можно было узнать, что «Коминтерн внешне построен так же, как I и II интернационалы»; на уроке политэкономии: «Прожиточный минимум рабочего в капиталистических государствах определяется содержанием семьи в 5 человек» (чем не рай земной?), а прибавочный продукт никогда не меняется в своем количестве, «если даже время прибавится»,— бессмысленно ответил один из учащихся, и с ним как преподаватель, так и остальные учащиеся молчаливо согласились»[5].

Эта корреспонденция из Оренбурга кстати должна научить нас более внимательно присмотреться к тому, как готовят в Казанском институте обществоведов.

Помимо упадочных настроений, оторванности от жизни, приходится отмечать и активное проявление несоветских настроений. Так, в Ленинграде, в Выборгском районе, среди учащихся ходила такая записка: «Смотри туда, смотри сюда, везде увидишь ты жида». Это в Ленинграде, в Выборгском районе!

В Москве обследование одной школы—3-й и 4-й групп—дало такие результаты. В 3-й группе обследовано было 43 пионера. Из них 11 дали ответы антисемитские, ответы националистические—19 и интернациональные ответы из 43 пионеров дали только 12. Это среди пионеров. Среди же остальных школьников, не-пионеров, получились такие ответы: националистических и антисемитских 76, националистических—226 и интернациональных только 50.

В 4-й группе из 345 школьников—79 пионеров. Данные таковы. Среди 79 пионеров ответы националистические и антисемитские дали—18, националистические—41, интернациональные только 20, а среди остальных школьников ответов националистических и антисемитских—64, националистических—173, интернациональных только 29.

Тут опасность заключается еще вот в чем. Когда мы берем данные в процентах по 3-й и 4-й группам, то оказывается, что процент интернациональных ответов в третьей группе 16, а в четвертой группе только 14. Значит, процент от 3-й к 4-й группе понизился.

Примерно такое же положение и с вопросом антирелигиозного воспитания. Институт методов школьной работы опубликовал краткие сведения из 10 тыс. анкет по обследованию идеологии школьников. Из этих 10 тыс. анкет три тысячи относятся к учащимся 6-й и 7-й групп. Оказывается, что значительная часть учащихся по окончании школы сохраняет воззрения той

[5] «Революция и культура» № 19, за 1928 год, с. 61.

социальной прослойки, к которой они принадлежали до школы. Т. е. школа абсолютно никак не влияет на их идеологическую направленность.

В Москве в прошлом году выборочное обследование школ II ступени показало, что 30% учащихся были заражены религиозной идеологией. Эти 30% при большей конкретизации дают еще более интересные данные. Так т. Пистрак, один из руководящих работников Наркомпроса, сообщает, что учащиеся, кончающие семилетку и девятилетку, на 30—40—50% религиозны. В декабре 1928 года обследована одна хорошая московская школа с педагогическим уклоном—8-я и 9-я группы. В этой школе из 126 человек 26 верующих, 6 колеблющихся и 93 неверующих. Это не типичная школа, а одна из лучших[6]. А вот, каково положение в массовой школе.

К 10-летию Октябрьской революции в одной московской школе анкеты среди ребят показали, что в бога верят 30,3% мальчиков и 54,6% девочек, причем значительная часть из них активно верующие, посещающие церковь—девочек 45,4% и мальчиков—21,4%.

В Ленинграде, в Выборгском районе в 154 и 194 школах существовали баптистские школьные религиозные об'единения. О провинции и говорить не приходится. Так из Мелитопольщины сообщают, что там в ряде сел 90% учащейся молодежи в школе—баптисты. В Воронеже в дни религиозных праздников школа пустует на 50—60%. В 15 школах Воронежа в день Рождества из 3 085 школьников 37%, т. е. 1 328 не явились в школу. Но это средняя норма. А по отдельным школам этот процент неявившихся поднимался до 60. В Замоскворецком районе в одной из школ в 1-й группе из 37 учащихся религиозных 23, а в 7-й группе из 32 учащихся религиозных 17.

Особенно опасным является то, что эти данные о несоветских настроениях ребят имеют тенденцию к росту в старших группах. Вот в Замоскворецком районе, в одной школе: в 4-й группе среди учащихся верующих 25%, а в седьмой группе 55%. В Перми, в 1-й группе 28% а в 4-й группе 34%, т. е. процент религиозности имеет тенденцию к повышению в старшей группе.

Все это говорит о том, что наша общественно-политическая работа в лучшем случае равна нулю. Можно было бы думать, что я тенденциозно подобрал эти данные, что эти данные не показательны для всех наших школ в целом. Поэтому я сошлюсь на авторитет человека, которого никак нельзя заподозрить в тенденциозности, на статью т. Пистрака. Эта статья является как бы итоговой и составлена на основании материалов Наркомпроса. Вот что утверждает т. Пистрак: «...Школа не могла противостоять напору чуждой нам идеологии... она оказалась слабым участком и не могла отстоять нашу молодежь от чуждой нам идеологии»[7].

[6] «Обществоведение в трудовой школе» № 3—4, 1929 г., с. 13.

[7] «Обществоведение в трудовой школе» № 3—4 за 1929 г., с. 17.

Вот это обобщение т. Пистрака, руководителя Главсоцвоса, идет в тон с теми фактическими материалами, которые приведены выше.

Где искать причины этого печального явления? Было бы неправильно искать причин этого явления только в педагогическом кадре, в том, что учителя не годятся. Есть, конечно, и этот грех. Очень много осталось учителей от старого, очень много людей, не приспособленных к нашей работе, но не в этом главное. Главное в том, что наша школа оторвана и от жизни и от социалистического строительства. Вместо того, чтобы, согласно требованиям партийной программы, школа была проводником идеологии пролетариата, вместо этого на самом деле наша школа часто становится оружием в руках нашего классового врага и оставляет подрастающее поколение совершенно безоружным перед его лицом.

Я не стану сейчас приводить систему мероприятий, которые должны были бы излечить школу от этого недуга,—это не входит в задачи настоящей работы. Тут можно было бы указать на осуществление политехнической школы, на оживление общественно-политической работы, на установление тесной органической связи школы с общественностью и с производством, на создание новых педагогических кадров, с одной стороны, на переподготовку имеющихся педагогических кадров—с другой, и т. д. Но когда мы говорим об общественно-политическом воспитании, то, несомненно, ведущую роль в этом общественно-политическом воспитании должно играть обществоведение. Не подлежит никакому сомнению, что обществоведение должно быть в наших руках одним из важнейших орудий политического воспитания. И вот посмотрим, является ли обществоведение таким политическим орудием в наших руках.

Вместо того, чтобы быть боевым, воинствующим политическим оружием, обществоведение на деле оказалось беззубым, немощным, из него было выхолощено все революционное содержание, и оно оказалось поэтому беспомощным перед лицом тех задач, которые перед ним стоят. Больше того, очень часто обществоведение оказывалось в руках классового врага мягким воском, из которого он мог лепить все, что ему угодно. Казалось бы, обществоведение насыщено современностью,—ведь на каждом шагу из программы по обществоведению эта современность как бы прет. Но, между тем, на деле обществоведение не дает ребятам понятия о нашей революционной современности. Формально обществоведение все пронизано современностью, но на самом деле оно стоит очень далеко от нее. И это об'ясняется тем, что современность в обществоведении взята статически, взята как ряд отдельных фактов, отдельных явлений, которые нужно изучить, но современность не взята как определенный общественно-исторический процесс, который нужно понять, осмыслить и стать его активным участником. Даже в 5-й группе, которая посвящена проблеме деревни и вся программа которой построена на деревенском материале, ребятам не дают представления о

классовой борьбе в деревне, о задачах этой борьбы, о задачах колхозного и совхозного строительства, и в связи с этим, конечно, не дают ребятам нужной идеологической направленности. Обществоведение, толкующее на каждом шагу о современности, на самом деле, на практике оторвано от этой современности, причем это фактическое положение некоторые пытаются превращать в известную закономерность, что так оно и должно быть. Некий плодовитый методист, например, это положение, эту оторванность обществоведения от важнейших актуальнейших политических задач современности стремится ввести в известную норму. Он пишет: «Следует избегать трудных, недоступных ребятам тем, не разработанных даже специалистами вроде... «мощность крестьянского хозяйства, его бюджет». Очень осторожно следует городским детям подходить к расслоению деревни. На этом вопросе ломают себе головы и специалисты» [8].

Выходит, что так как специалисты ломают на этом себе головы, то детям тем более преподносить это нельзя. К чему тогда сводится изучение современности в деревне? — К тому, как работают в исполкоме, какие имеются в исполкоме отделы, и т. д., то есть берется факт, оторванный от всего того революционного социалистического окружения, в котором он находится. Так обстоит дело с материалом современности.

Но не лучше обстоит с материалом историческим. Он в наших программах клочковат на первом концентре, схематичен на втором и не дает ребятам решительно никаких моментов для выработки революционного марксистского мировоззрения, а значит, не содействует революционному пониманию современности.

Для того чтобы подтвердить эти выводы, я хочу сослаться на обследование одной школы, которое я по поручению Гуса проводил весной этого года. Обследована не типичная московская школа,—она лучше и сильней, чем обыкновенная школа. Для характеристики ее достаточно сказать, что эта московская школа наполовину состоит из детей рабочих,—в центре Москвы такая школа не на каждом шагу встречается; другая половина детей—дети служащих; детей не-трудящихся в этой школе нет; притом очень большое количество детей—дети ответственных партийных работников. Так что в смысле детского состава в школе довольно благополучно. Педагогический состав не может вызвать никаких возражений вообще и в особенности по обществоведению. Школа имеет родительскую коммунистическую фракцию в 125 человек, активно работающих и собирающихся, во главе этой фракции стоит старый партийный авторитетный работник. Многие ли школы могут похвастаться такой коммунистической фракцией? Сама школа имеет свою довольно большую комсомольскую ячейку,—а ведь

[8] Ст. Б. Жаворонкова, Изучение деревни городскою школою II ступени; в «Трудах II МГУ».

немногие школы имеют свою собственную комсомольскую ячейку,—имеется большая пионерская организация. Так что внешне, казалось бы, все должно говорить за то, что в этой школе все обстоит благополучно. Вот некоторые результаты обследования этой школы. В школе была проведена анонимная анкета, и ответы на вопросы учащихся этой школы довольно показательные. Ответы дали 158 ребят, начиная от 5-й и до 9-й группы. Был поставлен вопрос: «кем бы ты хотел быть?» Вот какие получались ответы. Из 158—101 человек хотят быть инженерами и техниками; если сюда прибавить желающих быть агрономами, врачами и желающих просто учиться, то получается, что почти все учащиеся школы хотят по окончании школы еще учиться. Это говорит о том, что ребята почти совершенно не подготовлены к выходу в жизнь. Есть, правда, некоторые исключения. Например, шесть человек указали, что они хотят быть по окончании школы рабочими,—это дети 5-й и 6-й групп. В 7-й, 8-й и 9-й группах эти «рабочие» настроения совершенно исчезают.

Кто хочет быть общественно-политическим работником? Есть такие ответы: «Хочу быть революционером, политическим работником» и т. д. Таких ответов есть несколько в 5-й, 6-й группах; начиная от 7-й группы это общественно-политическое настроение школьников опять-таки исчезает. Конечно, если ребята хотят быть инженерами и т. д., возражать против этого нельзя, но если учесть, что очень небольшой процент учащихся наших школ может попасть в вуз, чтобы стать инженерами, а большинство должно входить в жизнь сразу после окончания школы, то такое настроение, когда ребята старших групп не думают о том, что они будут делать по окончании школы, говорит о том, что их, вероятно, не готовят к этому.

Я бы мог продемонстрировать некоторые ответы, характерные в этом отношении. Мальчик пятнадцати с половиной лет из 8-й группы на вопрос, кем бы он хотел быть, отвечает: «В данное время, когда так трудно о чем-либо думать, а тем более располагать, я затрудняюсь ответить на этот вопрос».

Девочка, дочь монтера, пятнадцати лет на этот вопрос отвечает: «Мне очень нравится должность юриста и действительно, как хорошо, ведь иногда все дело (учреждение, люди) находятся в твоих руках, твое одно слово, и все будет сделано. Но если бы были шахматные курсы, то я бы поступила на них. Играя, я думаю, что предо мной сидит великий противник, а фигуры—это моя защита, а я двигаю все это».

Как видите, в школе развиваются настроения индивидуалистического порядка. Приведу ответы на другой вопрос, очень характерный, для того, чтобы показать, какие настроения имеются у детей. Вопрос такой: «Что бы ты сделал, если бы в твоем распоряжении было много денег?» Нужно ска-

зать, что в этой школе в большинстве случаев ребята сдают деньги на общественные нужды, но очень немногие сдают все, причем интересно, что процент сдающих на общественные нужды понижается в старших группах: в 7-й группе—54%, в 8-й—52%, в 9-й—34%. Ответы на этот вопрос показали, что чем старше становится школьник, тем он больше осмысливает значение «монеты» и не хочет ее отдавать. В этой школе есть дети крестьян, и интересно, что они хотят сделать с деньгами. «Если бы в моем распоряжении была большая сумма денег, то я купил бы дом в деревне, завел бы все нужное для хозяйства, а оставшиеся деньги положил бы в сберкассу».

Я думаю, что такой ответ не нуждается в комментариях.

В анкете был вопрос об отношении к евреям, татарам и т. д. Тут характерно, что сравнительно немногие (примерно не больше 20%) дают неудовлетворительный ответ в смысле политическом, но характерно, что даже дающие удовлетворительные ответы дают такую мотивацию, которая сводит на-нет удовлетворительность ответа. Вот один из таких ответов: «Я их (евреев) не то, что ненавижу, а просто хочешь с ними дружить, но они сами... Впрочем, я мало обращаю внимания на их отношение ко мне». Один не одобряет тех, кто преследует евреев, татар и других. Но об'ясняет это следующим образом: «Надо у них учиться, ибо они большей частью добиваются всего того, что захотят, своим умом и хитростью, а не ругать их».

Я не буду останавливаться на данных анкет, говорящих о религиозных настроения,—в этом отношении тоже неблагополучно. Я бы хотел остановиться на ответах, последовавших на вопрос «что нужно изменить в современных порядках». Ответы на этот вопрос тоже характеризуют настроения ребят. На первом месте в ответах на этот вопрос стоит ответ, вытекающий из всего предыдущего: прежде всего, по мнению ребят, нужно изменить порядок приема в вуз. При этом мотивировка этого требования иногда бывает довольно энергичная. «По-моему не нужно делать разницы между детьми рабочих и детьми служащих. Детям рабочих дан свободный доступ во все учебные заведения, а детям служащих очень трудно попасть туда. Это по-моему неправильно, так как служащие приносят такую же пользу советскому государству, какую приносят и рабочие».

Это пишет девочка 13 лет, дочь рабочего.

Другой пишет безграмотно: «Социальный прием без эгзамен, по которому в учебное заведение заведомо проникают ничего незнающие люди».

Третий пишет: «Больше учебных заведений, принимать всех без исключения в них, уничтожить спекуляцию на знаниях».

Четвертый просто недоволен приемом детей научных работников. Он пишет: «Надо дать возможность, и не формальную возможность, по-

ступления всем в вузы, а именно—не только рабочим и крестьянам, но и служащим, а дети профессоров могут итти не в первую очередь».

Вот каковы настроения, которые создаются в нашей школе, лучшей школе, которая как будто бы имеет все данные, чтобы быть не на последнем месте. И если так обстоит дело в одной из лучших школ, то каково же положение в школах похуже, в школах средних?

Такая же картина получается и когда мы переходим к историческим знаниям ребят. В анкете было несколько вопросов, которые должны характеризовать исторические знания школьников. Там есть вопросы: почему произошла Октябрьская революция, и чем отличается социализм от капитализма? Эти два вопроса должны были характеризовать, насколько теоретически наши ребята подросли хотя бы в старших группах.

Во-первых, здесь нужно подчеркнуть, что почти нет разницы в ответах между 5-й и 9-й группами. И тут и там ответы почти одинаково формулированы.

По вопросу о том, почему произошла Октябрьская революция, мы имеем всего 7 правильных ответов из 58, неправильных 17, затем 7 человек совсем не ответили, а все остальные ответы—или неполные, или формальные. Примерно такая же картина и с ответами на вопрос: чем отличается капитализм от социализма.

Интересны ответы на вопрос, почему произошла Октябрьская революция.

«Октябрьская революция произошла оттого, что рабочим и крестьянам жилось плохо и в 17-м году вся эта тайна открылась, и произошла Октябрьская революция».

Это ответ из 5-й группы. Или такой ответ:

«Рабочие видели, что вся Россия построена на их труде, и не могли больше выносить своей злобы».

Из 6-й группы такой ответ:

«Октябрьская революция произошла оттого, что рабочие жили в ужасном положении, а тут еще разразилась мировая война».

И другая мотивировка:

«Потому что рано или поздно она должна была произойти».

По 7-й группе: «Она произошла от тяжелого положения трудящегося населения».

Или: «Чаша горя с краями была полна».

Девочка из 8-й группы пишет: «Большинство по закону природы должно всегда побеждать, и поэтому рабочие должны были победить».

О чем говорят эти ответы? Что в лучшем случае учащиеся отвечают формально: угнетатели угнетали, угнетенные недовольны и восстают, и таким образом происходит революция. Если бы был задан вопрос о революции

1905 года или о Французской революции, то получился бы тот же самый ответ. Схематичность наших программ в этих ответах получает прекрасное подтверждение.

Характерно то, что какие-то исторические знания ребята в школе все-таки получают, но получают изолированные отдельные факты, а не связанные между собой, и в результате всего этого полнейшее смешение исторических перспектив.

«Октябрьская революция произошла потому, что рабочие и крестьяне восстали, так как царское правительство их сильно угнетало и эксплоатировало. Они ждали помощи от царя, но в этом сильно ошиблись. Тогда рабочие свергли царя и взяли власть в свои руки».

Тут видна какая-то связь с революцией 1905 года. Разницы для них нет: и тогда рабочие выступали, и тут рабочие выступали; и тогда угнетали, и тут угнетали.

Так же примерно обстоит и с ответами на вопрос: чем отличается социализм от капитализма.

Эти факты в связи с тем, что уже было сказано выше, дают основание говорить о том, что обществоведение как в части современности, так и в части исторической не выполняет своих задач. Отсюда естественно, что для того, чтобы обществоведение справлялось с задачами общественно-политического воспитания, оно должно быть самым решительным образом перестроено, даже не столько по форме, сколько по содержанию. И вот здесь я перехожу к вопросу о том, какую роль в этом деле могут играть исторические знания.

Естественно, что исторические знания в школе не являются самоцелью,—не из любви к прошлому надо изучать историю в школе. История может и должна найти себе место в школе только постольку, поскольку она окажется необходимым звеном в общественно-политическом воспитании. Если бы было доказано, что можно справиться с задачами общественно-политического воспитания без исторического прошлого, без знания его, надо было бы самым решительным образом, при всей любви историков к истории, против истории в школе возражать.

Можно ли в школе изучить и правильно марксистски понять окружающую нас современность, понять для того, чтобы быть участниками этой современности, понять четко ее революционное содержание без исторических знаний? Я думаю, что это невозможно. Исторические знания нужны именно для того, чтобы современность по-революционному осмыслить и осознать.

«Самое надежное,—говорил Владимир Ильич,—в вопросе общественной науки и необходимое для того, чтобы действительно приобрести навык, подходить правильно к этому вопросу и не дать затеряться в массе

мелочей или громадном разнообразии борющихся мнений; самое важное, чтобы подойти к этому вопросу с точки зрения научной,это—не забывать основной исторической связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь» [9].

«Прошлое,—говорит М. Н. Покровский,—мы изучаем именно для того, чтобы понять то, что происходит теперь» [10].

Дать классовое воспитание подрастающему поколению это значит в первую очередь воспитать это поколение в ненависти к классовому врагу. Ненавидеть классового врага, любить строящееся новое, относиться к классовому врагу, как к личному врагу,—это те настроения, которые мы должны дать подрастающему поколению. Но для того, чтобы этого классового врага ненавидеть, для этого его надо знать, его надо изучать. И дело не только в том, чтобы ненавидеть отдельного кулака или отдельного нэпмана,—не в этом дело, а в том, чтобы ненавидеть капиталистический строй, а не только отдельного капиталиста. Тем более, что наши дети выросли уже не при капиталистическом строе, они растут при советской власти, при диктатуре пролетариата, и этого кровавого старого строя, который нужно ненавидеть всеми фибрами души своей, они не видят. Для того, чтобы ребята научились ненавидеть капиталиста, нужно их научить ненавидеть капитализм, как определенную общественную формацию. Для этого нужно эту общественную формацию изучить, а изучить эту общественную формацию можно только исторически.

Если мы дадим из истории оторванные кусочки, отдельные стачки и т. д., то как бы ценны они ни были, хотя они и создают настроение, но они не дают понимания эпохи в целом, они не дают понимания капиталистической системы в целом. Для того, чтобы понимать эту систему, нужно изучить, как возник капитализм, как он развивался, почему он должен погибнуть и т. д.

Но изучение прошлого имеет значение не только для того, чтобы ненавидеть старое, но и для того, чтобы научиться любить новое, и, несмотря на все трудности, которые мы переживаем, к этому новому переходить. Владимир Ильич очень ярко выразил эту мысль: «Пусть каждый сознательный крестьянин и рабочий, которым случится притти в уныние под влиянием тяжелых условий жизни или чрезвычайной медлительности нашего государственного строительства, припомнит недавнее прошлое с господством капиталистов и помещиков. Такое воспоминание вернет ему бодрость в работе» [11]. Для того, чтобы получить силы для дальнейшей борьбы,

[9] «Лекция о государстве», «Правда» от 18 янв. 1929 г.

[10] «Русская история в самом сжатом очерке», с. 5.

[11] Ленин, т. XVIII, ч. 2, с. 77.

для того, чтобы научиться любить новое, необходимо знать старое, знать капиталистическую систему, как определенное историческое явление.

Для того, чтобы подготовить хорошего колхозника в деревенской школе, хорошего участника социалистического переустройства деревни, недостаточно еще научить его управлять трактором, недостаточно еще научить его вести хозяйство своего колхоза, научить поднимать урожай и т. д., потому что во всем этом еще ничего абсолютно социалистического нет. Трактор разрыхляет землю не только колхоза, но и всякой капиталистической фермы, и самый факт поднятия урожая ничего социалистического в себе еще не заключает. Тут еще нехватает определенного умения поставить работу своего трактора в колхозе в систему всего социалистического переустройства деревни. И поэтому недостаточно подготовить такого хорошего дельца для колхоза, а нужно подготовить для него социалистечского строителя. А для этого нужно, чтобы этот будущий строитель социализма, этот ребенок, который готовится к этой роли, умел увязывать свою работу в колхозе с перспективами международной революции и умел бы проследить те нити, которыми нынешнее связано с прошлым, откуда выросла эта нынешняя деревня и куда она идет. Когда изучены корни, откуда современность выросла, тогда легче будет ее перестраивать. Но это значит, что нужно прошлое изучать не по отдельным отрывкам, не по отдельным иллюстрациями, а изучать систематически.

Если задача подготовки революционных строителей немыслима без соответствующей исторической подготовки, то тем паче без этой исторической подготовки немыслима и задача подготовки марксиста, человека, проникнутого марксистским мировоззрением. «Марксист,—говорит М. Н. Покровский,—не-историком, по моему глубочайшему убеждению, быть не может. Человек, который не умеет владеть историческим методом, не есть «марксист», ибо всякий общественный анализ начинается с анализа исторического» [12].

И если мы хотим воспитать из наших ребят марксистов-общественников, мы должны научить их владеть марксистским методом.

Я бы не хотел, чтобы меня поняли так, что я требую, чтобы из 5-й группы школы выходили законченные марксисты, но ведь школу кончают примерно в 18—19 лет. Это возраст гражданского совершеннолетия. Почему к этому возрасту не подготовить ребят к тому, чтобы по окончании школы они умели пользоваться марксистским методом, хотя бы в той степени, какая нужна для ориентировки в окружающей жизни? Но для этого им нужна определенная историческая подготовка, потому что не-историк марксистом быть не может. Особенно велико значение исторического знания, когда мы переходим к вопросу об антирелигиозном и интернациональ-

[12] «Вестник Социалистической Академии» за 1923 г., кн. VI, с. 383.

ном воспитании. Что понимать под антирелигиозным воспитанием? Очень часто мы слышим разговоры о том, что самая постановка научного преподавания антирелигиозна, и основная ведущая роль в антирелигиозном воспитании должна принадлежать изучению биологии, физики, химии. Конечно изучение этих предметов ведет к тому, что доказывает, что бога нет. Это вещь, разумеется, полезная, но вряд ли это означает антирелигиозное воспитание. Ничего классового, ничего пролетарского в этом еще нет. Доказать на основе науки, что все происходит по определенным естественным законам, это, в лучшем случае, буржуазный атеизм, но не воинствующее антирелигиозное воспитание, и нам для нашего антирелигиозного воспитания нужно сосредоточить внимание не на том, что бога нет (и это, конечно, нужно), а на том, чтобы доказать классовую роль религии в классовом обществе, чтобы показать, что религия классовый враг пролетариата, и тогда мы действительно воспитаем людей антирелигиозных, воинствующих безбожников. Но что значит показать религию как фактор классового господства? Для этого нужно показать это самое классовое общество, со всеми теми элементами, со всеми теми материалами, которые оно в себе заключает. Нужно дать историю классового общества, нужно дать роль церкви в системе классового общества на развернутом фоне классовой борьбы, нужно дать формы участия религии и церкви в этой классовой борьбе. Нужно показать ту руководящую роль, которую выполняет церковь и религия в капиталистическом обществе. Нельзя отрывать церковь и религию от капиталистического общества. Мало декларировать, что религия есть один из элементов, которые поддерживают классовое господство буржуазии, нужно показать конкретное классовое господство на основе анализа истории капиталистического общества на различных этапах, показать на конкретном анализе всего этого общества роль религии. Вот это будет антирелигиозное воспитание. Для того, чтобы поставить это антирелигиозное воспитание, нужно дать историю общества. Отсюда и роль истории в этом разделе общественно-политического воспитания.

«Если даже,—говорит М. Н. Покровский,—исходить не из марксистской точки зрения, а прежде всего из точки зрения здравой педагогики, то вы неминуемо натолкнетесь на необходимость подкрепить курс обществоведения не коротенькими календарными справками, иногда превращающимися в комментарии к революционным праздникам и т. д., а серьезным, солидным историческим курсом, который должен быть возвращен на свое место в виде настоящего исторического курса» [13].

[13] «Историзм и современность в программах школ II ступени», с. 10.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

А. Попов

Б. А. Романов. «Россия в Манчжурии (1892—1906)». Очерки по истории внешней политики самодержавия в эпоху империализма. Стр. 605+X. Ленинград 1928 г. Изд. Ленинградского Восточного института им. А. С. Енукидзе.

Книга Б. А. Романова представляет собой бесспорно крупное явление на фронте нашей исторической и востоковедческой литературы. Это результат многолетней, упорной и, можно сказать, самоотверженной работы историка-архивиста над одним из основных вопросов русской дальневосточной политики.

Поступательное движение царской России к берегам Тихого океана, протекающее в формах железнодорожного строительства, с неизбежностью завершающегося прокладкою рельсового пути на протяжении 2 000 верст по китайской территории, образование здесь громадного сетльмента в виде полосы отчуждения с рядом растущих населенных пунктов, углубление русского капитала в южную Манчжурию, политические разведки в Корее, международная обстановка, в условиях которой это продвижение осуществлялось, первая встреча русского капитализма с английским империализмом на Дальнем Востоке, попытки разграничения сфер влияния в Китае, неприятное знакомство с американскою точкой зрения на Манчжурию, встреча в Южной Манчжурии с дальневосточным alter ego Англии Японией, развертывание русской империалистической программы в Манчжурии в условиях парализованной союзности, ликвидация этой программы войною 1904 г., вытекающие отсюда последствия международно-финансового порядка, выражающиеся в вступлении России в лоно Антанты и в прогрессирующем сращивании русского капитала с англо-французским, свертывание русских государственных и полугосударственных предприятий в Манчжурии, ампутация КВЖД и, наконец, русско-японское разграничение сфер влияния в Манчжурии, стабилизирующее русское влияние в пределах северной части последней.

Такова тематика рассматриваемой книги с хронологическим диапазоном 1892—1906 г. Но не только в широте тематического и хронологического охвата в данном случае дело. Ценность настоящей работы заключается прежде всего в том, что автор, подняв предварительно громадные пласты свежего архивного материала, сумел в ней этот материал собрать и развернуть перед читателем, обогатив литературу вопроса новыми данными, внеся во многом существенно новое освещение.

Вырисовывая на страницах книги кривую русской дальневосточной политики во всех ее изгибах и разветвлениях, автор в фактах и документах раскрывает действительную природу империализма, хотя бы и такого молодого, с едва прорезывающимися зубами, каким был русский империализм на рубеже XX столетия.

Не отступая в своем изложении ни на шаг от документальных данных, нанизывая на нить своего, почти прагматического, повествования заключающиеся в них мельчайшие факты, заимствуя из архивов и из литературы все, что может послужить к об'яснению и освещению воспроизводимых фактов, автор через конкретный показ развития манчжурской эпопеи подводит читателя к новой международной кон'юнктуре, где царская Россия отводится на ту, положенную ей историею, позицию, с которой впоследствии ей придется броситься с головой в роковые для нее события 1914 г.

Опуская не представляющую существенного интереса вводную главу, остановимся прежде всего на сюжетной стороне тех восьми глав, на которые распадается книга.

В I главе, посвященной происхождению манчжурского вопроса и охватывающей период 1892—95 гг., внимание читателя соредоточивается преимущественно на мотивах реализации проекта Великого Сибирского пути.

Протоколы особых совещаний 1894—95 гг. намечают задачи России на Дальнем Востоке в связи с окончанием японо-китайской войны и прежде всего—задачу овладения незамерзающим портом на Тихоокеанском побережьи. И тогда же под активным воздействием Витте формируется точка зрения русского правительства на Манчжурию, как на территорию, которою во что бы то ни стало, хотя бы ценою войны, России необходимо овладеть во имя интересов строящейся ж.-д. линии.

В главе II, трактующей о «мирном» проникновении России в Манчжурию (1895—96 гг.), дается подробный анализ дальнейшего развития вопроса о направлении Сибирского пути и вырисовывается международная обстановка, складывающаяся исключительно благоприятно для той его политической формулы, которая делала из него в глазах Витте орудие мировой политики. Обращает на себя внимание та роль, какую наряду с Витте играл в деле направления магистрали директор-распорядитель Амурского общества пароходства и торговли Макеев, заинтересованный в возможном удалении ж.-д. ветви от Амура. Интересно появление уже в ту отдаленную пору в Пекине американца Баша, предлагающего проект ж.-д. строительства весьма широкого размаха и предусматривающего не только соединение системы собственно китайских жел. дорог с Сибирской, но и создание правовых предпосылок для мирного завоевания всей Манчжурии. Центральным вопросом рассматриваемого времени являлся франко-русский заем Китаю и образование при участии французских капиталов Русско-китайского банка, призванного быть гибким и послушным орудием дальневосточной политики царского правительства. Ознакомившись со всеми перипетиями, сопровождавшими работу царского правительства по созданию этих финансовых предпосылок для дальнейшего политического наступления на Китай, читатель попадает отсюда прямо в ту, не лишенную оттенка авантюрности, обстановку, в какой происходила обработка Ли Хунчжана в коронационные дни. Автору удается доказать при этом, что уже тогда Витте требовал от Ли согласия не только на северо-манчжурскую магистраль, но и на южно-манчжурскую ж.-д. ветвь до одного из портов Желтого моря. Купив у Ли Хунчжана концессию на имя Русско-китайского банка, Витте получал возможность фактически взять дело постройки КВЖД в руки правительства, установив необходимые для поддержания фикции внешние формы. Анализ переписки, посвященной вопросу об образовании Общества КВЖД, дает автору полное основание для следующего заключения: «Становясь единственным акционером о-ва КВЖД и сохраняя право оставлять за собою все облигационные займы общества, а также беря на себя приплаты по расходам на эксплоатацию и на покрытие платежей по займам, русское правительство оказывалось фактически полным хозяином дороги».

Период русской политики 1896—1898 гг. проходит под знаком открытого «захвата» территории в Южной Манчжурии, и этому периоду отведена III глава книги. Как и в первых двух главах, главным об'ектом изучения автора и здесь является деятельность русского министра финансов в делах Дальнего Востока после смерти Лобанова, подходившего к фактическому руководству дипломатическим ведомством. Останавливаясь на первоначальном плане Витте заменить политику прямых отторжений политикой «сфер влияния» и полемизируя с Витте-

мемуаристом, автор ставит своею прямою задачей доказать, что порт-артурский эпизод отнюдь не рвал политической традиции царизма и отнюдь не находился в принципиальном противоречии с русскою политическою программой. Вскрывая политический смысл конвенции Кассини и Сеульского меморандума, автор с большим мастерством разоблачает роль Витте, как продолжателя агрессивных планов Лобанова-Ростовского на Дальнем Востоке. Давая интересную обрисовку выросшей в 1897 г. перед Витте дилеммы — Корея или Ляодун, — документально освещая миссию Ухтомского, как неудачную попытку мирного проникновения в Корею, воспроизводя текст неизвестного до сего времени протокола 1-го заседания правления О-ва КВЖД от 22/I 1897 г., где уже намечалось точное направление ветви к Желтому морю, отмечая далее германское выступление на Дальнем Востоке, стимулирующее аналогичное выступление со стороны России, автор вырисовывает здесь же и первые последствия этой активизации русской политики—обострение англо-русских антагонизмов и прежде всего конфликт по вопросу о займе Китаю.

Следующая IV глава, естественно, посвящена переговорам, связанным с обострившимися англо-русскими отношениями на Дальнем Востоке и воспроизводит картину англо-русского дипломатического турнира по ж.-д. вопросу в Китае, заканчивающегося проведением пекинской разграничительной линии (соглашение 16/38—IV 1889 г.). Давая подробный анализ дипломатической и междуведомственной борьбы вокруг вопроса о ж.-д. соглашении, глава эта обогащает читателя конкретным материалом, характеризующим приемы империалистической дипломатии.

Материалы периода 1900—1902 гг., знаменующегося фактом «временной» оккупации Манчжурии, сгруппированы автором в главе V.

Здесь прежде всего вырисовывается угрожающий для русской манчжурской политики призрак САСШ с программой—«открытых дверей». Вместе с тем обнаруживается полное непонимание русской дипломатией значения этого нового фактора. Используя необходимость ликвидации последствий боксерского восстания в полосе отчуждения и учитывая факт ослабления китайской центральной власти, русское правительство вступает на путь отдельных соглашений с цзяньцзюнями. Соблазняемое Ли Хунчжаном перспективами разработки естественных богатств всего застенного Китая, оно идет на сепаратное соглашение от 27/X 1900 г., уничтожающее китайскую военную власть в Ю. Манчжурии, обращающее цзяньцзюней в орган, ответственный перед русским военным командованием, наносящее решительный удар принципу независимости Китайской империи. Заметим попутно, что подлинный текст этого соглашения опубликован здесь впервые, ибо публикацию его, данную в книге М. Миччау, как неверную, в расчет брать не приходится. Чрезвычайно интересен и симптоматичен факт выдвижения проекта сепаратного соглашения Китая с Обществом КВЖД о вознаграждении за убытки, понесенные дорогой вследствие волнений в Манчжурии, со включением в него права разработки обществом всех естественных богатств Мукденской и Гириньской провинций. Этот проект консолидации экономической и политической мощи О-ва КВЖД на началах монополии и ограничения сюзеренных прав Китая в Манчжурии не получил реализации. Об'яснения этому находим в вырисовывающихся на страницах той же главы неблагоприятных для России изменениях в международной кон'юнктуре: отчуждение Германии, накаленность японских настроений, подогреваемых Англией. Смерть Ли Хунчжана обрывает попытку России получить от Китая обязательство не выдавать никому никаких ж.-д. и промышленных концессий в Манчжурии. Протест САСШ против монопольного положения Русско-китайского банка в Манчжурии и заключение англо-японского союзного договора от 30/I 1902 г. заставляют Россию спешить с подписанием 26/III 1902 г. соглашения с Китаем об эвакуации,

хотя и с оговоркою, дающею русскому правительству возможность задержать в Манчжурии свои войска. Но продолжение оккупации Манчжурии, не санкционированное никаким договором с пекинским правительством, отныне основывалось только на праве завоевания и могло всегда стать предметом международного конфликта.

Глава VI «На последнем перегоне перед войной» (1902—1904 гг.) имеет своим назначением дать характеристику той обстановки, которая создалась в Манчжурии непосредственно перед началом военных действий. Здесь мы имеем неудачную попытку Витте наверстать потерянные в манчжурском вопросе дипломатические позиции финансово-экономической комбинацией—образованием Манчжурского горнопромышленного товарищества. Далее мы встречаемся с небезызвестным «концессионером» Матюниным, которого Витте отводил уже однажды от корейских лесов на Ялу. В лице Матюнина протягивались к манчжурским концессиям враждебные Витте руки безобразовской шайки, выступающей в сообществе с Николаем Романовым и проталкивающей свой проект «Восточно-азиатской компании», призванной возродить в Корее «русские начала». Борьба Витте с этим конкурентом Русско-китайскому банку осложняется изменениями внутренней политической конъюнктуры в стране, характеризующимися обострением классовой борьбы и распадением единства кабинета. Витте готов вступить на путь компромиссов, он принимает идею поднятия в кратчайший срок боевой готовности русской армии на Дальнем Востоке, реализующуюся в формах создания наместничества, он принимает и требования Куропаткина о невыводе русских войск из Сев. Манчжурии. Падение Витте не вносит ничего принципиально нового в русскую политику на Дальнем Востоке. Победившие безобразовцы продолжают принятый курс, лишь повышая темпы и облекая предпринятую в Манчжурии политическую оффензиву в более грубые формы—проект открытого присоединения Монголии и Манчжурии, проект передачи Лесопромышленному т-ву монополии на берегу Ялу и соляного откупа в Манчжурии. Продолжающаяся в условиях обострившихся русско-японских переговоров об эвакуации Манчжурии (русский отрицательный ответ на японскую ноту от 30/VII 1904 г.) работа безобразовской группы обрывается победоносным японским выступлением. Экономически обреченность царской авантюрной политики на Дальнем Востоке явствовала уже из того, что касса т-ва к этому времени была совершенно пуста, что 50% акций Русско-китайского банка находились в руках иностранных держателей, что размеры иностранных вкладов достигли в банке 28 млн. рублей на 31,8 млн. руб. общей суммы, что, наконец, только что заключенный военный заем был сделан при посредстве директоров парижского отделения Русско-китайского банка.

Главу VII автор посвящает анализу «международно-финансовых отношений России во время войны» (1904—1906 гг.). Здесь речь идет о том международном характере, какой должно было принять ведение войны, и о неизбежном усилении финансовой зависимости России от парижского денежного рынка. Бросаемый автором ретроспективный взгляд на международные комбинации предыдущих годов (англо-французское сближение, первоначально отвлекающее Францию от России, франко-русские трения на почве дел Русско-китайского банка, данцигское свидание и зондирования Витте в Берлине) приводят автора к заключению о том, что двойственная финансовая политика Витте явилась главной причиной его неудач, приведших к торжеству безобразовцев. Попутно автор дает небезынтересное изображение дипломатического фона (двойная дипломатия Ламсдорфа), на котором выросла «личная» политика Николая II (Бьерке).

Борьба двух тенденций—парижской и берлинской,—сопутствуемая появлением на сцене переговоров о займе американцев (Моргана), несущих перспективы

образования международного консорциума, завершается уклонением Коковцева от американских предложений и его поездкой в Париж.

В последней VIII главе, посвященной вопросу о судьбе «крупных предприятий в Манчжурии после войны» речь идет о той эпохе, когда увязание России в дальнейшие финансовые обязательства влечет за собою планомерное врастание иностранного финансового капитала непосредственно в русское народное хозяйство. В сфере русских интересов на Дальнем Востоке период этот характеризуется появлением многочисленных иностранных предпринимателей, зондирующих покидаемое царизмом наследство: американец Кларксон, интересующийся Сахалином, бельгийские капиталисты, ведущие переговоры о концессиях Манчжурского горнопромышл. т-ва, сам Нецлин, любезно приглашаемый в члены того же т-ва, бельгийцы, соблазняемые доходами фушунских копей, наконец, американский финансист Гарриман, имеющий специальные виды на железные дороги в Манчжурии.

Оглушенное военным ударом и обезнадеженное экономически, царское правительство стоит перед вопросом о том, чтобы во-время «с честью» удалиться из Манчжурии. Приступая к постройке Амурской дороги, оно входит с рядом иностранных—и прежде всего американских—капиталистов в переговоры о выкупе КВжд. Намечается возможность образования особого международного синдиката, возможность полной «денационализации» дороги и ликвидации всех политических северо-манчжурских традиций. Предложенный в этот момент Японией формальный союз отклонил русскую дипломатию от перспектив, открывавшихся ей американским капиталом, и ввел ее в русло «совместной русско-японской опеки над Манчжурией».

Мы наметили лишь общие контуры воспроизведенной автором эпопеи. Мы указали на исключительное богатство книги фактическим и документальным материалом. Отсюда уже можно подойти и к выводу о степени ее научной ценности. Остается только сказать о том, при каких условиях эта ценность была бы повышена.

Здесь прежде всего несбходимо учесть происхождение работы, ту наследственность, которая тяготеет над ней. Книга выросла из целого ряда статей, разновременно напечатанных автором в разного рода журналах и сборниках («Сибирские огни», «Борьба классов», «Россия и Запад» «Русское прошлое»). Она мыслилась автором первоначально как сборник статей, и только в процессе работы по подготовке предполагавшегося сборника к печати разрослась в монографического типа исследование. Отсюда—неувязка между полемически-очеркистским характером трех первых глав и более спокойным методом изложения глав последующих (хотя и в последующих эта черта не исчезает бесследно). Полемизм первых глав направлен специально на Витте, как мемуариста. Изучение его «Воспоминаний» и проверка его показаний с сохранившеюся в архиве министерства финансов его же собственной перепискою естественно, не могли не натолкнуть автора, работавшего над указанным архивом, на специальную задачу—вскрыть ту историческую правду, которую Витте в своих воспоминаниях скрыл, затушевал или исказил. Политическая значимость фигуры Витте для 90-х гг. настолько громадна, что совершенно естественно также, что нашему автору, как автору упомянутых очерков, приходилось в своем изложении уделять ей исключительное внимание.

Но если в отдельных небольших очерках увеличенная историческая фотография Витте не слишком резала глаз и ухо читателя, то в рассматриваемой, претендующей на монографическое исследование, работе это грозит разрастись в определенный и вредный методологический «уклон».

Разрушение построенной Витте-мемуаристом легенды о его миротворческой политике на Дальнем Востоке—вещь прекрасная и полезная, но заострение исторического показа на личности Витте—вещь методологически не безопасная.

В главе I, где речь должна итти о происхождении манчжурского вопроса, а, следовательно, об определенном устремлении русского капитализма на Дальний Восток, речь на деле идет преимущественно об устремлении Витте, определяемого как «глашатай и мастер» русской дальневосточной политики (с. 51).

В главе III, где речь должна итти об одном из эпизодов этой политики—«захвате» китайской территории—автор ставит своею прямою задачей «уделить все доступное внимание именно тем фактам, в которых личное участие Витте дает возможность изучить природу и оценить роль той политики, которая называла себя «мирной», искони будто бы не стремилась к захватам и претендовала гарантировать мир, не пасуя и не отказываясь от своих целей» (с. 132).

Каковы же последствия такого виттеборства (или, вернее, виттефильства) нашего автора. Последствия сказываются на всей композиции первых пяти глав. Применяемые автором приемы изложения таковы, что даваемое в I главе об'яснение происхождения дальневосточной авантюры фактически в конечном счете сводится к указанию на энергию, вложенную Витте в дело постройки Великого сибирского пути. Скольжение по поверхности истории вопроса о постройке Сибирского пути (с. 52—54) выдвигает на первый план дату передвижения Витте с поста министра путей на пост министра финансов, т. е. 1892 г. «Если назвать царя—невольно вспоминаются при этом слова М. Н. Покровского—который начал эту авантюру (дальневосточную), то приходится назвать Александра III, который начал во второй половине 80-х гг. строить Сибирскую ж. д...» Экономические и политические предпосылки появления проекта автором не вырисовываются, о социально-политических силах, толкавших проект, ничего не сообщается. Указание на то, что «вихрь, раз поднявшись, неудержимо нарастал сообразно своим законам»—может показаться любопытным метеорологам, но вряд ли удовлетворит читателя, интересующегося научно-историческим об'яснением, по преимуществу. Да и что может означать эта аналогия, когда дальше автор рисует приблизительно такую картину: проект постройки ж. д. уже готов, но саботируется робким и вялым Вышнеградским; на исторической сцене появляется Витте, он берет проект в свои руки и с дьявольской энергией и примерной отвагой (отсутствие «боязни риска») принимается за его осуществление. Какие силы сняли с поста саботажника Вышнеградского, какие силы выдвинули Витте? На этот вопрос читатель не находит ответа.

В конце V главы (с. 350—352), в связи со спешным заключением Россией соглашения с Китаем об эвакуации русских войск из Манчжурии, автор считает полезным устроить над Витте настоящую гражданскую казнь. Ему пред'явлено обвинение по следующим пунктам: он виновен в выступлении с расширенной манчжурской программой, посягавшей на суверенитет Китая, он прозевал образование оппозиционного блока держав, он не предусмотрел англо-японского союза, он попался на удочку Ли Хунчжана, он строил китайскую политику на персональной заинтересованности Ли, он поддался утопии договориться с Японией о Корее. Автор не идет дальше пред'явления своему противнику этого обвинительного акта, но для читателя становится ясным, что вопрос о «виновнике» войны 1904 г. можно считать разрешенным. Вместе с тем для читателя становится ясным, что слишком неумеренное виттеборство (или виттефильство) может породить у историка тенденции к драматико-психологической композиции.

Еще несколько методологических замечаний: что означает «мировой масштаб» поставленного перед Витте задания? (с. 57). Если Сибирская дорога была дорогой сугубо стратегической, нельзя пройти мимо англо-русских отношений того времени, определивших для русского правительства эту стратегическую задачу. В то же время, если автор считает нужным указать на симптоматическое единомыслие Витте с представителями русского купечества на нижегородской ярмарке

1889 г. (с. 57), то не следовало бы проходить и мимо того факта, что значительная доля роста русской металлургии в 90-х гг. шла за счет Сибирской дороги, что целые новые заводы строились для обслуживания этой линии. А если уж затронуто выступление нижегородского купечества, было бы не бесполезно подробнее осветить читателю и основные настроения представителей русского торгового капитала в ту эпоху. Напомним хотя бы о таких незначительных, но симптоматических фактах того времени, как тревога нижегородского же купечества по поводу выдвинутого в 1888 г. английскими капиталистами проекта устройства морского сообщения между Англией и Сибирью по Енисею, или как проявленный в 1889 г. русским купечеством обостренный интерес к открытым китайскими промышленниками желтугинским золотым приискам.

То, что только что отмечено нами в отношении Витте, следует отнести и к прочим действующим на страницах книги фигурам: говоря о подаче в 1903 г. Суботичем Куропаткину письма-проекта о необходимости полной ликвидации «манчжурского предприятия», автор справедливо ставит это в связь со всей свойственной ген. Суботичу концепцией положения России на Дальнем Востоке и указывает на проявленную в этом смысле Суботичем «искренность». Несомненно, что читателя вопрос об искренности высказываний Суботича будет интересовать в меньшей степени, нежели вопрос о том, кого Суботич имел своими единомышленниками, какова была та группировка, концепцию которой письмо Суботича отражало. В книге нет следов той борьбы ориентаций,—дальневосточной и ближневосточной,—которая характерна для правительственных кругов на рубеже нового столетия.

Отдельные фигуры—будь то Суботич или Куропаткин, или адмирал Копытов, или даже безобразовцы или Плеве—на страницах ее появляются и уходят, спорят, борются между собою, побеждают и терпят поражения, но все эти функции выполняются большей частью в порядке индивидуально-служебном. Борьба антагонистических группировок, влияние определенных социально-политических сил на действующих в книге персонажах отражается далеко недостаточно. Недаром, касаясь одного из эпизодов борьбы, разгоревшейся в правящих сферах весной 1903 г. в связи с вопросом об эвакуации Манчжурии, автор считает необходимым оговориться: «различие между этими двумя вариантами, полное суб'ективного смысла для боровшихся в составе царского правительства персонажей, об'ективно не было так велико, как им самим, повидимому, представлялось, и так уж устойчиво, как принято было думать со стороны» (с. 427). Особенно остро ощущается недостаточная очерченность социально-политического лица безобразовцев, ведущих против Витте интригу, как против «красного» министра (с. 444).

Останавливаясь на указанных методологических особенностях интересующей нас работы, мы ни в какой мере не хотим дать повод думать, что особенности эти лежат слишком тяжелым грузом на ней, значительно снижающим ее качественный уровень. О ценности конкретно-исторического материала, заключающегося в книге, мы уже говорили и повторяться в этом смысле нам не приходится.

Хотя показываемый автором читателю материал громаден, нужно заметить, что в данном случае результаты были бы достигнуты тем более крупные, чем больше материалов было бы привлечено к делу. Мы имеем в виду, разумеется, количество охватываемых автором источников, разносторонность их. Основным фондом для данной работы послужили документы делопроизводства III отделения общей канцелярии министра финансов. Архив министра ин. дел использован автором лишь в самой незначительной степени. Архивы военного и морского министерств, а также других отделений министерства финансов не использованы вовсе. Привлечение к делу материалов перечисленных архивов несомненно содействова-

ло бы росту сюжетного диапазона и углубленности разработки отдельных вопросов, вместе с тем оно предоставило бы автору возможность чаще проверять показания одних источников показаниями других и умножило бы гарантии от случаев недостаточно критического отношения к источникам, всегда мыслимых в условиях отсутствия желательной полноты последних. Недостаточность данных используемых им архивов обычно автор удачно восполняет (помимо данных русских публикаций) данными «Grosse Politik». Но в некоторых случаях, когда ему приходится опираться только на этот источник, последний оказывается недостаточно надежным. Приводимое автором германское изображение попытки приобретения Германией Амоя, как попытки, делаемой в результате поощрения ее в этом направлении со стороны китайского посланника в Берлине или гр. Кассини (с. 180), звучит несколько наивно и во всяком случае мало убедительно. Сопоставление данных германской публикации с данными русских архивов в этом случае было бы желательно. Приведем еще один пример. У автора, излагающего данные германской публикации, Витте дает совет герм. послу Радолину «уйти из Цзяо-Чжоу куда-нибудь на юг Китая». Не оспаривая достоверности этих данных, нельзя, однако, не сопоставить их со следующими строками неиспользованной автором всеподданнейшей записки Муравьева (от 2/15 XII 1897 г.), составленной после занятия Цзяо-Чжоу и рассматривающей возможные направления дальнейшего расширения Германией своей сферы влияния в Китае: «Исходя из того соображения, что движение по направлению к югу неминуемо привело бы к столкновению с Англией, для избежания коего Германия по необходимости должна была бы искать весьма нежелательного для нас соглашения с нею, германское правительство, повидимому, склоняется более к мысли распространить свои дальнейшие захваты к северу от пределов Киао-Чао до пределов Печилийского залива, безусловно входящего, по его мнению, в сферу неоспоримого влияния России, с которою Германия признает возможным вступить в соглашение в видах взаимных действий против нашего общего врага в Китае—англичан...» И, именно, такое направление германской агрессии глава русского дипломатического ведомства считал соответствующим «нашим политическим видам».

Касаясь интереснейшего вопроса о китайском займе и о разграничении сфер влияния, вклинивающегося в вопрос о приобретении Россиею Порт-Артура и разрешаемого в конечном счете в пользу Англии, автор, несомненно, мог бы достигнуть большей полноты его освещения, если бы привлек к делу и документы министерства ин. дел. Достаточно указать здесь хотя бы на то, что во время переговоров, которые вел в Петербурге Ламсдорф с О'Коннором, последний в своих посулах выходил далеко за пределы дальневосточных тем и убеждал своего собеседника в готовности Англии признать «полную законность стремления России включить в свою сферу не только Черное море с прилегающими ближайшими побережьями и Босфорским проливом, но и с выходом в Эгейское море...» (см.Всеподдан. записку минист. ин. дел от 29/I 1898 г.). Несмотря на то, что заявления эти, как мы знаем, остались в ту пору повисшими в воздухе, они симптоматичны, характеризуя степень заинтересованности Англии в вопросе о займе.

Весьма полезную службу сослужили бы автору документы дипломатического ведомства и в освещении вопроса о позиции держав в эпоху боксерского восстания и, в частности, вопроса о переговорах по поводу назначения главнокомандующего, вопроса, в котором было особенно заинтересовано германское правительство и данные о котором германской публикации требуют тщательной проверки. Несомненно, что эпизод с приездом Ито в Петербург, равно как и Гулльский инцидент могли бы быть автором также освещены подробнее при условии использованности соответствующих досье министерства ин. дел, а архивы морского и военного

министерств дали бы укрупнение картины и порт-артурского захвата и подготовительного к войне периода. При указанных условиях быть может автору удалось бы осветить и относящийся к концу 1905 г. вопрос японо-китайского соглашения о Манчжурии, оставшийся в книге неосвещенным, а наряду с военным совещанием 3/I 1907 г., где Извольский решительно высказался против усиления войск Приамурского округа, поставить и заседание Совета гос. обороны 9/II 1906 г., где обсуждался вопрос о сохранении Владивостока, как крепости, и где большинством всех голосов против одного было принято решение не усиливать войск в Уссурийском крае.

В заключение несколько слов об авторской манере письма. Встречающиеся иногда синтаксические варваризмы, а также допускаемый автором своего рода стилистический карамзинизм, несомненно, должны отражаться на степени усвояемости книги читателем, тем более, что практикуемая в книге повышенная фразеологическая витиеватость нередко идет вразрез с интересами четкости формулировок. Особенно чувствуется это в тех случаях, когда автор стоит перед необходимостью делать известные обобщения. Прекрасно справляющийся с операциями аналитического характера, с прагматическим изложением и показом конкретного материала, автор не проявляет особенной склонности к операциям синтетического характера, избегает выводов и обобщений. И недаром вместо обязывающей к четким выводам заключительной части, автор предпочитает дать вводную главу, составленную в тонах беглого обзора последующего содержания книги. Отсутствие достаточной четкости в речи и в композиции приводит порою к замене об'яснения причинности явлений их хронологическим сопоставлением, или попутными и беглыми намеками на взаимозависимость тех или иных фактов. В главе VII, там, где речь идет о русско-германских отношениях 1905 г., в частности, о возможном заключении займа в Берлине, лишь вскользь упоминается о таком, имевшем крупнейшее значение в определении русско-германских отношений, факте, каким являлись переговоры о заключении русско-германского торгового договора (даваемая в примечании архивная справка о нем чисто фактична) (с. 495).

Недостаточно выяснены моменты, дополнительно стимулировавшие Вильгельма на союз с Николаем (упущены надежды Вильгельма на получение русских морских заказов, на что указания можно найти в «Переписке Вильгельма II с Николаем II», см. с. 88).

При обрисовке в той же главе международного положения недостаточно выпукло намечена основа основ—англо-германские антагонизмы, обусловливающие попытки Германии к установлению комбинации континентальных держав, направленной против Англии. За богатым конкретным материалом дипломатических переговоров, которыми насыщена вся XII глава, теряется перспектива основных противоречий между Россией и Германией, противоречий, в основе которых лежала конкуренция русских и германских помещиков на германском рынке, существовавшая, несмотря на общность политических симпатий тех и других. Об'яснение, даваемое автором срыву перспектив образования международного консорциума, страдает также некоторой неопределенностью: с одной стороны—указания на «революционные события», «исключавшие эту возможность», с другой—указания на отказ Коковцева пойти Моргану навстречу в деле предоставления Америке русских заказов; а далее речь идет об обострении франко-германских отношений. Отказ Коковцева Америке в заказах автор склонен об'яснить проявленным русским правительством (в октябре 1905 г.) «небрежением удержать за собою хотя бы и значительными уступками Америку» (с. 538). Между тем только что на предыдущих страницах (с. 529) он заявлял, что «ни природа, ни темп домашних событий не допускали и мысли (в декабре 1905 г.) о какой-либо гро-

моздкой финансовой комбинации в стиле октябрьского консорциума» (с. 529). Заметим, что упомянутое «небрежение», появляясь в сочетании с «невозможностью (для России) отказать в своей поддержке Франции в Алжезирасе»,—претендует далее на роль фактора, «повернувшего Россию в антантовское русло» (с. 538),—и у читателя невольно должен остаться осадок неудовлетворенности от недостаточно четких и ясных формулировок, даваемых при об'яснении столь крупного международного значения факта, как упомянутый поворот русской политики.

В предисловии к книге, данном издательством, отмечается близость автора к «той концепции монополистического капитализма в России, какая дана в настоящее время в работах т. Грановского».

Можно сказать, что утверждение это содержит в себе несомненные преувеличения. Правда, автор говорит однажды о «формах монополистического капитализма», в которых были «педантически выражены» «капитальнейшие предприятия, придававшие размах русскому движению на Дальнем Востоке» (с. 474). И в своем предисловии автор так же определяет русский капитализм изучаемой им эпохи, как «капитализм, вступавший в монополистическую стадию» (с. VII). Однако рассматривая вопрос о вывозе русского капитала на китайскую территорию, автор нигде, кроме указанных мест, на протяжении всего своего изложения не определяет своего отношения к спорным вопросам природы русского капитализма. Отсутствие в книге указаний на связь ж.-д. политики царизма с стараниями последнего вывести помещичье хозяйство из кризиса еще не может служить основанием для зачисления автора в лагерь противников теории т. Ванага. Поскольку общеизвестен тот факт, что колониальные банки сплошь и рядом появляются задолго до эпохи финансового капитала—а заключающиеся в книге материалы о деятельности Русско-китайского банка свидетельствуют лишь о немощности его дочерних предприятий,—нет тем более никаких оснований зачислять автора в лагерь убежденных сторонников т. Грановского. Можно сказать, что автор в своей работе остался вне этих спорных вопросов, цитированные же замечания его о природе русского капитализма приходится либо отнести за счет указанного выше, свойственного формам его изложения своеобразия, либо — в худшем случае—придать им значение воздушного поцелуя, брошенного мимоходом по адресу теории т. Грановского.

Подведем итоги. Присутствие методологических вывихов (недостаточность социального показа, тенденция к драматико-психологической композиции), чрезмерно доверчивое отношение к источникам, некоторая ограниченность этих последних, недостаточная четкость как композиции, так и форм изложения — таковы моменты, несомненно не служащие к украшению рассматриваемой книги, моменты, не колеблющие, однако, того крупного значения, какое приобретает она, благодаря собранному в ней и тщательно проработанному богатейшему фактическому материалу, дающему яркое и во многом совершенно новое освещение одной из важнейших проблем истории русской внешней политики.

Актуализация дальневосточной проблемы в настоящее время делает книгу необходимой и важной не только для историка-специалиста, не только для интересующихся проблемой империализма, но и для более широкого круга читателей, желающих разобраться в происхождении и действительной природе ждущего своего разрешения больного и сложного политического вопроса.

ЖУРНАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ

Н. Лукин

НОВЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ЖУРНАЛ

«The Journal of modern history», volume I—Numbers 1—3, 1929. The University of Chicago press, Chicago Illinois, U. S. A.

Вплоть до конца 90-х гг. прошлого века научное изучение истории Европы считалось в Соединенных штатах излишней роскошью. Преподавание европейской истории было в загоне не только в средней, но и в высшей школе, где оно ограничивалось сообщением студентам весьма элементарных и всем известных фактов. Неблагоприятные условия научной работы, в которых находились (да и сейчас находятся) американские историки—ничтожный заработок, перегруженность педагогической работой, трудность найти издателя для напечатания научной исторической работы, почти не находившей спроса среди практичных янки—усугублялись для тех ученых, которые занимались новой историей Европы, особыми затруднениями. В американских университетских библиотеках нельзя было достать даже необходимых печатных источников, для ознакомления с архивным материалом, приходилось предпринимать далекое и дорого стоившее путешествие в Европу.

Те немногие счастливцы, которым удавалось преодолеть это последнее затруднение, в громадном большинстве случаев оседали в Лондоне или Париже, где работали над проблемами английской или в лучшем случае французской истории, а историей Германии, не говоря уж о России или Ближнем Востоке, интересовались лишь в редчайших случаях. Их внимание привлекала лишь новейшая история Европы, начиная с 70-х гг. XIX в.

Но далеко не всякой работе американского специалиста по новой европейской истории суждено бывало увидеть свет: спрос на такого рода историческую литературу был еще меньше, чем на научные работы по отечественной истории, а единственный солидно поставленный американский исторический журнал («American historical Review»), начавший выходить лишь в 1895 г., уже в силу своего универсального характера мог приютить у себя лишь ничтожную часть статей, посвященных новой истории Европы.

Положение значительно изменяется со времени усиления экономических и культурных связей между Европой и Америкой. Блестящие успехи молодого американского капитализма на мировом рынке, а особенно вступление США на путь мировой политики, подняли интерес к европейским народам и их недавней истории. Перелом произошел лишь с началом мировой войны, особенно решительный со времени ее ликвидации и коренного изменения роли США в мировой экономике и в международном положении. Превращение великой американской республики из должника Европы в ее кредитора, претендующего властно вмешиваться в конфликты между старыми империалистическими державами, все растущий процесс подчинения важнейших отраслей европейской промышленности американскому капиталу, все обостряющееся англо-американское соперничество на международном рынке, в колониях и на морях,—таковы были новые могущественные факторы, заставившие интересоваться новейшей историей Европы широкие круги американского общества.

Американские специалисты по истории Европы сразу ожили, их научная продукция значительно возросла. Новая история Европы начинает усиленно изучаться в американских университетах и научно-исследовательских институтах. Американские филантропы-миллиардеры энергично стимулируют работы на этом, еще недавно столь пренебрегаемом, участке исторической науки. Создаются такие первоклассные учреждения, как Изверовская библиотека войны при Станнфордском университете, являющаяся одной из лучших научных библиотек для изуче-

ния истории империалистической войны, возникают специальные университетские издательства, американские ученые получают несравненно более широкие возможности по части научных командировок в Европу, где усиленно работают в различных архивах.

Необычайное усиление интереса к изучению европейской истории и в частности ее социально-экономической стороны среди американских историков было констатировано в специальном докладе, сделанном на международном конгрессе историков в Осло профессором Чикагского университета Бернадоттом Шмиттом, наивно между прочим полагающим, что его американские коллеги, «уже в силу их непричастности (! — *Н. Л.*) к европейским конфликтам, окажутся способными дать беспристрастную оценку событиям, завершившимся роковым кризисом в июле 1914 г.» [1].

В декабре 1926 г. на годичном общем собрании Американской исторической ассоциации было решено создать специальный журнал, посвященный новой истории Европы. Был также избран организационный комитет под председательством професора Хигби. В июле 1928г., благодаря материальной поддержке со стороны University of Chicago Press вопрос о журнале получил практическое разрешение, а в марте 1929 г. стал выходить трехмесячник «The Journal of history», первые три номера которого не так давно удалось получить библиотеке Коммунистической академии.

Главным редактором журнала является Bernadotte E. Schmitt, автор известной монографии «England and Germany» (1740—1914), вышедшей еще в 1918 г.; его заместителем—Louis Gottshalk, недавно выпустивший работу о Марате; среди членов редакционной коллегии находим: профессора Колумбийского университета C. J. H. Hayes'a, автора двухтомного «A political and social history of Modern Europe», специалиста по истории французской революции профессора Boume, профессора Калифорнийского университета Kerner'a и др.

Журнал ставит своей задачей освещение «истории Европы и ее колониальной экспансии», начиная от эпохи Возрождения и кончая ликвидацией мировой войны, причем «история умственного развития, искусств и наук» должна найти себе место на страницах органа наряду со статьями по «политической, религиозной, экономической и социальной истории» [2].

Что касается научной физиономии журнала, его социологической установки, то таковая, если судить по первым номерам, остается довольно неопределенной.

Характерно, что редакция не сочла нужным выступить с какой-либо научной платформой, ограничившись сообщением о предпринятом издании и перечнем его постоянных отделов [3].

Правда, в первом же номере журнала автор этих строк не без удивления нашел перепечатку своей статьи о международном конгрессе историков в Осло, помещенной в свое время в «Правде». Статья помещена в отделе «Документов», в ближайшем соседстве с тремя впервые публикуемыми письмами Барера, и озаглавлена «Коммунистическая оценка исторических исследований» («A communist view of historical studies»). Ей предшествует другого сорта «документ» — знаменитое интервью, данное белоэмигрантом проф. Ростовцевым в норвежскую газету «Aftenposten» и содержащее ряд неприличных выпадов против советской делегации и ее главы—М. Н. Покровского.

Печатая оба «документа», журнал поясняет читателям, что статья московского профессора Лукина, «коммуниста, одного из членов советской делегации и кандидата в члены Академии наук», является о т в е т о м на «заметки» профессора Ростовцева. В третьем номере журнала напечатана статья тяготеющего к марксизму норвежского профессора Кута («Значение классовой борьбы в новой истории»), прочитанная в виде доклада на том же конгрессе в Осло.

В ряде статей, обзоров и рецензий подчеркивается важность изучения социально-экономической истории Европы или с удовлетворением отмечается формулировка, которая могла бы оказаться приемлемой и для историка-марксиста, хотя тут же обычно подчеркивается неприемлемость в столь крайней форме [4].

[1] VI Congrès International des Sciences historiques. Résumés des communications présentées au Congrès, Oslo, 1928, c. 358.

[2] «Journal of Modern history», Vol. I, Number 1, 2.

[3] См. Number 1, «Vi turi Shlutamus».

[4] См., напр., рецензию на книгу Belloc'a «Savb II» (№ 2).

Но все это, разумеется еще не позволяет говорить даже о марксистском уклоне журнала, тем более, что ряд других статей принадлежит авторам, не имеющим к марксизму никакого отношения. Можно констатировать лишь известный радикализм журнала, его благожелательное отношение к советской исторической науке[5] и, может быть, стремление подчеркнуть свое научное «беспристрастие» путем помещения на страницах журнала марксистских или полумарксистских статей. Для буржуазного издания и этого уже много.

В журнале имеется шесть постоянных отделов: оригинальные статьи, документы, статьи библиографического характера (Bibliografical articles), обзоры (Review articles), рецензии (Book reviews) и библиография.

Кроме уже упомянутой статьи Кута, наибольший интерес представляют статьи профессора Висконсинского университета Chester'а Higbi, «Современное состояние новой европейской истории в Соединенных штатах» (кн. 1) и Luella J. Hall, «Неудачи германо-американско-китайского соглашения в 1907/08 г». Последняя статья, написанная главным образом на основании документов, опубликованных в «Die grosse Politik», трактует о малоизвестных конфиденциальных переговорах с Вашингтоном и Пекином, начатых по инициативе Вильгельма II после провала ставки на царя в Биоркё и печального для германской дипломатии опыта Алжезирасской конференции. Новая «антанта» должна была служить противовесом английской политики окружения Германии, но эта цель маскировалась необходимостью охраны принципа открытых дверей и неприкосновенности китайской территории. Казалось, момент был выбран удачно: обострение японо-американских отношений и все определеннее намечавшаяся перспектива раздела Китая без участия Соединенных штатов (франко-японское и русско-японское соглашения в 1907 г.) должны были толкнуть Рузвельта в об'ятия кайзера, любезно предлагавшего помощь германской армии на случай японского десанта в Америке. В свою очередь, присутствие американского флота у берегов Восточной Азии должно было связать значительные морские силы Англии в Тихом океане. Однако расчеты германской дипломатии не оправдались и на этот раз: Рузвельт предпочел заключить за спиной Вильгельма II тайное соглашение с Японией на основе взаимной гарантии неприкосновенности владений обеих держав в Тихом океане и сохранения «статус кво» в Китае. Таким образом эта третья попытка прорвать «железное кольцо» окружения кончилась так же неудачно, как и две первые (Биоркё-Алжезирас).

В том же отделе напечатаны: «Шериф как член палаты общин от времен Елизаветы до Кромвеля» Hulme'а (№ 3), «Бернадотт или Бонапарт» E. Achorn'а (там же), «Россия, проливы и Константинополь (1914—1915 гг.) Kerner'а (там же), «Англия и Дания в последние дни королевы Елизаветы» Cheyney (№ 1), «Избирательная система во Франции при бурбонской реставрации» Artz'а, «Финансовые отношения между Карлом II и Людовиком XIV» Grose (документальное обследование факта поддержки самодержавно-католической реакции в Англии на французские деньги) (№ 2).

Помещенная в той же книжке статья итальянского профессора и редактора журнала «Nuova Rivista Storica» Corraddo Barbagallo («Положение и тенденции исторической науки в Италии») дает мало фактического материала, но любопытна, поскольку автор вынужден констатировать упадок исторического исследования в фашистской Италии[6].

Среди библиографических очерков и обзоров выделяется своей обстоятельностью и полнотой статья Henry E. Bourne'а (Western Reserve-University) «Девятилетие изучения Французской революции», помещенная во втором номере журнала. Не ограничиваясь разбором вышедших за последние 10 лет книг, автор дает в подстрочных примечаниях ссылки на рецензии, появившиеся по поводу этих работ в журналах. К сожалению, в статье не находим ни единой ссылки на новейшие русские работы по истории Французской революции, хотя автору известны библиографические обзоры Кареева и Буковецкого, помещенные в свое время в «Annales historiques». Особое внимание Bourne уделяет исследованиям по социаль-

[5] Наши публикации документов по истории мировой войны и статья т. Покровского по внешней политике широко использованы в статье проф. Кернера «Россия, проливы и Константинополь» (см. кн. 3).

[6] Ср. статью того же автора в IV выпуске «Nuova Rivista Storica» за 1928 г.: «Кризис исторических исследований».

но-экономической истории революции—работам Лефевра, Поре, Матьеза, Мартэна, Сэ, Нуссбаума (Commercial Policy in the French Revolution) и др.

Но Bourne не марксист. Так, например, разбирая небольшую книжку m-me Иоффе, «Рабочее движение в Париже в эпоху Французской революции», он замечает, что автор «преувеличил влияние классового антагонизма» при анализе закона Ле-Шапелье: закон имел в виду лишь помешать возрождению только что упраздненных гильдий и цехов [7].

Очень разочаровывает обзор новейшей литературы по вопросу о происхождении войны, принадлежащий перу Бернадотта Шмитта (см. кн. 1). Автор добросовестно излагает германофобские работы английского публициста Вильсона или француза Renouvin, считающего, что военно-морские приготовления России и Англии были «законными мерами самообороны» и русская мобилизация по техническим причинам могла быть только всеобщей; немца Фишера или американца Фая, считающего, что даже в Марокко политика Германии была скорее оборонительной, чем наступательной, и осмеливающегося подвергнуть сомнению миролюбие Пуанкаре. Но он совершенно не в состоянии об'яснить, почему одинаково почтенные, «воодушевленные желанием восстановить истину», но принадлежащие к различным национальностям ученые приходят на основании изучения одних и тех же документов к диаметрально противоположным выводам, и «согласен видеть основную причину этого грустного факта в сложности проблемы» [8].

Обзорная статья Denys Myers'a, «Американский участок мировой войны» (The american angle of the World war) посвящена анализу появившегося в 1929 г. официального американского издания документов по мировой войне (Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The World war 1914—1915 г.). Документы дают богатейший материал по вопросу, но обходят те «затруднения и неудобства, которые пришлось испытать С. Штатам в силу их положения, как могущественного и нейтрального государства, к которому обе воюющие стороны пред'являли свои требования и претензии. Но в официальном издании почти нет следов той дипломатической кампании, которая велась (в целях вовлечения США в войну) американским послом в Лондоне Пэджем и «другом» Вильсона «полковником» Хаусом. Материал, освещающий эту сторону дела, имеется в недавно опубликованных «Личных бумагах полковника Хауса» и «Переписке Пэджа» [9]. Но американский обозреватель, расточающий обильные похвалы литературному изданию, почему-то не заинтересовался этими «частными» соображениями, проливающими свет на истинные причины вступления САСШ в войну.

Из других обзорных статей назовем: «Новые книги по истории Ближнего Востока», «Новые учебники по новой истории» (№ 3) и «Новые учебники по истории Англии» (№ 1), «Новейшая литература об Эразме».

Хорошо поставлены отделы рецензий, а особенно библиографии. К сожалению, из работ советских историков регистрируются и рецензируются лишь появившиеся на иностранных языках. Поэтому в рубрике «Россия» фигурируют главным образом белоэмигрантские издания. Виноват здесь уже не столько американский журнал, сколько крайне неудовлетворительная постановка информации с нашей стороны. Коммунистическая академия и «Историк-марксист» должны обратить сугубое внимание на это совершенно ненормальное явление.

Н. Фрейберг

ИЗ ФРАНЦУЗСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ ЗА 1928/29 г.

(«Révolution française», «Annales historiques de Revolution française»)

Политическая физиономия этих двух журналов, специально посвященных истории Великой французской революции, достаточно хорошо известна: либерально настроенный, буржуазный историк Олар и, считающий себя марксистом, профессор Сорбонны Матьез наложили на каждый из них вполне определенный от-

[7] № 2, 265.

[8] № 1, 119.

[9] «The intimate papers of colonel Hause» (London, 1926—28), «The life and letters of W. H. Page» (1926). Эти частные публикации широко использованы М. Н. Покровским в его ст. «Америка и война 1914 г.» «(Историк-марксист», кн. 13).

печаток; но может быть нигде разница между этими изданиями не выступает так ярко, как при сравнении их отзывов о выставке по Великой революции, организованной Национальной библиотекой в Париже в начале 1928 г.

Если Олар одобрительно отзывается о ней, как о выставке, полной интереса и разнообразия (belle et variée exposition), где материал подобран чрезвычайно разумно и с полным беспристрастием, «с чисто исторической целью» («Révolution française» № 1 за 1928 г.), то Матьез, наоборот, гневно ополчается на устроителей выставки, видя в ней сознательную подделку под вкусы широкой публики, с целью привлечь на выставку возможно большее число посетителей и увеличить денежные сборы. («Annales historiques» № 2 за 1928 г.).

Матьез справедливо указывает (поскольку об этом можно судить по дошедшему до нас каталогу выставки) на качественную и количественную слабость выставленных экспонатов и резко указывает на то, что народные движения революционной эпохи, клубы, секции и пр. остались совершенно не освещенными, тогда как «страданиям королевской семьи» отведено значительное место.

Вообще, следует заметить, что за последние годы жизни Олара сильно потускнел не только его пресловутый либерализм, но и самый журнал, находящийся под редакцией этого маститого историка, так много сделавшего в свое время для привлечения широких интересов к делу изучения Великой французской революции.

Из статей самого Олара следует отметить помещенную в № 2—3 за 1928 год его работу о Мишле (Michelet historien de la Revolution française»). Эта статья, написанная с присущим Олару стилистическим мастерством, интересна уже по одному тому, что здесь Олар, на протяжении всей своей жизни отстаивавший необходимость «об'ективного» изучения истории, всегда ратовавший за «беспристрастие», как за необходимое и основное качество «ученого-историка»,—сам вынужден в конце концов признать, что «все историки революции имели ту или иную политическую окраску, которая и отразилась на их работах». И ни Мишле, ни сам Олар—по его же собственному признанию—не являются исключениями из этого правила. В этой же статье Олар, характеризуя Мишле как историка, основывавшего свои общие построения на кропотливой и тщательной проработке архивных данных, сообщает нам чрезвычайно интересные сведения о подробных выписках и конспектах, сделанных Мишле из сгоревших в 1871 г. Archives de la Préfecture de Police et Registres de la Commune de Paris. По словам Олара, Мишле с особенным вниманием останавливается на истории Кордильерского клуба и парижской коммуны в 1793 г., в этот наиболее острый период революции, и делал тщательные и подробные записи по регистрам клуба и коммуны за указанное время. Правда, эти конспекты и записи Мишле, которые могли бы явиться для нас чрезвычайно ценным, хотя и полученным из вторых рук источником, повидимому, тоже утрачены. Но тем не менее, их образцы, приведенные в статье Олара, показывают, насколько внимательно относился Мишле к архивным документам и насколько, следовательно, можно опереться на сведения, имеющиеся в его «Истории французской революции», проверить которые в настоящее время уже не является возможным.

Другая статья Олара «Бабеф и его издатель Гюффруа», напечатанная в № 1 за 1929 г., уже после его смерти, представляет интерес главным образом по опубликованному там документу, относящемуся к вопросу о связи Бабефа с фроероновскими кругами в период, непосредственно следующий за 9 термидора.

Оларом опубликовано письмо Гюффруа к Бабефу от 21 вандемьера III года, где эта связь вскрывается совершенно недвусмысленно. В этом же письме указываются и причины, заставившие Гюффруа порвать с Бабефом. 26-й номер бабефовского журнала, где говорится о возможности нового восстания, о замене Конвента Законодательным собранием, о необходимости широких социальных мероприятий, аналогичных loi agraire, является совершенно неприемлемым для фреpоновских кругов и в частности для Гюффруа. «С этих пор мы не можем бороться единым фронтом. «Я больше не твой издатель», пишет Гюффруа Бабефу, подчеркивая существовавшую между ними до этого момента близость.

Это же письмо проливает свет и на вопрос о материальной зависимости Бабефа от того же Гюффруа.

«Предыдущие номера,—пишет Гюффруа,—являются нашей общей собственностью... Все они будут принадлежать тебе после того, как ты возместишь мне расходы по их напечатанию».

И, как будто нарочно для того, чтобы подчеркнуть свою связь с Фрероном. Гюффруа энергично защищает последнего от нападок Бабефа. «Фрерон никогда не нарушал истинных принципов», утверждает Гюффруа.

Из других статей, помещенных в «Révolution française» за 1928 г., следует отметить публикацию Lefebvre: «Постановление 6-го нивоза о реквизиции иностранной валюты» (№ 3), тесно примыкающую к известной работе Caron «La Commission des subsistances de l'an II», где говорится о попытках Комиссии и Комитета общественного спасения наладить торговые сношения с заграницей, хотя бы через нейтральные страны.

Некоторый интерес представляет заметка Rusick'a о французской пропаганде в Бельгии, приводящая текст двух революционных прокламаций 1792 г., обращенных французами к австрийским войскам; любопытно, что эти документы найдены автором в отделе Varia Frankreich венских архивов. Наконец, последний номер за 1928 г. посвящен смерти Олара. Однако, помещенные здесь статьи производят довольно тусклое впечатление [1].

За 1929 год в «Révolution française» помещены статьи Гастона Мартэн, «Бегство в Варенн и впечатление, произведенное им в юго-западной Франции» (№ 2), где указывается, что хотя версия о «похищении» короля и была встречена в Бордо, Нанте, Тулузе, Каркассоне с явным недоверием, но что только народные общества в Монпелье и Страсбурге уже летом 1791 г. высказались за республику; заметка Caron о петиции тираноубийц, относящейся к осени 1792 года (№ 2); статья Robiquet, публикующая протоколы сельской коммуны Ванв (деп. Сены) за 1793 г. и показывающая, как крупные события революции, волновавшие весь Париж, отражались на жизни сельской коммуны и как реагировало на них местное народное общество,—к сожалению, протоколы собраний составлены очень обще и не дают достаточно подробных сведений о жизни французской (хотя бы и пригородной) деревни в революционную эпоху.

Наконец, в № 3 за 1929 г. помещена статья Lafabée, Un chapitre peu connu de la vie d'Henri Saint Simon, рисующая довольно любопытный эпизод из жизни Сен-Симона в 1797 г., когда он повидимому принимал участие в переговорах между Францией и Англией, происходивших в Лилле между лордом Мэльмсбери, с одной стороны, и уполномоченным Директории Maret—с другой.

Интересна статья Карденаля о продовольственном положении департамента Дордонь в годы революции (de Cardenal, Les subsistances dans le dep. de la Dordogne).

В заключение, нельзя пройти мимо статьи небезызвестного Миркина Гецевича об идее отказа от войны, ведущей свое начало, по мнению автора, еще с эпохи революции и ярко выраженной, с одной стороны—в декрете Учредительного Собрания от 22 мая 1790 года, с другой—в пакте Келлога (!) и Парижском договоре 1928 года (!), повторяющих «ту же идею». Если автор видит в Лиге наций (!) выражение «интернациональной доктрины» французской революции, то остается непонятным лишь то, как он мог пройти мимо знаменитого Священного союза, по всей вероятности являющегося тоже по его мнению одним из проявлений «организованного единства народов».

Переходя теперь к обзору «Исторических анналов французской революции», прежде всего остановимся на работах самого Матьеза. Чрезвычайное разнообразие затронутых в них вопросов и вместе с тем необычайная продуктивность Матьеза поражает всякого, кто хоть несколько знаком с работами этого историка. Статьи и заметки Матьеза имеются почти в каждом номере редактируемого им журнала, не говоря уже об общем руководстве, которое несомненно чувствуется в работах его учеников и сотрудников, помещаемых на страницах «Annales historiques». С одной стороны, Матьез продолжает заниматься вопросом о максимуме и разбирает его главным образом с точки зрения его влияния на рабочий класс, как на продавца рабочей силы. В № 3 «Annales historiques» за 1928 г. имеется любопытная заметка Матьеза о забастовке рабочих по фаянсу в мессидоре II года, требовавших, чтобы их зарплата была увеличена не в полтора раза, а в два против ставок 1790 г. По тогдашнему времени это дело было направлено в Революционный трибунал, но самая заметка не теряет от этого своего интереса (см. раздел Notes et glanes, «L'agitation ouvrière à la veille du 9 thermiodr»). К вопросу о максимуме относится и перепечатка Матьезом письма Жака Греню, которое показывает, как расширительное толкование максимума ставило перед французскими революционерами вопрос о том socialisme de fait, который примыкает, с одной стороны,

[1] После смерти Олара редактором Révolution Française избран академик Луи Барту, автор книги «9-е термидора» и министр юстиции при Пуанкаре.

к высказываниям Варле об общине (communauté), где каждый будет получать столько, сколько времени он работает, а с другой стороны,—к предложению Шометта национализировать фабрики и мастерские, оставленные их владельцами («Annales historiques» № 2 1929).

Наряду с этим Матьез продолжает продвигать дальше свою «Историю Французской революции»: так, в № 5 за 1929 г. у него имеется статья о «Выборах V года», которая, очевидно, войдет в подготовляемую им работу об эпохе Директории; статья о белом терроре III года (№ 5 за 1928 г.) уже вошла в книгу «Термидорианская реакция».

Даже небольшие заметки Матьеза дают обычно интересный и свежий материал. Таково, например, публикуемое им письмо Hubert Robert о стоимости национальных праздников (№ 5, 1929), не говоря уже о таких больших статьях Матьеза, как его «L'origine franche-comtoise de la Charbonnerie Italienne» (№ 6, 1928), говорящая о французском влиянии на итальянских карбонариев, или «Saint-Simon, Lauraguais, Barras, Benjamin Constant et la réforme de la Constitution de l'an III» (№ 1, 1929).

Но конечно наиболее интересной статьей Матьеза за 1928—29 г. является его работа о вантозских декретах («La terreur, instrument de la politique sociale des Robespierristes. Les decrets de ventôse sur le sequestre des biens des suspects et leur application», № 3 за 1928 г.). Матьез безусловно прав, когда подчеркивает значение декретов 8—13 вантоза и указывает, что они могли бы путем наделения землей неимущих патриотов расширить социальную базу, на которую опиралось революционное правительство II года, но Матьез все же переоценивает значение этих декретов, когда видит в них чуть ли не переходную стадию к эпохе «социальной демократии». Поскольку вантозские декреты оставляют в полной неприкосновенности принцип частной собственности и говорят лишь о перераспределении земельных владений, постольку всякий вопрос об их якобы «коммунистических» тенденциях совершенно отпадает. Можно указать и на другую сторону матьезовской концепции, которая не вполне увязывается с тогдашней исторической действительностью. В самом деле: Матьез сам указывает на то, что стремление подвести «подозрительных» под те же рамки, что и эмигрантов, было давнишним желанием парижских клубов и в частности тех из них, где господствовали гебертисты; Матьез сам подчеркивает, что первый набросок этих декретов был сделан через 3 дня после овобождения гебертистов Vincent и Ronsin; наконец, Матьез справедливо отмечает, что «вантозские декреты должны были присоединить гебертистов к правительству, так как смутные намерения гебертистов включались здесь в определенную социальную программу». И действительно, если мы вспомним, что именно фамилия Моморо, председателя Кордельерского клуба зимой II года, была тесно связана с loi agraire, если мы вспомним деятельность Моморо в качестве комиссара революционной коммуны 10 августа, если мы вспомним проект «Декларации прав», опубликованный Моморо еще зимой 1792 г., где совершенно недвусмысленно говорится о «фактическом» равенстве, то для нас станет ясным, что Матьез прав, когда говорит, что именно гебертистские клубы должны были стать главной опорой в деле проведения вантозских декретов.

Но как же примирить это утверждение Матьеза с тем, что издание вантозских декретов совпадает с разгромом Кордельерского клуба и с арестом его вождей? Как примирить его с тем, что декрет 13-го вантоза был издан накануне пресловутого восстания Кордельеров, что та речь С. Жюста, которая оканчивается требованием скорейшего учреждения 6 народных комиссий для разбора подозрительных и скорейшего отобрания от них земель для надела ими беднейших патриотов,—что эта речь целиком направлена против гебертистов? Как примирить все это с тем, что именно на эту речь С. Жюста от 23-го вантоза ссылается Фукье-Тенвиль в своем письме к Конвенту, где он сообщает об аресте Венсена, Ронсена, Моморо и др. гебертистов? Не напоминает ли все это, хотя бы до некоторой степени, ту обстановку, которая сложилась осенью 1793 г., когда для того, чтобы разгромить «бешеных» и секционное движение, понадобилось несколько позолотить пилюлю и издать знаменитый декрет о выплате 40 су нуждающимся патриотам за посещение ими секционных собраний? Ведь недаром же сам Матьез говорит о том что, «если призыв гебертистов к оружию не был поддержан (tomba dans le vide), то быть может именно потому, что вантозские декреты, проводимые с такой решительностью, наполнили надеждой сердца санкюлотов». Наконец, не об'ясняется ли задержка в использовании этих декретов (что таковая бесспорно

была, на это указывает не только Матьез в своих работах, но и статьи его учеников, помещенные в «Исторических анализах» в № 1 и 3 за 1929 г.), не об'ясняется ли эта задержка не только отходом от дел Робеспьера, о котором говорит Матьез, но и тем, что за это время гебертистское движение было окончательно разгромлено?

Именно переоценкой вантозских декретов и об'ясняются повидимому те слабые места, которые встречаются в работах Матьеза, когда он говорит о левых группировках французской революции, наиболее удачные статьи Матьеза относятся к вопросам, связанным с борьбой между Горой и Жирондой. Из них прежде всего нужно назвать статью Матьеза о Робеспьере и Верньо (№ 2—3 за 1929 г.), где он дает сравнительную характеристику этих двух лидеров Горы и Жиронды. Зная отношение Матьеза к Робеспьеру, можно заранее предвидеть, что все лавры достанутся на долю «Неподкупного», но все же общая историческая перспектива здесь дана, и фигуры этих двух вождей выступают ярко и выпукло. К этому же вопросу о борьбе Горы и Жиронды относится статья Матьеза «La constitution de 1793», помещенная в № 6 за 1928 г. В основу ее Матьез кладет сравнительный анализ жирондистского проекта конституции и конституции 1793 г., выработанной монтаньярами. Правда, Матьез здесь не доходит до классового анализа их содержания, но, и не выходя за пределы текстов конституции, он показывает, что даже с точки зрения формальной демократии жирондистской проект оказывается менее демократичным, чем конституция Эро-де-Сешелля. Наконец, последняя работа Матьеза, примыкающая к вопросу о Горе,—это его статья «Заметки Бланки о Робеспьере» (№ 4, 1928 г.). Бланки писал эти заметки, сидя в тюрьме после неудачного выступления 20 мая 1848 г., и в основу своей работы положил известную книгу Ламартина. Мы с удивлением видим, что все симпатии Бланки находятся на стороне Дантона; Робеспьер для него—неудавшийся диктатор, предтеча Наполеона Бонапарта. Быть может, именно из-за нежелания итти в разрез с теми взглядами на Робеспьера, которые установились в революционных кругах Франции, Бланки и оставил свои заметки неопубликованными. Вместе с тем эта работа дает материал и для характеристики самого Матьеза. Пожалуй, ни в одной из своих крупных статей Матьез не защищает так открыто «научную ценность исторического материализма» и не ополчается так энергично против тех «буржуазных писателей», которые затушевывают всю социальную и экономическую историю Французской революции. В этом отношении интересна еще рецензия Матьеза на книгу Анри Сэ об американской революции (№ 1 за 1928), где Матьез защищает теорию исторического материализма от чрезмерно узкого ее понимания.

Кроме работ самого Матьеза, интересны статьи и других авторов, помещенные в «Annales historiques» за те же годы.

К вопросу о рабочем движении в эпоху революции относятся статьи Soreau Imperiali (№ 2, и № 5 за 1928 г.), указывающие, что революция, с отменой цехов и запрещением союзов (закон Le Chapelier) не уничтожила однако тех компаньонажей, которые сложились задолго до революции в среде подмастерьев; они резко проявили себя в эпоху империи.

Интересные материалы по продовольственному вопросу можно найти в работах Richard, Реквизиции зерна в департаменте Landes (№ 4 за 1928 г.) и Chobaut, Ярмарка в Beauvais в 1789—96 г. (№ 4 за 1929 г.).

О движении цен в департаменте Эро говорит обстоятельная работа Viard (№ 3 1929, «Vers l'ajustement légal des prix (métal et papier) dans l'Hérault à la fin de l'an» VI).

К работе Матьеза о белом терроре примыкают две статьи Vaillandet, Debuts de la terreur blanche en Vauclase (№ 2, 1928), Le procès des juges de la Commission révolutionnaire d'Oranges (№ 2, 1928), дающие много свежего и красочного материала.

Яркий пример классовой юстиции дает статья Жоржа Жавог о казни Клода Жавог, совершенной 10 октября 1796 года (№ 1, 1928). Статья эта основана на деле, хранящемся в Национальной библиотеке, под заглавием «Процесс 20 лиц, обвиняемых в соучастии в деле Гренелльского лагеря, из которых 9 человек осуждено на смертную казнь»; в ней мы находим полное подтверждение того отзыва, который дал об этом процессе Реаль, выступавший защитником Жавога и взявший на себя позднее защиту Бабефа.

«Это отвратительная бойня, которая незаконно осудила и погубила 60 несчастных»—вот слова Реаля. Между прочим, наблюдение за приведением приговора

в исполнение было поручено отцу Виктора Гюго, тому самому Сижисберу Гюго, который в первые годы революции с восторгом писал о патриотическом поведении французских солдат и подписывался «Brutus Hugo, sansculotte» (№ 5. 1928).

Несколько особняком стоит чрезвычайно интересная статья профессора Гарвардского университета Бринтона—«О социальном происхождении террористов» (№ 6, 1928). В основу своей работы Бринтон кладет анализ списков «террористов», подлежавших обезоружению на основании декрета 21-го жерминаля III года. В этих списках, часть которых сохранилась до нашего времени, точно указывается не только имя, отчество и место жительства каждого из «террористов», но и их профессия; сличая эти списки со списками налогового обложения за 1787—90 гг. и со списками покупателей национальных имуществ в годы революции, Бринтон приходит к тому выводу, что значительную часть «террористов» составляли лица, принадлежавшие к средним слоям французской буржуазии. Правда, сам Брентон оговаривается, что, во-первых, сохранилась лишь часть списков и, во-вторых, что социальный состав всей массы был наверно демократичнее, чем состав ее вождей, хотя бы и провинциальных, которые в первую очередь попали в анализируемые им списки; но все же выводы Бринтона чрезвычайно интересны и требуют дальнейшей разработки.

На статистических данных основывается и небольшая заметка Calvet об участии парижских секций в революции 31 мая—2 июня (№ 4, 1928). Материал сохранился для 33-х секций и дает интересную картину о числе граждан каждой секции, участвовавших в выступлении. Подробные и не лишенные интереса биографические сведения о Дантоне дает Destainville в своих двух статьях «Au sujet d'une généalogie de Danton» (№ 2, 1929) и «La jeunesse de Danton» (№ 5, 1928).

Вопрос о постановке школьного дела в эпоху Директории затрагивает статья Vauthier «L'Enseignement secondaire libre à Paris sous le Directoire» (№ 5, 1929).

Некоторой новостью для матьезовского журнала являются помещенные в нем за 1929 г. статьи по внешней политике Великой революции; еще не оконченная большая статья Grossbart (№ 1, 3, 5, 1929), посвященная политике Франции по отношению к Польше, работа Hardy о колониальной политике Французской революции (№ 5, 1929), вместе с вышедшей в 1927 г. книгой de Marcère, La politique orientale de la Révolution Francaise и рядом работ Charles Roux, бросают новый свет на два узловых вопроса тогдашней европейской дипломатии—вопрос о Польше и вопрос о Турции.

Наконец, следует отметить, что в «Annales historiques»—чуть ли не в единственном из всех французских журналов—в общем отделе библиографии помещаются перечисления статей, помещаемых в «Историке-марксисте». Там же дан обзор Конференции историков марксистов, бывшей в 1928 29 г.; там же (№ 2, 1928) напечатана статья Н. М. Лукина о работах советских историков по Французской революции. В матьезовском журнале напечатана и статейка Н. С. Платоновой о коллекции книг из Воронцовской библиотеки, которая хранится в Ленинграде, частью в Академии наук, частью в Палеографическом музее. На эту библиотеку надо обратить внимание тем товарищам, которые интересуются вопросами Французской революции и не имеют в настоящее время возможности проехать во Францию для работы в архивах и в Национальной библиотеке.

ЖУРНАЛЫ СССР

А. Шестаков

Исторические журналы в СССР на русском языке за 2 триместр 1929 г.: «Пролетарская революция» №№ 5 (88), 6 (89) и 7 (90); «Красная летопись» №№ 2 (29), 3 (30) и 4 (31); «Каторга и ссылка» (Историко-революционный вестник №№ 6 (55), 7 (56), 8—9 (57—58).

«Пролетарская революция» №№ 5 (88)—7 (90). «Пролетарская революция» продолжает выполнять работу по публикации подлинных документов, написанных В. И. Лениным, документов о нем и к нему как от партийных организаций, так и от близких лиц, и наконец, статей о В. И., статей, комментирующих работы В. И. или его отдельные мысли и формулировки.

На первом месте из подлинных документов, принадлежащих перу В. И. Ленина, должны быть отмечены его «Письма из ссылки» за 1898 и 1899 гг. (в №№ 5 и 6 «П. Р.») и «Письма А. Шляпникову» за время с марта по июнь 1916 г. Письма

В. И. Ленина из ссылки в № 5 «П. Р.» являются окончанием их публикации, начатой в № 4 «П. Р.». В № 6 «П. Р.» опубликована лишь первая часть «Писем из ссылки» за 1899 год и в августовском номере обещано их продолжение. Для биографии В. И. Ленина письма представляют выдающийся интерес.

Письма В. И. Ленина А. Шляпникову в № 7 «П. Р.» являются частью общей серии писем В. И. к тт. А. Г. Шляпникову и А. М. Коллонтай, большинство которых уже было опубликовано ранее во II Ленинском сборнике в разделе 3: «Из переписки эпохи войны». Вновь опубликованные письма касаются главным образом издания и редактирования журнала «Коммунист», № 1—2 которого вышел в августе 1915 г. Эти письма имеют не только биографический характер, но и устанавливают ряд принципиальных расхождений, особенно по национальному вопросу, между В. И. Лениным и другим редакторами журнала—Бухариным, Пятаковым и Е. Бош.

В № 7 «П. Р.» опубликован набросок статьи В. И. Ленина «Ответ П. Киевскому», посвященный критике работ т. Ю. Пятакова—«Пролетариат и право наций на самоопределение». Дискуссия о праве наций на самоопределение в 1916 г. была одним из важных моментов идейной борьбы внутри циммервальдовской левой, и, по выражению Ленина, смысл этой борьбы заключался во «всесторонней проверке взглядов, которые должны послужить идейной базой III Интернационала».

К тому же периоду жизни В. И. Ленина за границей относится и опубликованное в № 7 «П. Р.» ленинское «Открытое письмо Борису Суварину». Оно явилось ответом на письмо Б. Суварина, которое было напечатано 2 декабря 1916 г. во французской провинциальной социалистической газете и адресовано швейцарским социалистам и Ленину. Суварин в своем письме защищал центристов против циммервальдовской «левой», упрекая в том, что они неправильно отождествляют центристов с социал-шовинистами. Статья В. И. Ленина с необычайной яркостью и ясностью вскрывает оппортунизм центризма, его прикрытие империалистической войны (с. 130). Со свойственной Ильичу страстностью в статье дана оценка войны, как «капиталистического разбоя», но главное в ней — это разоблачение европейских центристов, а также Л. Троцкого, занявшего двусмысленную позицию. Л. Троцкий отказался, с одной стороны, присоединиться к циммервальдовской левой, создав в то же время с голландской социалисткой Ролланд-Гольст центр, а с другой,—выступал в парижском «Нашем слове» с якобы «левыми» заявлениями в связи с войной.

Из статей, комментирующих В. И. Ленина, следует на первое место поставить работу С. Коршунова — «К вопросу о ленинском понимании диалектики». Тов. Коршунов дает комментарий к ленинскому конспекту «Науки логики» Гегеля, напечатанному в «Ленинском сборнике», т. IX. Статья С. Коршунова заострена против механистов, ipso facto против философских положений некоторых из правых уклонистов. В статье имеются все же достаточно рискованные утверждения, вроде того, что «зачастую Плеханов не пошел дальше внешнего толкования диалектики, заменяя ее пустой игрой слов и понятий». По С. Коршунову выходит, что для Плеханова, как и для всех других меньшевиков, «была скрыта революционная сущность диалектики» и что в писаниях Плеханова нельзу найти «ясного недвусмысленного толкования законов диалектики, которое соответствовало бы диалектике об'ективного мира». Это несомненный перегиб в оценке крупнейшего из наших диалектиков — Г. В. Плеханова.

В рецензируемых номерах «П. Р.» останавливает также внимание статья Д. Кардашева — «Проблема перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую в свете ленинской теории «американского» и «прусского» пути развития России». Следует, однако, заметить, что т. Кардашев несколько злоупотребляет терминологией Ленина, так как В. И. развивал теорию не вообще американского и прусского путей развития России, а только по отношению к ее сельскому хозяйству.

В том же номере помещен отчет о заседаниях научно-исследовательской группы Института Ленина, где дискутировался тот же вопрос о перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую. В отчете даны изложения докладов на эту тему К. А. Попова, тт. Резвушкина и Эльвова и прения, в которых участвовали сотрудники Института. Вопрос о перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую имеет сейчас уже довольно большую литературу, и отмечавшиеся в наших обзорах статьи «П. Р.» занимают в ней довольно почтенное место. Вышедшая на-днях книга К. Попова и Я. Резвушкина

на ту же тему в значительной степени подводит итоги как ранним высказываниям по этому вопросу, так и упомянутой дискуссии.

Полезным комментарием к истории январских тезисов Ленина 1918 г. является написанная В. Рахметовым статья на ту же тему в № 5 «П. Р.». В ней приведены некоторые новые материалы из архива НКИД в связи с кризисом мирных переговоров между Россией и Германией.

Следует также отметить доклад и прения в Институте Ленина по вопросу о ленинских лозунгах эпохи войны. Правда, публикация материалов запоздала больше чем на год. Доклад и прения состоялись 8 и 15 мая 1928 г., опубликованы же они лишь в № 7 «П. Р.», т. е. в июле 1929 г. Некоторые из выступавших в прениях, как П. И. Степанов-Скворцов, уже успели умереть. Он между прочим отмечал, что большевизм играет роль в интернациональном рабочем движении лишь в эпоху войны. В этом сказывается некоторое преуменьшение влияния большевизма на мировое рабочее движение хотя бы в эпоху Первой русской революции, преуменьшение значения представительства большевиков на международных конгрессах II Интернационала и т. д.

Остальные статьи в рецензируемых книжках «П. Р.» касаются главным образом отдельных моментов революционного движения в России и за границей.

«Красная летопись» № 2 (29)—4 (31). Отчетные книжки областного журнала Ленинградского истпарта «К. Л.» дают очень много разнообразного материала, останавливаясь главным образом на эпохе Октябрьской революции. К сожалению, журнал до сих пор не установил более четкого распределения своего материала. В рецензируемых номерах отдельные разделы расположены чрезвычайно пестро (в каждом № по разному), и более или менее общей картины поэтому не получается. Точно так же и отдельные книжки журнала не производят впечатления более или менее цельного обслуживания того или иного вопроса. Бросается в глаза своеобразный провинциализм хотя бы по сравнению с «Пролетарской революцией», органом Института Ленина при ЦК ВКП (б). Несомненно, что здесь сказывается отсутствие достаточного внимания к журналу со стороны областного истпарта. Для того, чтобы журнал имел четкое лицо, чрезвычайно важна плановая работа по журналу: соответствующие заказы статей по определенному плану, предварительная разработка нужных материалов, тщательный отбор статей и т. п. При переходе к областным и краевым об'единениям в нашем Союзе должны создаться при помощи областных и краевых истпартов и архивных учреждений при содействии вузов и комвузов и краеведных организаций своеобразные институты, обслуживающие вообще историю данной области или края и особенно историю партии и советского строительства. При таких институтах чрезвычайно ценно издание областных органов, более или менее регулярно публикующих продукцию работников института. К типу таких органов могла бы быть приближена и «Красная летопись».

Перейдем к оценке материала «К. Л.» в рецензируемых книжках. В разделе «Из истории ленинградской организации ВКП (б)» привлекает внимание статья т. Д. Н. Рудник—«Ленин в борьбе с группой «Вперед». Статья написана по литературным источником и дает в общем правильную оценку «впередовства», как организации, культивировавшей в области философии буржуазный идеализм. Автор цитирует критическую оценку «впередовства» «Красной Розой» (Р. Люксембург), которая в «Пролетарии» № 46 от 11 июля 1909 г. писала о «впередовстве»: «Как проявление позорного упадка революционного духа, это направление заслуживает самого решительного отпора со стороны всей революционной социал-демократии».

В № 4 (31) «К. Л.» дано краткое письмо В. И. Ленина недавно скончавшейся т. Лилиной, тесно связанной по своей работе с Ленинградом.

Некоторый биографический материал о Ленине мы находим в статье М. Г. Гайсинского о крестьянских с'ездах в ноябре-декабре 1917 г. Автор использовал большой архивный материал, преимущественно газеты 1917 г. и протоколы II с'езда, хранящиеся в Институте Ленина. К сожалению, автор не оговорил, что они касаются только одного ноябрьского с'езда и что эти протоколы далеко не полны. Автор не проработал в АОР'е таких материалов, как дела мандатной комиссии с мест на II крестьянском с'езде, а также наказы с мест хранящиеся в том же АОР'е. По ряду моментов у автора недостаточная осведомленность. Так, например, ссылаясь на т. Володарского, он заявляет, что разгромов и грабежей в деревне после Октябрьской революции не было. Это, конечно, неверно. Разработанные нами данные по ЦЧО дают десятки случаев разгром в крестьянами

помещичьих имений после Октября, причем в отдельных местах они продолжались до февраля 1918 г. Работа М. Г. Гайсинского не закончена печатанием в рецензируемых книжках, и поэтому более подробный разбор этой статьи откладываем до следующего номера, ограничиваясь пока лишь этими краткими замечаниями.

Из эпохи гражданской войны отмечаем статьи Г. С. Пухова—«Первые шаги к регулярной Красной Армии» в № 2 (29) «К. Л.» и «Переход от добровольческой к регулярной Красной армии в Петрограде и округе» в № 4 (31) за 1929 г. Первая статья является как бы дополнением к помещенной в № 3 (27) за 1928 г. «К. Л.» статье В. Ф. Малаховского—«Переход от Красной гвардии к красной армии» и захватывает главным образом период за апрель 1918 г.—этот наиболее яркий переломный момент в строительстве Красной армии. Вторая статья является продолжением «Первых шагов». Обе статьи построены на интересном архивном материале и делают большой вклад в литературу вопроса. К обеим статьям даны приложения редких документов, заимствованных из «Петроградской правды» и протоколов первой Петроградской конференции большевиков-красноармейцев в 1918 г.

Революционное прошлое армии и флота обслужено далее ценными статьями А. К. Дрездена, сработанными по военным архивам: «Балтийский флот в годы реакции» в № 4 (31) и «Центральные матросские и офицерские организации Балтийского флота в 1917 г.» в № 3 (30) «К. Л.» В том же № помещены с комментариями А. Ф. Ильина-Женевского материалы о выступлении полков в Петрограде в июльские дни 1917 года. Материалы взяты из «Дела 3—5 июля», часть которого уже была опубликована И. Тоболиным в «Красном архиве» в № 4 (23) и 5 (24) за 1927 г. с предисловием М. Н. Покровского.

Во всех рецензируемых книжках, кроме того, идет большая работа Н. А. Корнатовского, начатая печатанием еще в № 2 (28) «К. Л» — «Второе наступление белогвардейцев на Петроград». Она посвящена гражданской войне на северо-западе России в 1919 году, причем автором использован разнообразный литературный и архивный материал, особенно военные архивы. Работа Корнатовского, вероятно, выйдет отдельным изданием, и ей необходимо посвятить особую рецензию, так как по своей теме и своему содержанию она настолько ценна, что оставлять ее только в книжках областного журнала было бы нецелесообразно[1]. В этом отношении Ленгиз поступил совершенно правильно, издав отдельной книжкой работу т. А. Е. Бадаева о большевистской фракции 4-й Гос. думы и революционном движении в Петербурге за этот период. Работа написана т. Бадаевым по архивным материалам, по стенограммам 4-й думы, по печатным источникам того времени и по личным воспоминаниям самого автора. В № 3 (30) «К. Л.» напечатаны 3 главы из этой книги: из них две посвящены Краковскому и Поронинскому совещаниям с В. И. Лениным и одна—история с провокатором Р. Малиновским. Эти главы являются лучшими в прекрасной книге т. Бадаева, которую, кстати, горячо рекомендуем самому широкому кругу читателей.

Очень ценный раздел «К. Л.», посвященный истории ленинградских заводов, в № 2 (29) представлен материалами В. Брусянина «Черная сотня на фабриках и заводах Петербурга в годы реакций», Ильина-Женевского—«Когда и как начал свое существование Путиловскиий завод» и Паялина «Невский завод в 1903—6 гг.». Этого конечно, совершенно недостаточно, и, пользуясь случаем, еще раз обращаем внимание Областного истпарта Ленинграда на чрезвычайную важность работы именно в данном направлении. Очень ценные исторические материалы мы находим также в разделе, посвященном истории революционного движения в Ленинградской области, в виде небольших очерков, воспоминаний и архивных справок. В числе других отмечаем интересную справку о крестьянском движении в Псковской губернии в 1901—4 гг., которое до сих пор лишь мельком привлекало внимание историков крестьянского движения этого периода. Любопытны прокламации, приложенные к справке, от имени Псковского комитета РСДРП, датированные августом 1903 г. и декабрем 1904 г. Этот раздел революционного движения по области, конечно, также нуждается в значительном расширении, как и раздел истории ленинградских заводов.

«Каторга и ссылка» (Историко-революционный вестник)—№№ 6 (55)—8—9 (57,58). К рецензентскому обзору «К. и С.» приступаем с выявле-

---

[1] Работа т. Корнатовского уже вышла отдельным изданием—*Ред.*

нием в книжках важнейшего материала о В. И. Ленине. В № 7 (56) «К. и С.» имеем статью М. К. Корбут—«Студенческое движение в Казани в 80-е годы и Ленин». Статья написана главным образом по протоколам совета Казанского университета, по воспоминаниям П. Д. Шестакова, напечатанным в «Русской старине» 1892 г., т. 74, по воспоминаниям А. И. Елизаровой и другим уже опубликованным материалам. Нового о студенческих годах В. И. Ленина статья М. Корбут дает, таким образом, очень немного.

В качестве отголоска юбилея Н. Г. Чернышевского может быть отмечена в том же номере «К. и С.» заметка Н. А. Виташевского о Н. Г. Чернышевском, комментированная Н. А. Алексеевым. Заметка еще раз подтверждает положение, что Чернышевский был знаком с работами К. Маркса. Виташевский записал по этому вопросу со слов С. Г. Стахевича следующее: «Чернышевский говорил, что Маркс напрасно употреблял трилогический философский метод Гегеля: все, что он сказал, можно изложить гораздо проще. Но историческая часть работ Маркса—прекрасна». Комментатор Н. А. Алексеев приводит из воспоминаний С. Г. Стахевича, что у Чернышевского были «Zur Kritik der politischen Oekonomie» и «Das Kapital». По прочтении «Zur Kritik» я сказал Николаю Гавриловичу, что ничего особенного в этой книжке не нахожу; удивляет меня несколько погоня автора за гегелевскою обмундировкою очень простых экономических тезисов; у него везде непременно строится—тезис, антитезис, синтезис». Н. А. Алексеев указывает, что ни Стахевич, ни Виташевский не обратили внимания на то, что сам Чернышевский пользуется гегелэвской «триадой» или «трилогически-философским методом Гегеля» в своей статье: «Критика философских предубеждений против общинного землевладения» (Полное собрание сочинений Чернышевского, т. IV). Этот штрих из жизни Чернышевского подчеркивался в устных высказываниях во время юбилея Н. Г. Чернышевского, но. насколько нам известно, в литературе не был отмечен.

По отдельным моментам революционного движения могут быть выделены статьи В. И. Засулич в № 6 (55) «К. и С.», написанные для западно-европейской социалистической аудитории, которую автор знакомил с некоторыми сторонами истории и практики революционного движения в России. Наиболее ранним документом этого рода является обращение В. И. Засулич «К немецким социалистам, собравшимся в Цюрихе 5 февраля 1882 г.». В этом письме В. И. Засулич выступала в качестве заграничной представительницы Красного Креста партии «Народной воли». Письмо представляет большой интерес для изучения истории отношений между русскими и немецкими социалистами той эпохи. Затем опубликованы принадлежащие перу В. И. Засулич предисловие «К надгробному слову Александру II.» и «Женщины в русском рабочем движении». К той же эпохе относится окончание статьи Лившица в № 6 (55) «К. и С» о подпольных типографиях 60—80 гг. Для историков крестьянского движения в XIX в. полезный материал дает статья С. Архангельского в том же № 6 (55) «К. и С.» «Крестьянские волнения в Семеновском уезде в 1825 г.». Она составлена по документам Нижегородского дворянского архива, причем автор поместил в качестве приложения инструкцию генерал-майору Беляеву от губернатора Крюкова, руководившего усмирением волнения. Интересно отметить, что два сына Крюкова были деятельными членами Южного общества декабристов и ближайшими сотрудниками Пестеля. Молодые Крюковы были приговорены к 20 годам каторги. К тем же далеким временам, связанным с декабризмом, должна быть отнесена и статья С. Гессена «Лунин и Пушкин», где комментируется отношение Пушкина к Лунину.

Из более поздней эпохи революционному движению XX в. посвящен ряд небольших статей и воспоминаний, из которых можно отметить в № 6 (55) статью Левицкого «Провокатор Абросимов», сотрудник меньшевистской «Рабочей Газеты», работавший также и в Москве в период империалистической войны. Статья М. Лебедева в № 7 (56) под странным названием «Кара-коба»—по русски «черная пещера» дает яркую картинку описания лаборатории бомб, устроенной под Севастополем в квартире латышей Штальберг, выданных затем провокатором Азефом. В том же номере «К. и С.» помещена статья Л. С. «Красный остров», посвященная подпольной работе в Кронштадте и кронштадтских тюрьмах в период 1906—1907 гг.

С большим вниманием читаются статьи из отдела «Тюрьма, каторга, ссылка и эмиграция» и «Лики отошедших». В хронике дается большой материал из жизни общества политкаторжан.

№ 8—9 (57—58) посвящен 50-летнему юбилею «Народной воли» и заслуживает специальной оценки. На первом плане дискутабельная статья т. Ив. Теодоровича «Историческое значение партии «Народной Воли».

Тов. Теодорович очень остро поставил ряд вопросов, связанных с оценкой «Народной воли» как революционной партии в отношении ее программы, тактики и организации, а также значения «Народной воли» для последующих поколений революционеров. В связи с разрешением этих вопросов т. Теодорович полемизирует с рядом авторов, писавших о «Народной воле», и в том числе и с. М. Н. Покровским. Анализ т. Теодоровича далеко не удовлетворителен: он приписывает М. Н. Покровскому совершенно зрящие вещи, вроде того, что будто бы М. Н. расценивал народовольцев, как представителей буржуазной партии, что М. Н не понял всей важности народовольчества, как течения сокрушившего царизм, этот оплот всей реакции в Западной Европе, и т. д. Более подробный разбор взглядов т. Теодоровича на «Народную волю» дается в ближайшем № «И.-М.» в особой статье.

Из других статей юбилейного номера «К. и С.» следует отметить работу П. Анатольева также дискутабельного характера: «К истории закрытия журнала «Отечественные записки». Автор изображает дело таким образом, что в момент закрытия «Отечественных записок» — 1884 год — среди интеллигенции после разгрома «Народной воли» царило чрезвычайно упадочное настроение. Тов. Анатольев указывает только на одну московскую студенческую организацию «Интерфракционное общество», которая более или менее действенно реагировала на произвол царских палачей, задушивших лучший журнал интеллигенции. По т. Анатольеву получается, что в середине 80-х годов реакция так окрепла, что все было разрушено, разбито, а подлые «либералы» показывали социалистам «кукиш». Сами же социалисты в лице студенческой молодежи «истошно надрывались, повторяли вдолбленные им народовольцами мысли о союзе с либералами». Конечно, т. Анатольев не прав в оценке этого момента в жизни революционного подполья в средине 80-х годов. Рекомендуем ему вспомнить хотя бы дело А. И. Ульянова и др. Пропаганда среди рабочих также в это время значительно продвинулась вперед, подготовляя кадры деятелей рабочего движения в 90-е годы и так далее.

Н. Бух в том же номере «К. и С.» печатает свои красочные воспоминания о первой типографии «Народной воли», М. Тимофеев—о семидесятых годах, Г. Борзяков о революционной молодежи в Одессе в 1882—1884 гг. и др. Р. М. Кантор приводит две интересные исторические справки—одну о динамите «Народной воли» (его приготовлении в России, перевозке и т. п.) и о процессе Н. И. Кибальчича. Б. Козьмин опубликовал новую записку Н. В. Шелгунова от 1883 г. по поводу журнала «Дело».

Далее в рецензируемой книжке «К. и С.» помещен ряд более мелких воспоминаний об отдельных деятелях «Народной воли».

РЕЦЕНЗИИ

ERNST STEIN. Geschichte des spätrömischen Reiches, I Band, Verlag von Seidel, Wien 1928, s. 590+ +XXIV.

Мы имеем дело с началом многотомной, большой работы, посвященной истории Византии. Автор давно известен своими занятиями и трудами монографического характера по истории Византии. Главный из них вышел в 1919 г. под названием: «Studien zur Geschichte des Byzantinischen Reiches». Пройдя школу Гартмана, знаменитого автора «Geschichte Italiens», имея за собою много интересных исследований по административному и финансовому строю Византийской империи, Эрнст Штейн берется в настоящее время за ту область исторического познания, в которой до сих пор монополия на первенство принадлежала исключительно англичанам. Затмили же в свое время Гиббон, Финлей, а в наши дни Бери работы французов Тиллемона, Дюканжа, Ле-Бо и Кузена, которые долгое время были единственными авторитетами во всех вопросах византийской истории.

Как бы то ни было, весь довольно об'емистый первый том собственно является только введением и носит подзаголовок «Vom Römischen zum Byzantinischen Reiche». После сравнительно небольшого вступления, излагающего эволюцию социального и политического строя, права, администрации и военной организации эпохи принципата, вся книга в сущности является обзором двух веков домината (284—476 гг.), к концу которых, по схеме автора, только и сложилась Византийская империя.

Таким образом, по основной идее автор примкнул к английской школе: для него Византия—та же поздняя Римская империя, как для Гиббона или для Бери. Но есть и разница. Для Бери Римская империя никогда и не пала («no empire fell», с. 476). Эрнст Штейн эту дату не считает возможным игнорировать. Не даром он—ученик Гартмана; поэтому в заключение всей книги он заявляет, что «момент исчезновения древней империи в Италии правильно рассматривается как наступление новой эпохи» (с. 590). Эта точка зрения смягчает ригоризм Джона Бери, но она отмежевывается вместе с тем от прямолинейности Гиббона, для которого вся история Византии не больше не меньше, как неуклонный процесс разрушения Римской империи. Таким образом немецкая школа, основоположником которой можно считать именно Эрнста Штейна, а началом—разбираемую книгу [1], не заняла еще самостоятельной позиции в определении природы Византийской империи и плетется в хвосте английской византологии, вырабатывая только незначительные вариации.

В чем здесь основная методологическая ошибка? Изучают эволюцию отдельных учреждений—армии, суда, финансов, сената, двора, церкви. Находят начало для каждого учреждения в императорском Риме. Изменения вполне удовлетворительно об'ясняются теми или иными условиями, нередко даже, к нашему удовольствию, как это мы встречаем у разбираемого автора, именно условиями хозяйственного и социального порядков, и удовлетворяются куцым заключением, что такое-то учреждение—по существу чисто римское в несколько измененной сообразно условиям форме. Принимая государство за сумму государственных учреждений, не замечая или игнорируя классовую его природу, освобождают себя от обязанности исследовать—какие конкретно классы в каком между собою соотношении выработали тип такого именно государственного строя, а провозглашают совершенно бесплодную, никуда не ведущую истину: Византия и поздняя Римская империя едино суть!

Что эта истина так обрадовала Гиббона—еще понять можно. Что Финлей, обуреваемый теми же настроениями, искал не римских, а греческих начал в средневековой Византии—тоже еще допустимо. Но чем так соблазняют эти взгляды просветителей XVIII в., истори-

[1] Книги Герцберга имеют чисто повествовательный характер и новой линии в анализе природы Византийской империи не обнаруживают.

ков XX в., как Бери в Англии или Штейн в Германии, — вряд ли можно об'яснить чем-либо другим, кроме упадочничеством буржуазной исторической науки вообще.

В полной гармонии с «соглашательским» характером самой схемы византийской истории у Штейна стоит и форма его изложения. При максимальной точности обработки источников, при тщательном вычислении и прекрасном согласовании хронологических данных, при аккуратнейшей сверке самых различных сообщений, мы находим некоторую бессвязность самого изложения. Это происходит от старания автора изложить по возможности концентрированно события и явления одного отрезка времени. Это старание сосредоточить все внимание на синхронизме событий приближает изложение к летописной форме, к анналистике со столь характерной формулой: «Zur selben Zeit» и т. д. Но при такой форме изложения пропадает самое важное в истории, именно изображение процессов, диалектика исторической эволюции.

Что принадлежит к числу достоинств разбираемой книги—и достоинств первоначальных — это чрезвычайно умелое использование первоисточников для установления индивидуальных и единичных фактов. И не только критическое сопоставление литературных источников, но привлечение в неизвестных до сих пор размерах вещественных памятников, памятников эпиграфических и в особенности монет соответствующих императоров, правителей провинций и эпох выгодно отличает эту работу от всех предшествующих (в том числе и Бери). Здесь достигнуты завидные для советских историков вершины в самой технике исторического исследования.

Но эти усовершенствованные методы исследования применены к изучению не всего исторического процесса в целом, а только отдельных институтов. Внимание автора преимущественно приковано к государственному праву, административному и финансовому строю и — несколько меньше — к церковному управлению и внешней политике. Нечего и говорить: это шаг вперед от всей предшествующей византологии, в которой, не исключая и работ Бери, изложение догматических споров и войн занимало главнейшее место. Но это далеко еще не то, что должно составить предмет действительно научной истории. Функциям какого-нибудь начальника царской опочивальни уделяется огромное внимание. Эволюция этих функций, рост компетенции освещается с возможной тщательностью и подробностью, со ссылками на подлинные указы и циркуляры. Движению галльских колонов, восстанию багаудов, которое продолжалось столетиями, прерываясь и возобновляясь, посвящены буквально отрывистые строки. Предпринимаются кропотливые изыскания в специальной литературе и нумизматике, чтобы установить подлинное имя того или иного императора или дату и продолжительность той или иной его любовной связи, и вместе с тем только вскользь и мимоходом, по-казенному, упоминается о вековой борьбе циркумцеллионов в императорской Африке или о других подобных массовых движениях.

Еще хуже обстоит дело, когда изложение сталкивается с моментами, где нельзя обойтись без обобщающих положений, когда необходимо выявить точку зрения на движущие силы эпохи. Тут автор проявляет чрезвычайное убожество мысли. Правда, он совсем не дурно философствует по этим предметам. На с. 448 он говорит совсем не плохо о политическом значении и даже об экономических корнях богословской распри в христианском Египте. Автор не хочет верить утверждениям в роде того, что усиление авторитета римского епископа произошло благодаря набожности Плацидии или Валентиниана III, Он считает это явление следствием чисто государственных соображений.

Но, во-первых, эти трезвые рассуждения растворяются во многих других менее трезвых или уже совершенно не трезвых.

Во-вторых, и это самое главное, все эти соображения навеяны внешними влияниями и очень мало отражаются на построении самой работы. Это — прекрасные слова,—не более. Автор совершенно бессилен их претворить в руководящий принцип своего исследования. В результате—преобладание биографического элемента в изложении, сведение массовых движений к проискам и интригам, в борьбе личностей. Преследование христианства в III в. об'ясняется личной грубостью императоров. Улучшение положения рабов об'ясняется не оскудением самых источников пополнения рабских кадров, а влиянием стоической философии.

Перенесение столицы в Константинополь было следствием не чего иного, как желания Константина увековечить свое самодержавие основанием города, который затмил бы все прежние (с. 193).

Война 421 г. с персами, оказывается, имела свои причины — заступничество благочестивой Пульхерии за единоверцев-христиан. Таких примеров в книге можно найти множество. И конечно, как всегда при таком понимании истории, изложение сводится к идеализации одних героев и очернению других. При этом Эрнст Штейн избегает шаблонов и скорее проявляет приверженность к парадоксам. Вопреки установившимся традициям, он тщательно реабилитирует Констанция, реабилитирует оклеветанного Гиббоном западного императора Валентиниана III и наводит солидную тень на добродетельного героя классических историй—полуфилософа Аэция. Это говорит о том, что автор способен видеть исторические явления с новой точки зрения.

Тем более жаль, что он принижает свой научный авторитет изысканиями романтических побуждений к нашествию Аттилы 451 г., подробным изложением скандальных романов Юсты-Граты Гонории, сестры Евдоксии, жены Валентиниана III и т. п. По поводу легализации христианства, автор не нашел других оснований, кроме нижеследующего: «Может быть, действительно, как утверждалось со стороны христиан, допущение, что телесные муки императора надо приписать мести христианского бога, побудило умирающего в апреле 311 г. издать эдикт» и т. д.

Трудно договориться до большей нелепости. Впрочем, на с. 207. автор пытается превзойти эту нелепость сообщением об указе Констанция 342 г. против педерастии как об акте раскаяния императора в грехе мужеложества. Однако это все частности, хотя довольно характерные для лучшего из буржуазных ученых. Есть основные грехи в этой работе, которые проистекают от той же принципиальной невыдержанности точки зрения на характер исторического процесса в целом. Это—формализм в периодизации, по которой начало Византии отнесено к 476 г., к моменту формального падения Западной Римской империи. Затем, процесс возвышения Византии автор повидимому усматривает не в тех или иных реальных исторических явлениях и событиях, а исключительно в законодательных актах, формулирующих старшинство восточного Августа перед западным. Но это весьма опасное заблуждение, которое может выдвинуть на первый план второстепенное и отвлечь от поисков главного и существенного. Однако обсуждение этих сторон работы придется отложить до выхода следующих томов разбираемого труда.

Отметим попутно с удовлетворением отповедь, которую получил от автора наш «маститый» соотечественник Ростовцев, который в своей капитальной книге на английском языке (The social and economic history of the roman empire, 1926), уподобил римскую армию III века рабоче-крестьянской Красной армии, воюющей против классового господства своей городской «буржуазии». Весьма ядовито охарактеризована и книга Ростовцева «Эллинство и иранство на юге России» (1922 г.), как довольно беспочвенное произведение. Но это между прочим.

Г. Лозовик.

HENRI PIRENNE. Les villes du moyen âge. Bruxelles. Maurice édition, 1927.

Генри Пиренн. «Средневековые города». 1927.

Основная цель книги—выяснить генезис средневекового города. Хотя Пиренн говорит о средневековом городе вообще, но весь ход его аргументации предполагает город континентальной Европы. Концепция Пиренна оригинальна, свежа и не укладывается ни в одну из известных в исторической литературе схем. Страницы, посвященные характеристике социального строя древних германцев и меровингской эпохи, обнаруживают сильную связь автора с романистами и Допшем. В изображении фактической стороны каролингского периода он близко примыкает к противнику Допша—Инаме-Штернеггу, в оценке же деятельности Карла Великого и социального смысла эпохи этого последнего стоит совсем особняком.

Экономическая жизнь Римской империи была теснейшим образом связана с Средиземным морем—основной торговой артерией, соединявшей Восток с Западом. Германские племена, нахлынувшие на империю, ни в чем не нарушили ее традиционного хозяйственного уклада. И в меровингскую эпоху Средиземное море сохраняет значение нашего моря, mare nostrum, попрежнему поддерживается сеть отдаленных торговых сношений и попрежнему продолжают существовать профессиональный класс купцов и города как крупные торговые центры. Ярким свидетельством такого положения вещей служит город Марсель, связанный оживленными торговыми сношениями с Константинополем, Сирией, Африкой, Египтом, Испа-

нией и Италией. Старый экономический порядок исчезает только с вторжением арабов в Европу. Отрезав народы, поселившиеся в пределах Римской империи, от Средиземного моря, они лишают их внешних рынков. Это служит толчком к исчезновению строя, основанного на широком обмене, и к перерождению его в общество чисто аграрного типа. Совершается усиленный рост крупного землевладения и параллельно с этим тает масса свободного населения. Одновременно исчезает и город в старом смысле слова. Те поселения, которым присваивается теперь это название, представляют собой лишь маленькие центры узко локального обмена. Очерченная эволюция достигает полного выражения при Карле Великом и его ближайших преемниках. В противоположность господствующему в исторической науке взгляду, Пиренн утверждает, что время правления Карла Великого было эпохой тяжелого экономического упадка. Монархия Карла Великого, говорит автор, это—государство, совершенно оторванное от моря, совершенно изолированное от внешнего мира, золотой век замкнутого домашнего хозяйства. Новый хозяйственный под'ем начинается лишь в XI веке под влиянием роста населения и торгового расцвета Фландрии и Италии (главным образом Венеции). Эти выросшие на двух противоположных концах Европы торговые центры вновь связали Запад с Востоком и вернули остальной Европе рынки, утраченные благодаря вторжению арабов. Начиная с этого момента, город континентальной Европы вновь вступает в полосу расцвета. Итак, город порожден торговлей. Он расцветает с ее развитием, хиреет с ее упадком.

Таково содержание первой, наиболее интересной и значительной части работы Пиренна. Во второй ее части автор обосновывает достаточно известную в литературе теорию развития города из купеческого поселения. Опасность и трудность передвижения на далекие расстояния рождали для купца необходимость остановок в пути. Первейшим требованием, пред'являемым к этим местам отдыха, была безопасность. Так как крепости давали больше всего гарантий в этом смысле, то они и стали местами купеческих стоянок. Обычно купцы останавливались не в самой крепости, а близ нее. Частая посещаемость этих мест отдыха превращала их в постоянные купеческие поселения. Близ бурга (bourg) возникал фобург (faubourg), и соединение того и другого давало город. Конечно, шансы превращения в город имели не все крепости, а лишь те из них, которые были расположены вдоль торговых путей.

Через всю книгу Пиренна красной нитью проходит идея решающей роли торговых путей в деле определения социальной физиономии общества. Наличие внешних рынков рождает широкий обмен, профессиональный класс купцов и город как торговый центр. Исчезновение внешних рынков толкает общество на путь аграрной реакции и создания экономических предпосылок феодального строя. Эта мысль подкрепляется у Пиренна не только приведенным примером франкского государства, но и эволюцией Киевской Руси до нашествия татар и после него.

Таким образом, проблема городского развития выводится из узкой сферы местных тупиков на широкую арену международных торговых влияний. Вместе с тем косвенным образом провозглашается примат торгового капитала в процесе экономической эволюции общества. Но автор не удерживается на высоте выдвинутого им социологического обобщения. Его трезвые конструкции, к сожалению, затемняются побочными течениями мысли и усвоенной им терминологией. Они производят впечатление чего-то наносного, чуждого истинному ядру его идеи. Последняя настойчиво твердит о колоссальном значении торговых путей. Между тем автор говорит о роли ислама в борьбе Магомета с Карлом Великим. Таким образом, широкий социологический процесс персонифицируется и принижается. Установив связь между исчезновением внешних рынков и аграрным перерождением общества, автор в недоумении останавливается перед своим выводом и определяет констатированный им факт как «аномалию». Магомет, в его изображении, как бурный вихрь, врывается в тысячелетний ход истории и насильственно поворачивает его на новые пути. Повидимому, он считает нормальным лишь тот тип эволюции, при котором общество развивается единственно из своих внутренних предпосылок, в неизменном направлении от земледелия к торговле.

Совершенно лишен обоснования взгляд Пиренна на эпоху Карла Великого, как на период тяжелого экономического упадка. Автор игнорирует грандиозную попытку в эпоху Карла Великого проложить торговые пути к северным морям, выразившуюся в борьбе с саксами. Он вынужден при-

знать громадное оживление законодательной деятельности и расцвет литературы при Карле Великом. Но, отвергая экономическую основу этих фактов, он бессилен об'яснить их. Эпоха Карла Великого и каролингов сливаются в его представлении в единую нераздельную историческую полосу. Идя в разрез с документальными данными и сложившимися мнениями, эта точка зрения требует сугубо обоснованного доказательства. Между тем, в книге Пиренна она выражена голословно.

Правильный вывод о роли торговых путей и внешних рынков в процессе развития города подсказывает Пиренну меткие исторические параллели. Но эклектизм мировоззрения заставляет его сбиваться на тему другого—не экономического—порядка и заслоняет от него истинное значение его же собственных выводов.

В. В. Стоклицкая-Терешкович

КЛАРА ЦЕТКИН. Очерк истории возникновения пролетарского женского движения в Германии. Перевод с рукописи. Издательство Коммунистической академии, Москва, 1929, с. 160.

Проблема пролетарского женского движения чрезвычайно слабо разработана в нашей литературе, и таким образом работа Клары Цеткин является первым вкладом в исследование генезиса пролетарского женского движения пока еще одной страны—Германии.

Задачей брошюры, как ее определяет сама т. Цеткин, является изображение того пути, который «проделал организующий пролетариат от революционных дней 1848/49 г. до середины 60-х годов прошлого столетия — путь от сочувствия несчастному положению женщин и от жалоб по поводу их рокового влияния на условия труда и жизненный уровень всего пролетариата до перехода к практическому проведению принципов... организации эксплоатируемых капиталистическим классом женщин и мужчин для совместной и решительной борьбы против общего врага» (с. 7).

Первая часть брошюры рисует то положение, которое существовало в Германии до начала организованного пролетарского женского движения, до основания международного профессионального союза 1869 г. в Саксонии, явившегося первой организацией пролетарок. В брошюре кратко описывается первое выступление немецкой буржуазной женщины на борьбу за равноправие в годы революции 1848/49 г. Идеи женской эмансипации в Германии были туманны и неясны, все движение слабо организовано, особенно если сравнить женское движение за равноправие в Германии с таковым же во Франции, например со смелым призывом Флоры Тристан, которая уже в начале 40-х годов требовала освобождения женщины, а также пролетариата как класса, или с энергичным требованием неограниченного равноправия женщин США. В Германии принципы эмансипации отстаивались без достаточной решительности, там не наблюдалось вмешательства широких масс женского населения в ход революционных событий. Причина слабости германского движения за женское равноправие, по мнению автора книги, лежит в исторической незадачливости германской буржуазии, принужденной действовать в эпоху развитых классовых противоречий.

«Страх перед пролетариатом, калечивший германскую революцию, тяготел и над делом женской эмансипации, сводя его на более узкий уровень, уменьшая его размах и значение, лишая его под'ема» (с. 31). Ценность брошюры т. Цеткин заключается в том, что эта книга окончательно разрушает легенду о том, что классово-сознательное, пролетарское женское движение является инородным придатком буржуазного женского движения. Борьба германских пролетарок за равноправие выросла из других корней, она связана исключительно с германским рабочим движением.

Автор прослеживает эволюцию отношения рабочего класса к вопросу о женском труде. От «Всеобщего германского рабочего союза», для которого характерно было отрицательное отношение к женскому промышленному труду, через организацию I Интернационала, провозгласившего: нет мужчин и женщин, а есть эксплоатируемый класс пролетариата, к первой организации пролетарок в 1869 г.—таковы основные этапы этого пути. Чрезвычайно ценна в брошюре глава, рисующая отношение Маркса и Энгельса к женской эмансипации и позицию, занятую I Интернационалом по этому вопросу. Автор подчеркивает, что изменение отношения к промышленному труду женщин теснейшим образом связано с деятельностью I Интернационала, ибо, главным образом, под влиянием этой международной организа-

ции пролетариат научился применять учение о классовой борьбе к промышленному женскому труду. Решающее значение I Интернационала в смысле укрепления среди германского пролетариата идеи полного женского равноправия заключается не в декларации принципов, а в практической борьбе за женские права, которую вел I Интернационал.

Глава, относящаяся к деятельности первой организации пролетарок—международного профессионального союза мануфактурных, ремесленных рабочих, который был основан в феврале 1869 г. в Криммичау в Саксонии, изложена на основании свежих, неизвестных у нас в СССР материалов. Автор характеризует устав и принципы союза. Устав провозглашал полное равноправие женщин-сочленов. Этот пункт устава не был платонической, принципиальной декларацией. Женщины, организованные в Союз, принимали участие в местных правлениях и комитетах этой организации. Союз выдвинул энергичных деятельниц-пропагандисток, которые распространяли идеи организованной борьбы против буржуазии в широких массах рабочих. Основные принципы, легшие в основу этого союза - то - ясное сознание необходимости общей организации и общей борьбы пролетариев без различия пола, пролетарский интернационализм, отсутствие примеси буржуазной идеологии женского равноправия. Основная цель союза—борьба за социализм. Закон о социалистах повел к крушению международной профессиональной организации в Саксонии, вместе с тем потерпело крах и стремление вовлечь пролетарок в активную классовую борьбу; «разбилась форма, в которой международный профессиональный союз попытался об'единить стремления к подготовке организации пролетарок как сознательных участниц классовой борьбы, но тенденции продолжают жить»,—пишет автор (с. 114).

До самой империалистической войны пролетарское женское движение верно следовало заветам Саксонского профессионального рабочего союза, но после войны боевой отряд женского социал-демократического движения изменил своему знамени. Женское движение превратилось в исполнительную, ревностную прислужницу реформизма. Автор заканчивает свою брошюру резкой критикой, направленной по адресу современного социал-демократического женского движения в Германии, переживающего острый кризис. К брошюре приложены биографические заметки, которые дают характеристику трех деятелей женского движения — Луизы Отто Петерс, Флоры Тристан и Юлии Моттелер.

Брошюра Клары Цеткин проливает яркий свет на часто забываемую героическую эпоху германской социал-демократии, восстанавливает память о ряде деятелей этой эпохи, подчеркивает значение их идей для будущего и дает ценный материал для характеристики генезиса пролетарского женского движения. Ее книгу, написанную к тому же ярким образным языком, прочтет с пользой всякий интересующийся данной проблемой.

Р. Авербух.

PAUL JOSTOK, Der Ausgang des Kapitalismus. Ideengeschichte Seiner Ueberwindung, München, Dunker & Humbolt, 1928, 301 (Preis 11 m r).

Актуальность темы, избранной Jostok'ом, очевидна. Не менее понятно и то, почему сейчас интересы и чисто буржуазной науки все больше и больше, точно магнитом, притягиваются к вопросу—быть или не быть капитализму. Достаточно вспомнить III том «Современного капитализма» Зомбарта или конгресс «Союза социальной политики» в Цюрихе в 1928 г.

Jostok поставил себе целью проследить развитие идеи «преодоления» капитализма, развитие и смену различных теорий гибели капиталистического строя. Таким образом, это прежде всего конкретно-историческая работа из области истории экономических и политических идей. Однако попутно Jostok развивает и свой собственный взгляд на будущее капитализма и в связи с этим он затрагивает ряд вопросов и в теоретико-экономической плоскости.

Jostok начинает свое изложение с классиков, с того момента, когда их первоначальный «оптимизм» был омрачен первыми пессимистическими нотами (у Мальтуса и Рикардо). За этими пессимистическими нотами следуют «предостережения с консервативной стороны» (Сисмонди, — которого Jostok ставит очень высоко). Далее Jostok дает довольно беглый обзор утопического социализма.

Переломным моментом в истории идеи преодоления капитализма, тем моментом, который внес в эту идею свежую струю и направил ее развитие по новым

рельсам, было, по Jostok'у, торжество историзма. Системы великих утопистов (кроме Сен-Симона) еще пропитаны абстрактным рационализмом эпохи просвещения. Теперь рационализм уступает место новому мировоззрению, которое идет сразу из двух источников: с одной стороны, из позитивизма (Сен-Симон, Конт), а с другой—из немецкой идеалистической философии.

В общественных науках торжествует идея развития, происходит «allgemeine Historisierung» общественных наук. Это не могло не дать свежих сил идее неизбежности гибели капитализма, ибо историзм не мог не вести к мысли об исторически-преходящем характере существующего строя.

Первого теоретика этого нового типа—Сен-Симона Jostok считает выше, «многостороннее» Маркса, ибо Сен-Симон выдвигал «духовное обновление» людей как совершенно необходимую предпосылку для преодоления капитализма наряду с изменением общественных отношений.

Далее Jostok излагает теорию Маркса, которую он определяет как «теорию катастрофы» капитализма, излагает эту «жуткую эсхатологию». Для иллюстрации того, как понимает Jostok марксизм, достаточно привести пару примеров. Теория исторического материализма явилась, по его мнению, у Маркса в результате простого наблюдения над психикой английского буржуа эпохи свободной конкуренции. Этот буржуа действительно руководился в своей практике исключительно материальными мотивами. Маркс наблюдал в Англии этот тип и затем произвольно распространил это наблюдение на все периоды человеческой истории в качестве универсального закона. Jostok готов согласиться, что в эпоху «свободного» капитализма буржуазия, а пожалуй и большинство людей действительно руководятся экономическими мотивами, но раньше, по его мнению, было иначе и в будущем тоже будет не так. «Глубина» такого понимания исторического материализма как будто не требует пояснений.

Еще один пример. Излагая «Финансовый капитал» Гильфердинга, Jostok упоминает и об «основанной на богатом фактическом материале» работе Ленина об империализме. Ленин, по Jostok'у, разошелся с Гильфердингом лишь в одном вопросе. По Ленину империализм есть «необходимая и последняя эпоха капитализма», «в то время как Гильфердинг видит в нем лишь форму политики». Как видим, наш автор не плохо уловил, в чем именно заключается суть разногласий. Но значения их он абсолютно не понял и поэтому решается утверждать, что Ленин лишь повторил то, что сказал до него Гильфердинг, разойдясь с ним лишь в этом «единственном» (!) вопросе. Таких примеров можно бы привести в избытке и еще.

И все же приходится сказать, что откровенный немарксист Jostok гораздо лучше понял и передал сущность марксизма, чем такие «марксисты», как Каутский, Гильфердинг или Реннер. При всех своих промахах Jostok в отличие, например от теоретиков II Интернационала понял и подчеркнул самое главное — революционный характер учения Маркса.

Покончив с Марксом, Jostok переходит к изложению немарксистских взглядов на конец капитализма. Изложение ведется не в историко-хронологической последовательности, а в систематическом порядке. Сначала он излагает все «теории отмирания» (подразумевается—постепенного,—«Absterbetheorien»). Сюда Jostok зачисляет теории Löwe, Jaffe, Fr. Oppenheimer'a, O. Spengler'a, Max'a, Scheler'a и др. Дальше идут теории «вытеснения» капитализма кооперацией (Л. Блан, Лассаль, за последнее время Вильбранд) и теории «самостоятельного перерастания капитализма в общественное хозяйство». В число последних им зачисляются «государственные социалисты» Родбертус и Шеффле, «Organisatorischer Socialismus» Реннера, Ленша, Plenge, и наконец теория «превращения предприятия (Unternehmung) в учреждение (Anstalt)» Вальтера Ратенау. Jostok весьма верно подметил и достаточно убедительно показал, что взгляды Реннера и других теоретиков II Интернационала не имеют ничего общего с марксизмом. К сожалению, он совсем не затрагивает других крупных идеологов социал-демократии. Так, например, он не касается новых работ Каутского[1] или современного периода теоретической деятельности Гильфердинга.

Легко видеть, что принятая Jostok'ом классификация теорий гибели капитализма весьма произвольна.

Под перечисленные рубрики он подгоняет взгляды, принадлежащие к совершенно различным эпохам и имеющие часто весьма мало общего друг с другом как по своим социальным корням, так, в силу этого, и по своему содержанию.

[1] Kautsky, Die Materialistische Geschichtsauffassung, B. 2, 1927.

Особенно ярко это проявляется в группе теорий, названных у Jostok'a «теориями отмирания» капитализма. Сюда рядом с Фр. Оппенгеймером, который конец капитализма связывает с исчезновением резервной армии, а путь к этому видит в национализации крупного землевладения, зачислен и Освальд Шпенглер с его теорией культурных кругов и мистическими пророчествами гибели «фаустической» европейской культуры; сюда же отнесен и Макс Шелер с его теорией вымирания «капиталистического человека». Нельзя не признать, что между Оппенгеймером, Шпенглером и Шелером нет никакой сколько-нибудь глубокой связи.

В связи с этой произвольной, неисторической классификацией стоит и другой недостаток книги Jostok'a. Мы не видим у него не только сколько-нибудь серьезных попыток каждую из изучаемых им точек зрения, которые он часто критикует весьма остроумно, поставить в связь с исторической обстановкой [2],— не говоря уже конечно об анализе классовых корней всех этих точек зрения на будущее капитализма; но в работе Jostok'a нет даже истории чисто идеологической преемственности отдельных течений. Исключение в этом последнем отношении представляет лишь первая часть книги, кончая Марксом. По отношению к Марксу Jostok выполнил эту задачу неудачно, недооценивая связь Маркса с Гегелем и роль диалектики в учении Маркса.

Свое изложение Jostok заканчивает теориями «демократизации хозяйства». Если и многие из перечисленных выше точек зрения в сущности стремятся вовсе не к «преодолению» капитализма, а к некоторой его реорганизации, имеющей целью не уничтожение, а совсем напротив—укрепление капитализма, то в теориях «демократизации» это выступает уже в совершенно неприкрытом виде и в большинстве случаев не скрывается их авторами. Сюда относятся теории Hellpach'a и Rosenstock'a, которые желают превратить часть пролетариата в наследственное сословие мастеров, путем «отщепления» от крупного предприятия отдельных мастерских, в которых за рабочими наследственно закрепляются их места, превращаясь в потомственные должности; сюда относится, далее, широко известная теория «демократизации капиталовладения» через распространение мелких акций; сюда, наконец, относятся различные разновидности системы участия рабочих в прибылях (Зюдекум, Эрцбергер, Эркеленц — лидер немецких либеральных профсоюзов).

Как видно из изложенного, работа Jostok'a по содержанию уже своего заглавия. Более или менее полно он излагает только немецкие теории конца капитализма. Я не говорю уже о том, что Jostok на протяжении 300 страниц, излагая разнообразнейшие рецепты «преодоления» или спасения капитализма, не нашел случая обмолвиться о работе и теоретической установке III Интернационала или о той стране, где капитализм действительно ликвидируется.

Книга Jostok'a отнюдь не является просто критическим изложением разных взглядов на конец капитализма. Попутно с этим изложением и, затем, в последней главе своей книги он излагает и собственный взгляд на этот вопрос.

Взгляды Jostok'a представляют разновидность сисмондизма. В силу этого, несмотря на свою враждебность марксизму и революции, он сближается до некоторой степени и с Р. Люксембург и с Штернбергом. «Чистый капитализм» по Jostok'у невозможен. Поэтому по мере индустриализации аграрных стран развитие капитализма должно прекратиться, но это вовсе не значит, что это приведет к гибели капитализма, носящей характер «катастрофы».

Если бы не существовало этих об'ективных экономических пределов для его развития, идейная оппозиция против капитализма никогда бы его не победила, говорит Jostok. Но одних об'ективных экономических причин мало для того, чтобы капитализм мог быть заменен иным строем. Необходимо, чтобы, кроме этого, был преодолен «дух капитализма», необходимо внутреннее, нравственное перерождение если не всего, то хотя бы значительной части человечества. Без этого оно не сможет перейти к строю, не основанному на эгоизме личных интересов.

Неудивительно, что Jostok заявляет, что о сроках гибели капитализма «никто» ничего «не может сказать», но что, вероятно, для этого должно пройти еще несколько поколений...

Кое-какие зачатки этого нравственного перерождения на западе Jostok видит главным образом в крестьянстве, которое сумело, по его мнению, в значительной мере охранить себя от «духа

---

[2] Я говорю о сознательной задаче такого рода; это не исключает того, что материал часто сам говорит за себя.

капитализма». С неизбежным по Jostok'у прекращением дальнейшей индустриализации (это вытекает из его взглядов на «чистый капитализм») и с все растущей у западного человека усталостью от цивилизации,—этот антикапиталистический дух, живущий в крестьянстве, начнет получать все более и более широкую социальную базу (первые проблески этого Jostok видит в некоторых течениях в юношеском движении). Тут мы (в гл. V) всецело скатываемся в область личных настроений автора, тоскующего о гибели прусской монархии, «des socialen Königtums», которая облегчила бы преодоление капитализма.

В заключение, давая общую оценку работы Jostok'a, необходимо признать, что она представляет довольно любопытную попытку, исходящую из консервативного лагеря, ориентироваться в лабиринте взглядов, высказанных в буржуазной науке и публицистике (хотя бы только немецкой) на судьбу капитализма. Конечно для читателя-марксиста она интересна, может быть, не столько с точки зрения этой ориентировки в истории идеи гибели капитализма и современной литературе этого вопроса, сколько как интересный образчик публицистики, исходящей из лагеря, довольно близкому к тому, что Маркс назвал феодальным социализмом.

В. Хвостов

D. M. BOGHITSCHEWITSCH. Mord und Justizmord. Aus der Vorgeschichte des Mordes von Sarajevo und des Königreichs Jugoslavien. Sonderabdruck aus dem Februarheft 1929 der Süddeutschen Monatshefte, s. 40.

М. Богичевич,—бывший сербский поверенный в делах в Берлине,—хорошо известен своей книгой «Kriegsursachen», изданной еще в 1919 г. в Цюрихе, а также предпринятой трехтомной публикацией секретных документов сербского архива (пока издано, поскольку нам известно, два тома). В рецензируемой работе сведены воедино уже опубликованные на французском языке разоблачения о салоникском процессе и о жертве этого процесса—главном вдохновителе Сараевского убийства, полковнике Димитриевиче - Апис. Политический деятель довоенной Сербии Богичевич и сейчас своими разоблачениями выступает с явно заостренной политической целью: недаром за сенсационно-звучащим названием «Mord und Justizmord», следует многозначительный подзаголовок «Из пред'истории Сараева и королевства Югославии». Литературные выступления Богичевича имеют своей целью «ознакомить» с историей тех политических персонажей, «которые,—как он говорит,—играют теперь в стране руководящую роль». В своем предисловии Богичевич находит несколько крепких слов, чтобы характеризовать утвердившуюся теперь в Югославии политическую систему, при которой, по его словам, «так называемые государственные интересы в большинстве случаев являются не чем иным, как преследованием личных интересов со стороны отдельных, власть имущих, лиц или клик». Работы Богичевича—это не историческое повествование, а политическое разоблачение. И, как обычно в таких случаях, эти разоблачения требуют к себе внимательного, но осторожного подхода: в пылу борьбы автор, конечно, проговаривается, а с другой стороны, он,—в этом нет сомнения,—знает больше того, что говорит. И это понятно: пользуясь компрометацией, как единственным орудием политической борьбы, приходится быть экономным, чтобы одним ударом не опустошить свой арсенал. Богичевич, очевидно, невеликую мудрость эту постиг вполне: выступая перед немецкой аудиторией с тем, что уже было опубликовано на французском языке,—он, однако, пошел дальше, по линии отдельных дополнений.

«И герой и преступник в одинаковой степени плавают в крови, и только успех определяет—кто был героем и кто преступником»—пишет Богичевич, бросая этим самым недвусмысленное обвинение тем, кто посеяв преступление, сумел, однако, пожать успех и при том на крови своего тайного политического соратника, полковника Димитриевича. Этому последнему и посвящена небольшая работа Богичевича, начинающаяся с изложения той непрерывной цепи убийств, которая проходит через всю политическую историю Сербии XIX и XX веков. При этом особенно оттеняется, что неразборчивость в средствах и убийство как метод политической борьбы проходят через всю историю теперешней династии. В частности, ссылаясь на свидетельство Вукашина Петровича, Богичевич утверждает, что принц Петр Карагеоргиевич был с самого начала и до последнего момента в курсе дела не только подготовки переворота 1903 года, но и подготовки убийства последнего Обреновича. Уже некоторыми документами, приведенными в

упомянутой публикации «Die auswärtige Politik Serbiens 1903—1914», Богичевич наводил на мысль о том, что этот переворот произошел не без поддержки Австро-Венгрии. Теперь Богичевич об этом говорит всеми словами,—и это для династии не может звучать иначе, как компрометацией. Принц Александр—теперешний король Югославии — об'является, как наиболее законченный представитель этой династии, для которой коварство и убийство были обычным средством при достижении политических и личных целей. Династия и правительство, пришедшие к власти, как утверждает Богичевич, при тайном содействии австрийской политики, пользовались Димитриевичем до тех пор, пока последний нужен был, но когда он стал опасен, его поспешили убить. Начало тайной организации «Единение или Смерть» («Черная Рука»), в которой крупную роль играл Люба Иванович (не следует смешивать с министром-радикалом Любой Йовановичем), но вождем которой был Димитриевич, относится к 1911 г. Богичевич утверждает, что эта организация, раскинувшаяся не только по Сербии, но и по славянским областям Австро-Венгрии, и насчитывающая в своих рядах свыше 100 тыс. чел., с самого начала пользовалась покровительством престолонаследника, который предоставил в ее распоряжение 26 тыс. динаров.

О деятельности «Черной Руки» («Единение или Смерть») довольно подробно в свое время рассказал Станоевич, пытавшийся разоблачением этой тайной организации снять вину с «Народна Одбрана» и тем самым подкрепить официальную сербскую позицию. Богичевич, доказывая наличие связи между правительством «Народна Одбрана» и «Черной рукой», об'ективно срывает эту попытку.

Он публикует, между прочим, текст совершенно секретной телеграммы от 3/16 февраля 1909 г. сербского посланника в Цетинье Иовановича министру иностранных дел в Белграде, из коей видно, что когда понадобилось доставить в Цетинье бомбы, Иованович предложил, осторожности ради, использовать запасы и связи «Народна Одбрана». Как известно, австрийский ультиматум 1914 года, в организации террористических актов обвинял лишь легальную, основанную в 1909 г., организацию «Народна Одбрана». Формальной ссылкой на устав последней сербскому правительству нетрудна была попытка доказать необоснованность австрийских обвинений. «Черная Рука» в австрийском ультиматуме не упоминается вовсе, и Богичевич считает, что Австрия долго не подозревала о существовании этого тайного общества. Между тем, судя по имеющимся сведениям, только что опубликованные австрийские документы говорят о том, что уже в 1912 г. в Вене, в распоряжении министра иностранных дел находился подробнейший доклад о возникновении и развитии деятельности тайного общества «Черная Рука»[1]. Таким образом, австрийское правительство не упомянуло в своем ультиматуме о «Черной Руке», очевидно, вопреки Богичевичу, именно потому, что знало истинный, так сказать, двойственный характер отношений сербского правительства к обществу «Единение или Смерть».

Далее, Богичевич устанавливает связь между «Черной Рукой» и «Офицерской Задругой» (руководителем которой был Чеда Иованович, лицо весьма близко стоящее к Димитриевичу), но не приводит никаких данных об отношениях к этой последней русского правительства, а между тем, установление этого факта сыграло бы значительную роль в деле освещения вопроса о связи между Петербургом и организацией сербских офицеров, причастных к Сараевскому убийству. Ничего также нового Богичевич не дает по сравнению с тем, что известно о роли русской политики, заставившей сербского короля оставить у власти министерство Пашича. Но именно с таким разрешением министерского кризиса и связан был известный факт неожиданного от'езда короля на курорт с необычайным назначением в качестве регента принца Александра. Нет сомнения, Богичевич и тут знает больше того, что говорит: об этом свидетельствует примечание, в котором автор задается многозначительным вопросом,—от кого,—от русского ли правительства, или от Пашича,—исходила инициатива вмешательства. Возможно, в дальнейшем Богичевич сможет разрешить свой двусмысленный вопрос—пока же относительно связи, существовавшей между организатором Сараевского убийства и русским посланником Гартвигом и военным атташе Артамоновым,—он ничего нового

[1] Ernst Molden. Oesterreich und die Kriegsschuldfrage. «Neue Freie Presse» от 3/XII 1929 г. № 23428. К анализу австрийской публикации документов, охватывающих период 1908—1914 гг., мы вернемся в одном из ближайших номеров «Историка-марксиста».

не прибавляет по сравнению с тем, что уже известно было ранее от него и от других авторов. Богичевич тут только пользуется случаем, чтобы обвинить Пашича и других руководителей Сербии в том, что они не потрудились отдать себе отчет в возможных последствиях того преступления, участником которого они явились. М. Богичевич, очевидно, не замечает, что такое обвинение Пашича в политическом легкомыслии в данном случае ослабляет его же собственное и основное обвинительное заключение о политике сербского правительства, которое, получив уверенность в русской поддержке, встало на путь сознательной провокации войны.

Во второй половине своей брошюры Богичевич освещает историю расправы, учиненную сербским правительством над руководителями «Черной Руки». В основном, автор тут повторяет то, что было сказано в его французской работе о салоникском процессе: Богичевич рассказывает, как правительство и наследник, боясь огромного влияния Димитриевича, образовали возле себя офицерскую камарилью «Белая Рука» и повели борьбу с группой Димитриевича тем более настойчивую, что, ввиду полной шаткости военного и политического положения, встал вопрос о сепаратном мире с Австрией: смерть Димитриевича должна была расчистить этот путь. План прямого убийства Димитривича сорвался, и тогда начала создаваться сеть интриг и прямых подлогов под непосредственным руководством принца-регента. Во главе этой клики,—разоблачает Богичевич,—стоял полковник Петр Живкович, который теперь, после переворота в январе 1929 г. стал министром-президентом и министром внутренних дел. Димитриевич, как известно, был обвинен в заговоре против регента и в государственной измене в пользу австро-германских войск. О методах, примененных при фабрикации процесса, дает представление публикуемая тут телеграмма Пашича министру внутренних дел: «Установите, как дату покушения 29 августа»: выяснилось, что первоначально установленная дата 28 августа/10 сентября не годится, так как в этот день принц-регент никуда не выезжал. Уже в своей французской работе о салоникском процессе Богичевич сообщил, что Пашич вел переговоры с Германией относительно свержения династии и что Димитриевич об этих переговорах узнал. И тут Богичевич дает подробную картину усилий Пашича скорее убрать опасного организатора Сараевского убийства. Димитриевич слишком многое знал, — неудивительно, как сообщает Богичевич, что председатель суда, который кстати сказать, ежедневно приезжал во двор за инструкцией по ведению дела, «апеллируя к патриотизму обвиняемых, призывал их ничего не рассказывать об их **деятельности** в национальных интересах, обосновывая это тем, что они этим смогут компрометировать национально мыслящих соплеменников в Австро-Венгрии». Заканчивает Богичевич известным текстом завещания Димитриевича-Апис и текстом мрачного донесения Любомира Добича о последних часах и расстреле того, кто был вдохновителем и организатором Сараевского убийства и пал жертвой Салоникского процесса.

А. Ерусалимский

IVAN SAKASOV, **Bulgarische Wirtschaftsgeschichte**, — Grundriss der slawischen Philologie und Kulturgeschichte. B V., Berlin und Leipzig 1929, Verlag Walter de Gruyter und Co. S. IX+294.

В области балканистики издавна существует ряд очень важных пробелов. Территория Балкан, являющаяся то задворками, черным двором Европы, то колыбелью бурь и международных потрясений, до сих пор не привлекает достаточного внимания исследователей. Вопреки всей важности балканских стран в системе европейских взаимоотношений, работа по их изучению поставлена все еще плохо; правда, германская экспансия на Ближний Восток в начале XX в. вызвала появление интереса к балканским странам и особенно к Болгарии; из-под пера германских ученых и болгарских учеников немецких профессоров вышел ряд статей, затрагивавших некоторые из историко-экономических вопросов. Но это продолжалось недолго. Война прекратила налаживавшуюся научную работу, а интересы германских славистов передвинулись в иные области. Однако уже в конце первого десятилетия после окончания войны, наметились дальнейшие перемены. Германия, стиснутая Версалем, по мере своего возрождения вновь обращала свои взоры на манящий юг: южнославянские вопросы вновь стали находить аудиторию. Последние годы обнаружили и другое русло славистических интересов. Мы говорим о том огромном росте итальянской литературы, посвященной Югославии и Болгарии, которая

является спутником и свидетелем итальянских поползновений к господству на Адриатике и Балканах.

Если напомнить читателю то обстоятельство, что Центральная Европа стала практически славянской, если вспомнить роль Югославии, Болгарии, Чехо-Словакии и Польши в современной политической структуре Европы, тогда бурный рост интереса к славянским проблемам—а наполовину эти проблемы балканские—не будет представляться непонятным. Тем более марксистской науке необходимо уделить внимание этим актуальным в послевоенной Европе проблемам.

Перед нами новая вышедшая на немецком языке работа, принадлежащая перу И. Сакызова, лидера болгарской социал-демократии, известного публициста, автора ряда трудов по экономическим вопросам. Его книга «Bulgarische Wirtschaftsgeschichte» является первой сводной и общей работой, изображает развитие болгарского народного хозяйства и, как единственный опыт об'единения разрозненных данных, заслуживает внимания.

Хронологический охват в этой работе весьма широк: от хозяйства первых болгарских орд—и до времени, непосредственно предшествующего империалистической войне (1912 г.). Таким образом автор хочет дать если не детализированный, то широкий по масштабу очерк. Ясно, что в этой историко-экономической работе читатель в праве ожидать найти экономическую периодизацию. Но напрасно. Автор следует со времен К. Иречка и М. Дринова установившемуся традиционному делению, имеющему raison d'être—только не в области экономики: первое царство, второе царство, турецкое господство. Только новой истории Болгарии он делает исключение. Последние три четверти века турецкого ига выделены в особый период—Das Zeitalter des städtischen Handels und der Manufakturwirtschaft (1800—1878), а экономическое развитие освобожденной Болгарии составляет особую главу—«Капиталистическое развитие Болгарии 1879—1912».

Не менее характерна другая особенность рассматриваемой книги. Говоря о древних периодах истории Болгарии, автор дает достаточный материал о социальном строении общества, о социальной структуре хозяйства. Больше всего этому вопросу отводится места при изложении хозяйства первого и второго царств. Слабее эти вопросы освещены в отделах, трактующих более поздние периоды. И наконец, когда речь заходит о капиталистической Болгарии, вопросы социальной, классовой структуры хозяйства совершенно исчезают из поля зрения автора. Хотя он и касается вопроса о распределении земельной собственности в довоенной Болгарии, приводит некоторые цифровые данные по этому вопросу, однако о непосредственно из этих цифр вытекающей аграрной проблеме автор считает удобнее даже не упоминать. Тут же более мелкое, но не менее характерное замечание. Земельное ростовщичество, испольно-арендные отношения и пр. обойдены автором. Таким образом, прочтя эту книгу, читатель никак не сможет уяснить себе связь между хозяйственным положением Болгарии этого времени и всеми общеизвестными фактами аграрной борьбы, которые назревали в эти десятилетия, а в послевоенный период сказались в таких формах, как Радомирская революция и правительство Земледельческого союза. Таким же образом расправился автор и с проблемой образования болгарского пролетариата. Не затронут вопрос о роли иностранного капитала в промышленном развитии Болгарии, не рассмотрен вопрос о значении докапиталистических элементов в системе экономических отношений Болгарии. Все острые социальные вопросы затушеваны. Эта глава, для которой автор располагал значительно большим, чем для других, материалом, слабее, бледнее, бессодержательней всех остальных. На ней мы сознательно остановились дольше, чтобы показать характер ошибок и пропусков автора.

В том же стиле «ошибается» Сакызов и в других частях своей работы. Иногда даже удивляешься смелости автора. Социальная сущность богомильства, этого интереснейшего движения древней Болгарии, установлена достаточно давно и совершенно прочно. Тем не менее автор пишет: «So entstand im Lande eine religiöse Bewegung unter der Bezeichnung der Bogomilen». Правда, он упоминает, что наряду с этическим в нем были и социальные элементы, но непонимания существа вопроса это не скрадывает.

Когда автор говорит о производстве в эпоху турецкого господства, он рассматривает отдельные изделия производства. Но даже намека на живую диалектику исторического процесса мы здесь не находим. Все четыреста лет покрываются общими характеристиками, как будто в характере и способах производства вовсе не было изменений.

В разделе о еснафах (болгарские цехи) автор указывает на отличия от западноевропейских цехов средневековья, но не отмечает существенных отличий, как организаций эпохи торгового капитала, и роль чорбаджийских (буржуазных) элементов не выясняется совершенно. Здесь в этой важнейшей странице предосвободительной борьбы осталось, как и раньше, пустое место.

Мы не останавливаемся на ряде частных менее существенных недочетов. Несмотря на все отмеченные недостатки, книга Сакызова заслуживает внимания. Вторая, третья и четвертая части книги, посвященные эпохе второго царства и времени турецкого господства, являются справочником для занимающихся экономической историей Болгарии. В первом из этих отделов чрезвычайно важны отделы о зависимости населения—пароки, отроци и т. д.—в связи с историей крупного землевладения и о хозяйстве городов. В третьей части—эпоха турецкого господства—наибольший интерес представляют с. 178—196, посвященные тем хозяйственным и социальным переменам, которые претерпела Болгария за четыре века своего ига (1400—1800).

В ряде глав, составляющих эти части книги, собран новый и интересный материал. Однако методология этой книги, автором которой является лидер болгарской социал-демократии, ничего общего с марксизмом не имеет. Правда, автор на это и не претендует.

И. Егоров.

Б. КУШНЕР (КНЫШЕВ) — Горная Киргизия (социологическая разведка). Труды Научно-исследовательской ассоциации при Ком. университете трудящихся Востока, вып. II, Москва, 1929 г., с. 132.

Горная Киргизия—один из самых неизученных и самых отсталых уголков Советского Союза. Литература по ее истории и экономике до мизерности скудна, между тем знание и той и другой нам чрезвычайно необходимо: без этого невозможна правильная политика партии и советской власти по вовлечению этого района в социалистическое строительство. По всему этому работу т. Кушнера надо считать чрезвычайно ценной и необходимой, имеющей не только историческое, но и сугубо политическое значение.

Работа появилась в результате экспедиции автора совместно с двумя помощниками (Салиев и Файзи) летом 1925 г. в горы Киргизии по маршруту от Аулиэ-Ата через ряд горных перевалов в Андижан. Всего пройдено около 1 000 км (20 пунктов).

Задача автора заключалась в том, чтобы разведать социальный строй киргиз этого района. Работа показывает, что разведку можно считать вполне удачной.

Перед автором стояло несколько основных вопросов, интересующих и историка и политика: хозяйственный строй этого района; степень проникновения денежных отношений; социальный строй; в частности вопросы о том, насколько далеко зашло разложение киргизского рода; что собой в социальном отношении представляет знаменитое киргизское манапство, уже вызвавшее, кстати сказать, теоретические споры о его сущности в нашей марксистской литературе; состояние советского строительства и т. д. По всем этим вопросам в работе мы находим чрезвычайно интересный материал.

Хозяйство киргиз изученного района автором характеризуется, как кочевое натуральное хозяйство. Имеет место, однако, и проникновение земледелия, как равно и развитие денежных отношений. Запашки тем не менее чрезвычайно незначительны и не поднимаются нигде выше 4—5 дес. в хозяйстве.

В товарооборот втягиваются в первую очередь хозяйства социальной верхушки—манапов—и примыкающего к ним слоя богачей—баев.

Соответственно всему этому строятся и отношения эксплоатации; вместо вольного найма господствует уртачество (издольщина); беднота закабаляется путем ссуд скотом, наряду с этим господствует бесчисленное количество разного рода поборов чисто феодального типа. Носителем всех этих форм эксплоатации является в первую очередь киргизский манап, фигуру которого автор характеризует как фигуру феодала самой ранней ступени феодализма.

Родовой строй Киргизии уже отошел в историю. Теперь можно говорить разве только о пережитках родовых отношений. Разрушению родовых отношений сильно помогла политика царского правительства: административное деление, территориально не совпадавшее с междуродовыми границами, насильственно разрывало родовые связи.

Советская власть в районе, поскольку власть манапов еще не была разрушена, в 1925 г. еще не являлась властью бедноты. Все нити власти манапы и богачи держали в своих руках.

Таковы основные вопросы, поставленные т. Кушнером. Нельзя, конечно, сказать, что все эти вопросы автором вполне разрешены и не требуют дальнейшей разработки. В литературе уже сейчас имеются возражения против постановок вопроса т. Кушнером. Они идут, главным образом, по линии оценки степени проникновения капиталистических отношений в горный аул Киргизии и по линии классовой характеристики современного манапства. Но, несмотря на это, материал, данный т. Кушнером, проливает яркий свет на то, что происходит сейчас в этом глухом уголке нашего Союза, уголке, которому суждено от феодализма непосредственно перейти к социализму.

В заключение необходимо только указать на один довольно крупный недостаток работы. Автором использована не вся имеющаяся по Киргизии литература. В частности совершенно не использован такой ценный источник, как обследования переселенческого управления. Материалы этого обследования примыкают к маршруту автора с двух концов: с одной стороны по уезду Аулиэатинскому и с другой—по Андижанскому. Использование этих материалов могло бы показать, насколько типичен этот район для Киргизии, насколько действительно его можно считать «одним из самых бедных» и самых отсталых районов. С другой стороны, это дало бы некоторую возможность показать изучаемые процессы общественных отношений в Киргизии не только в их фотографическом снимке в результате единовременного наблюдения, но и в их историческом развитии.

П. Галузо.

П. Г. ГАЛУЗО — Туркестан—колония (Очерк истории Туркестана от завоевания русскими до революции 1917 г.). Изд. Ком. ун-та трудящихся Востока им. Сталина, М. 1929 г., с. 162.

Книжка т. Галузо—это весьма интересная попытка наметить общую схему исторического развития Туркестана после русского завоевания. Правда, сам автор определяет установку своей работы гораздо скромнее, он рассматривает ее только как «предварительную разведку в гущу того обширного материала, который еще подлежит детальной разработке» (3).

И, пожалуй, опубликование этого, в значительной части неизвестного широкой публике, материала представляет главную ценность книги, несмотря на то, что у т. Галузо имеется ряд бесспорных методологических положений и верных характеристик (анализ движущих пружин завоевания Туркестана (с. 14), характеристика классовых отношений в киргизской и казакской степи (с. 92), анализ переселенческой политики (с. 107) и некоторые другие).

Самая схема исторического развития Туркестана (применительно к которой подобран и весь материал, собранный в рецензируемой книге), намеченная т. Галузо, заставляет квалифицировать его работу, правда, как «предварительную разведку», однако, производившуюся все же в неверном направлении. Сущность «философии истории» Туркестана, по т. Галузо, заключается в следующем:

1) Туркестан был колонией русского торгово-ростовщического капитала. Правда, в XX веке последний «был не только хозяином в крае, он был также и посредником между эксплоатируемой колонией и русским промышленным капиталом» (с. 32), но от этого дело не менялось—торгово-ростовщический капитал оставался капиталом господствовавшим.

2) Русский торгово-ростовщический капитал в целях всесторонней эксплоатации непосредственного производителя смыкается с туземным баем (с. 24). Из этой смычки возникает русско-туземный торгово-ростовщический капитал, как всепоглощающая форма господствующего капитала в крае.

3) Русско-туземный торгово-ростовщический капитал внедрялся в сельское хозяйство Средней Азии на основе «разветвленной хищнической торгово-ростовщической эксплоатации декханина» (с. 22), которая «законсервировала старую допотопную технику этого хозяйства еще на целый ряд десятилетий. Этим самым сохранилась техническая база для роста «азиатчины», чайрикерства, т. е. крепостничества» (с. 47). Чайрикерство—это «своеобразный тип туркестанского крепостничества», оно «вырастало из ростовщической кабалы, было прямым ее продолжением» (с. 118). Отсюда же вырастал и туземный бай, являвшийся «союзником» русского торгово-ростовщического капитала, бай, который одновременно являлся «тем самым крепостником, который организо-

вал хозяйство, построенное на чайрикерстве» (с. 22).

4) Раз русская колонизация консервировала технику и насаждала крепостничество, то отсюда вполне естественно, во-первых, «росло противоречие между ростом производительных сил края, с одной стороны, и торгово-ростовщической эксплоатацией русско-туземного капитала и выраставшего из этой эксплоатации крепостничества—с другой» (сс. 28—29), так как «господствовавший в крае торговый капитализм... не давал простора для развития производительных сил края» (с. 132); во-вторых, «растущий в городе и в деревне капитализм прежде всего встречал поперек дороги своего развития русское колониальное господство» (с. 132).

Иначе говоря, русская колонизация, по мнению т. Галузо, играла исключительно об'ективную реакционную роль.

5) В Туркестане существовало также «противоречие между русским промышленным капиталом — потребителем хлопка—и русским торговым капиталом—непосредственным эксплоататором туркестанского хлопкороба» (с. 25).

«На смену торговому капиталу или, вернее, наряду с ним в крае попытался внедриться капитал промышленный» (с. 115), причем, по мнению т. Галузо, эти «попытки» не уничтожили преобладания торгового капитала, как ведущей и как господствующей формы капитала в Туркестане.

6) Наряду с этими противоречиями, в Туркестане существовало также противоречие «между двумя формами капитализма, капитализмом промышленным, растущим в порабощенном крае, и русско-туземным торговым капитализмом» (с. 132).

Ограниченные размеры рецензии не позволяют подвергнуть сколько-нибудь обстоятельной критике каждый пункт вышеприведенной схемы т. Галузо. Ограничиваемся лишь минимумом необходимых замечаний преимущественно методологического порядка.

Во-первых, т. Галузо те отношения между метрополией и Туркестаном как колонией купеческого капитала, которые складывались в период завоевания на протяжении 60—70-х гг. прошлого столетия, переносит на всю эпоху российского колониального господства. Между тем, за этот промежуток времени в империи торговый капитал был оттеснен промышленным, который, в свою очередь, с начала XX века интенсивно перерастал в монополистический капитализм, тесно связанный с иностранным финансовым капиталом. Бесспорно, что существовала самая тесная связь между сменой господствующих форм капитала в России и судьбами Туркестана, как колонии господствующих в России наиболее сильных капиталистических групп.

Тов. Галузо упорно не хочет видеть этой связи.

Он не только не замечает, например, той ожесточенной борьбы за Туркестан, которая в предреволюционные годы велась между монополистическими об'единениями московского текстильного промышленного капитала и группой «петербургских» банков, но просто-напросто отрицает факт превращения Туркестана в рынок ввоза капиталов. Это отрицание он мотивирует тем, что-де был «недостаток капиталов в России. Россия сама была районом ввоза капиталов» (с. 67) и посему «не могла» ввозить их в Туркестан. Не говоря уже о явно легковесной аргументации столь странного «воздержания» империалистической буржуазии по отношению к Туркестану, не так трудно обнаружить не менее 300—350 млн. руб. капиталов, инвестированных буржуазией в 1916 году.

Точно так же мало убедительно положение т. Галузо о противопоставлении русско-туземного торгового капитала капиталу промышленному. Русско-туземный торговый капитал представлял лишь агентуру капитала промышленного, агентуру, работавшую почти исключительно на капиталы последнего и зависевшую от него также и по линии установления цен на хлопковое волокно.

Так же, как неверен тезис т. Галузо о том, что Туркестан был колонией торгово-ростовщического капитала, еще менее аргументировано его второе положение о насаждении в Туркестане крепостничества в виде чайрикерства, т. е. издольщины. Раньше всего это оспаривается... самим т. Галузо, который довольно обстоятельно показывает быстрое развитие капиталистических отношений в туркестанской деревне (с. 120—130). В истории не бывает одновременно развития двух исключающих друг друга антагонистических социальных форм—в данном случае и капитализма и крепостничества—под воздействием одних и тех же социальных причин— в данном слу-

чае—российской буржуазной колонизации.

Мы склонны признавать именно капиталистический путь развития туркестанской деревни. Хлопковая торговля вызвала всеобщее распространение товарной формы производства, и на этой основе весьма интенсивную мобилизацию земельной собственности, острую диференциацию деревни, создание сельского перенаселения и т. п. явления, характеризующие развитие именно капиталистических отношений.

Если при этом одновременно происходил рост чайрикерства, давший повод т. Галузо рассуждать о насаждении крепостничества, то здесь имело место налицо явление, о котором предупреждал в свое время Маркс. Маркс указывал, что капитализм, «подчиняя земледелие капиталу», приспособляет к своим потребностям унаследованные феодальные, крепостнические и прочие докапиталистические формы. В результате этого «и феодальная земельная собственность и собственность клана, мелкая крестьянская собственность с общинной маркой, как ни различны их юридические формы, превращаются в соответствующую этому способу производства экономическую форму» (К. Маркс, Капитал, т. III, ч. II, с. 157).

За крепостнической формой т. Галузо не замечает здесь чисто буржуазного содержания чайрикерских отношений, которые, по сути дела, являлись инструментом пролетаризации непосредственных товаропроизводителей, а в ряде случаев (каранда) были своеобразной формой эксплоатации с.-х. пролетариата.

Точно так же не понимает т. Галузо и того, что туркестанское ростовщичество было орудием буржуазной эксплоатации края и являлось «революционным» фактором в том смысле, что необычайно усиливало капиталистическую диференциацию деревни, в отличие от «средневекового» ростовщичества, которое хотя и истощало мелкое крестьянское хозяйство, но стремилось «сохранить его, чтобы иметь возможность эксплоатировать его снова и снова» (Маркс). Такая роль ростовщичества в Туркестане определялась именно тем, что туркестанское ростовщичество не было особой силой, противостоящей другим формам капитала. Оно было лишь агентурой российского промышленного и банковского капитала и поэтому выполняло миссию буржуазного разложения мелкого с.-х. производства.

Ничем не оправдывается также игнорирование т. Галузо той об'ективной прогрессивной исторической роли российского капитализма, которую он сыграл, переведя Туркестан на рельсы капиталистического развития и включив его в систему общероссийского и мирового хозяйства. Реакционность российского самодержавия и русской буржуазии бесспорна, но она все же только лишь усложняла проникновение капиталистических отношений в Туркестан, в то время как в интерпретации т. Галузо эта реакционность исключала всякое развитие производительных сил края под воздействием российской колонизации.

Этими краткими замечаниями заканчиваем рецензию работы т. Галузо. Но уже их достаточно для того, чтобы показать, насколько «философия истории» т. Галузо расходится с реальным движением исторического процесса. А в значительной степени это умаляет значение его работы, которая и по своему замыслу и по об'ему мобилизованного материала призвана осветить одну из наименее изученных марксистской мыслью больших проблем.

Вл. Лаврентьев.

С. ЛИВШИЦ—Партийные университеты подполья (Капри, 1909 г., Болонья, 1910—1911 гг., Лонжюмо, 1911 г.). Научно-популярная библиотека, изд-во политкаторжан, Москва 1929, с. 144, ц. 65 коп.

Эпоха реакции является одной из самых интересных страниц в истории нашей партии. Именно в эту эпоху перед партией с особенной остротой встал ряд серьезнейших проблем, весьма актуальных и в настоящее время. Вынужденный вести борьбу на два фронта—с правым и «левым» ликвидаторством и с примиренчеством в ту и другую сторону — большевизм именно в этот период окончательно сложился и оформился, как единственно революционное направление социал-демократии. В то же время как раз в период реакции с исключительной яркостью и полной законченностью раскрылась истинная антиреволюционная сущность всех небольшевистских течений в РСДРП и тот позорный конец, к которому неизбежно приходят

оппортунисты, отходящие от революционного марксизма.

Именно с точки зрения этих политических уроков и является весьма актуальным для современного массового читателя изучение эпохи реакции.

Всякая (и особенно научно-популярная) работа, посвященная эпохе реакции, должна раскрывать этот процесс «большевизации» в РСДРП, оформления и укрепления большевизма как целостной системы революционной теории и практики.

Само собой очевидно, что это такая тема, при которой «партийность» при изложении материала является совершенно обязательной, что «беспартийного», «беспристрастного», «об'ективного» отношения к этой теме быть не может. «Беспартийное» отношение к той внутрипартийной борьбе, которая велась в годы реакции, неизбежно должно привести к полному извращению смысла этой борьбы, к полному непониманию внутрипартийных отношений, к фактической защите и политической реабилитации тех течений, с которыми боролся большевизм. Образец такого беспартийно-обывательского непонимания партийной истории дает рецензируемая книжка т. Лившица. Читатель найдет в ней целую кучу различных любопытных фактов, но не найдет основного: четкого политического освещения описываемых событий и фактов, четкой политической характеристики той борьбы на два фронта, без которой нельзя правильно понять историю каприйской и болонской школ и без которой описание их теряет всякую политическую ценность.

У автора нет основной исходной точки зрения на развитие нашей партии. Он берет материал, исходящий из самых противоположных политических лагерей, и некритически, чисто механически, склеивает его в одно целое, создавая, таким образом, якобы, «нефракционную», а на самом деле беспартийную, обывательскую эклектическую картину внутрипартийных отношений. Фракционно-лживым писаниям впередовцев автор придает такое же значение и вес, как и официальным документам партийных центров. Что же касается работ т. Ленина, многократно высказывавшегося по относящимся к данной теме вопросам, то характерно, что т. Лившиц почти совершенно не использует их, даже почти не упоминает о них.

Условия места не позволяют дать исчерпывающего обзора ошибок рецензируемой книжки. Поэтому мы ограничиваемся лишь несколькими отдельными замечаниями.

Прежде всего, нам кажется совершенно неверной попытка об'единить все три школы—Каприйскую, Болонскую и в Лонжюмо под общую «шапку» «партийных университетов подполья». *Если школа в Лонжюмо* действительно являлась «партийным университетом» и интересна именно как новый «тип пропагандистской организации», то основной интерес Каприйской и Болонской школ заключается как раз не в этом, а в том, что они являлись фракционными центрами впередовства, преследуя совершенно явно и последовательно антипартийные цели и проводя антипартийные методы работы. Изображать их, как партийное пропагандистское предприятие,—значит повторять ту заведомую впередовскую ложь, которая в свое время могла находить сочувствие только у ликвидаторов и у Троцкого.

Любопытно, что во введении («РСДРП в годы реакции»), претендующем дать общую характеристику эпохи, общий фон для последующего описания этих школ, т. Лившиц ни единым словом не упоминает даже о существовании впередовцев, даже не называет их. На протяжении всей книжки, вышедшей в «Научно-популярной библиотеке», ни словом не характеризуется антипартийный, фракционно-ликвидаторский характер впередовства. Дальнейшая история Каприйской и Болонской школ в силу этого излагается односторонне и тенденциозно. Особенно ярко это бросается в глаза в отношении Каприйской школы. Основным источником, которым пользовался т. Лившиц при изложении, является «Отчет» Каприйской школы, выпущенный в 1910 г., составленный грубо-тенденциозно, в резко выраженном фракционном духе. История возникновения школы, взаимоотношений с ЦК, БЦ, «Пролетарием» и Лениным во впередовском отчете совершенно извращалась, о чем достаточно решительно указывалось в тогдашней печати. Вслед за впередовцами т. Лившиц излагает историю возникновения школы так, что поведение большевистского центра представляется каким-то необоснованным самодурством. Чего стоит, например, тот, мягко выражаясь, неумный ответ инициаторам школы, который т. Лившиц вкладывает в уста большевистского центра: «Если у вас есть деньги на устройство школы,

то передайте их нам, а уж мы сами устроим, и не на Капри, а в Париже».

Вслед за впередовцами т. Лившиц повторяет басню о том, что «под влиянием расширенной редакции «Пролетария» Московский комитет отказался дать санкцию на устройство Каприйской школы», между тем как в свое время в большевистской печати один из инициаторов и организаторов школы—Михаил (Вилонов) специально подчеркивал, что «ни расширенная редакция «Пролетария», ни Московский комитет не высказывались против школы. Как та, так и другой, оба, признавая ее, расходились с организаторами в плане ее организации».

Ошибку Богданова при организации школы т. Лившиц сводит к тому, что, пересылая в редакцию «Пролетария» листок с извещением об организации школы, он, Богданов, передал его от имени только одного Вилонова, с просьбой о напечатании, не предложив редакции принять реальное участие в организации школы. Между тем, «Пролетарием» в свое время были опубликованы документы, свидетельствующие о груборaскольнической, узкофракционной тактике Богданова в этом вопросе: он извращал отношение «Пролетария» к школе, он скрывал попытки большевиков поставить школу коллективным путем; скрывая от ЦК, ЦО или ЗБЦК о начатом им деле, Богданов практически раскалывал партийную организацию, давая заведомо неверные сведения о деятельности «Пролетария».

Всех этих фактов в работе Лившица мы не находим, благодаря чему становится совершенно непонятной, и во всяком случае выставляется в весьма невыгодном свете, та политика, которую проводила редакция «Пролетария» в отношении к каприйцам.

Не раскрыв фракционных и раскольнических методов организации школы, целиком доверившись в этом отношении показаниям впередовцев, т. Лившиц и в дальнейшем сохраняет то же «внефракционное» доверие к впередовским источникам. Как известно, к концу работ в школе вспыхнула острая борьба, закончившаяся безобразным исключением из школы 5 учеников и Михаила (Н. Вилонова), защищавших линию большевизма и отказавшихся «подмахнуть» впередовскую платформу. Излагая этот эпизод, т. Лившиц считает наиболее целесообразным скрыться за чужую спину, за цитату из одной старой работы т. Луначарского: признав несправедливость со стороны Богданова и Алексинского к Вилонову, т. Луначарский тем не менее писал, что «страсти в то время были в большом разгаре. Приемы, к которым прибегали сторонники Ленина, были довольно грубы и подчас довольно вероломны, и все это создало атмосферу такой взаимной нетерпимости, что...» и т. д. Что т. Луначарскому в 1918 г., через год после его отхода от впередовства, весь этот эпизод мог представляться в таком свете—понятно, но что работа по истории партии, выпущенная о с е н ь ю 1929 г. в п о п у л я р н о й библиотеке издательства политкаторжан, не находит другого об'яснения событиям внутрипартийной борьбы, которая тогда велась большевизмом против впередовства, — этого ничем оправдать нельзя, это свидетельствует об о б ы в а т е л ь с к о м н е п о н и м а н и и нашей партии и ее истории со стороны автора и о явном недосмотре со стороны редакции.

Любопытно, что, излагая ход занятий в Каприйской школе, т. Лившиц использует только официальные школьные отчеты, которые сами ученики школы обвиняли в «поверхностности казенного образца», совершенно замалчивая о тех недостатках школы, о которых рассказывалось в партийной печати и которые вытекали именно из ф р а к ц и о н н о г о, н е п а р т и й н о г о характера школы: благодаря узкофракционному подбору преподавателей, некоторые курсы пришлось поручить людям, явно неудовлетворявшим слушателей (напр., т. Лядов), практические занятия велись «из рук вон плохо» и именно потому, что в школе из числа впередовцев-преподавателей совершенно не было практиков (см. «Отчет о школе» в приложении к № 5 «Пролетария»).

Чтобы не растягивать заметки, не будем подробно останавливаться на вопросах, связанных с Болонской школой и школой в Лонжюмо. Упомянем лишь о том, что т. Лившиц совершенно обходит молчанием ту борьбу, которая завязалась вокруг впередовской школы на январском пленуме ЦК в 1910 г., когда впередовцы нашли самую энергичную поддержку со стороны Мартова и Троцкого, настаивавших, против большинства пленума, на партийной санкции этого фракционного предприятия.

Рассказывая о занятиях в Болонской школе, т. Лившиц совершенно не вскрывает того факта, что участие в ней ликвидаторов и Троцкого, по существу, означало подготовку того антибольшевистского блока, который нашел свое

завершение в так называемом «августовском блоке».

Сказанного, думается, достаточно, чтобы демонстрировать тот беспартийный, «внефракционно»-обывательский подход к партийной истории, который отличает книжку т. Лившица.

В заключение—несколько частных замечаний.

На протяжении всей книжки производит весьма неприятное впечатление тон дурного популяризаторства, которым она написана. Однако, в отдельных местах, это популяризаторство переходит в явную вульгаризацию ленинизма.

Так, напр., формулируя различие отзовистов-ультиматистов и «ленинцев»[1], т. Лившиц пишет о том, что первые «считали, что партия должна держать курс на новую революционную волну, готовиться к вооруженному восстанию» и т. д., в то время как ленинцы полагали, «что до новой революции далеко»... (сс. 6 и 7). Так изображать позицию Ленина и большевиков—это значит писать злостную и политически безграмотную карикатуру на большевизм, обнаруживать полное непонимание сути большевизма.

Недопустимым упрощенчеством страдает точно так же и характеристика ликвидаторов, даваемая т. Лившицем. По его словам, ликвидаторы признавали «только использование» «легальных возможностей» и считали «ненужным самое существование нелегальной партии». И это все? Нам кажется, что ограничиться таким определением ликвидаторства точно так же значит не понять сущности его.

Попадаются в книжке и прямые фактические ошибки, как напр., сообщение о том, что большевики и меньшевики официально заявили о роспуске своих фракций на пленуме ЦК в январе 1910 г. (с. 10). В действительности меньшевики ничего подобного не заявляли.

Можно было бы привести еще целый ряд, по меньшей мере, двусмысленных заявлений, недоговоренностей и т. д., которые идут все в одном и том же направлении: не вскрывают принципиального содержания борьбы, тем самым смягчая суть оппортунизма и затушевывая смысл и значение большевистской непримиримости.

На протяжении всей книжки (с. 10, 134, 136) автор упорно характеризует Пражскую конференцию 1912 г. не как общепартийную, а как большевистскую, повторяя эту сплетню, пущенную в свое время ликвидаторами и впередовцами.

Итог: книжка т. Лившица—ненужная и вредная книжка. Тот конкретный материал из старых документов, который в ней перепечатан, может быть полезен для подготовленного читателя, которого не собьет «внефракционное» изложение т. Лившица, но такой читатель мог бы непосредственно обратиться к старым номерам «Пролетарской революции», где были в свое время помещены отдельные главы работы т. Лившица. Переиздание же ее в виде научно-популярной книжки — очевидно, для массового читателя — безусловно вредно, так как она дезориентирует читателя, дает ему обывательское представление об истории большевизма, извращает наше партийное прошлое, приучает к беспартийному подходу в политических вопросах, воспитывает — на уроках прошлого—примиренческое отношение ко всякого рода оппортунизму.

Н. Войтинский.

[1] Автор почему-то упорно, на протяжении всей книжки, пользуется этим термином, носившим в то время явно фракционный характер: и ликвидаторы, и впередовцы употребляли его для того, чтобы противопоставить Ленина и его сторонников—«истинным большевикам»—впередовцам.

МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦИИ СОЮЗА ССР.

Второй сборник статей, изд. Музея, М., 1929 г., с. 179, ц. 1 руб.

В № 11 «Историка-Марксиста» мы указывали на недостатки методической работы Музея революции СССР[1]. После этого вся работа музея нашла себе оценку в резолюции, принятой на распорядительном заседании Института Ленина по докладу Комиссии по изучению работы музея: «Отсутствие подлинной большевистской целеустремленности и, наоборот, наличие «об'ективности» беспартийного историка революции—вот чем характеризуется в основном установка музея и вот что должно быть устранено для того, чтобы музей действительно превратился в очаг не массовой пропаганды революции вообще, а большевисткой массовой пропаганды революции пролетариата»[2].

[1] «К вопросу о методике историко-революционных экскурсий», «И.-М.», № 11. с. 152—156.

[2] «Пролетарская Революция» № 6 (89), за 1929 г., с. 244.

Яркой иллюстрацией этого с разных сторон констатированного неблагополучного положения в музее революции является рецензируемый сборник. Передовая статья С. И. Мицкевича—«Пятилетие Музея революции Союза ССР и ближайшие перспективы его работы»—представляет собой простое перечисление отдельных работ и мероприятий, проделанных музеем в 1927—28 гг. Перспективы музея, по статье, сводятся к жалобам на темноту помещения и к выводу, что «важнейшей ближайшей потребностью Музея революции для того, чтобы возможно лучше и полнее разрешить его задачи, является постройка соответствующего здания» (с. 10). Правда, т. Мицкевич говорит еще и о том, что «Музей ближайшими задачами своими ставит..... усовершенствование техники экспозиции и выявления тех элементов движения, которые еще недостаточно выявлены; далее, улучшение массовой работы по усилению ее связи с современностью» (с. 10). Но эта пресловутая «связь с современностью» в руководящей статье сводится к благому пожеланию—«будут выявлены уклоны в нашей партии с 1917 года» (с. 6) и к декларации, что «установка нашего музея не академическая, а политическая. Мы не показываем пугачевщину, декабристов, народников, социал-демократическое движение, первую революцию и пр. «об'ективно», вне связи с современностью. Нет, мы рассматриваем все наше прошлое в связи с современностью, ищем корней нашей современности в прошлом и выносим из прошлого уроки для современности, для нашей будущей борьбы за мировую революцию» (с. 6—7).

Эта декларация, долженствующая подчеркнуть, что на музейной «Шипке все спокойно», опровергается не только вышецитированной резолюцией Института Ленина, но и всем содержанием настоящего сборника.

Основным отличием нашего большевистского Музея революции от близких по типу музеев Зап. Европы должна быть в первую очередь его политическая целеустремленность, его превращение в орудие пропаганды ленинизма. Тов. Мицкевич подходит к этому делу несколько иначе. Перечислив посещенные им летом 1928 г. музеи Парижа, Праги и Берлина, он пишет: «Каждый из них своеобразен и интересен, но наш Музей, приближаясь по музейной технике к музеям Запада, выгодно отличается от вышеуказанных музеев научностью разработки и систематичностью в расположении своих материалов» (с. 10). Это и есть тот «исторический об'ективизм, с которым отображается, иллюстрируется и комментируется Музеем история революционного движения», о котором говорит резолюция Института Ленина.

Две исследовательские статьи сборника—Н. М. Дружинина «Массонские знаки П. И. Пестеля»» и О. А. Ивановой «Материалы к истории Шлиссельбургской крепости» как раз и являются конкретным показателем этого «исторического об'ективизма». По содержанию сугубо об'ективные, описательные, переполненные пиэтетом к мелочам прошлого, эти статьи с таким же успехом могли быть напечатаны в любом либеральном издании до революции.

Эти статьи, являющиеся, очевидно, лучшими образцами научно-исследовательской работы Музея за 2 года, прошедшие со времени выхода первого Сборника, находятся в вопиющем противоречии с утверждением т. Мицкевича, что «мы рассматриваем все наше прошлое в связи с современностью».

Статьи М. Зиссельман—«Украинские музеи революции» и Р. Левиной—«Опыт работы передвижной выставки Музея революции Украинской ССР» представляют собой заметки об украинской музейной работе. Опыт Украинского музея революции по работе с передвижными выставками представляет несомненную ценность, который может и должен быть использован в работе с передвижными выставками не только историко-революционного типа.

Для музейного работника будет небесполезна статья Н. Г. Бережкова—«Музейный учет историко-революционных материалов», как практическое пособие в музейной работе.

Н. В. Романовская в статье «Бытовой историко-революционный музей (подпольная типография 1905 г.)» старается не только дать методические указания по работе музея, но пытается подняться на некую принципиальную высоту и дать обоснование основной установке историко-революционных музеев. Из статьи Н. Романовской мы узнаем, что задачи этих музеев заключаются в том, чтобы «увековечить весь долгий тернистый путь революционной борьбы трудящихся масс, революционных организаций и отдельных личностей революционеров» (с. 50). При сравнении с приведенной выше установкой Музея, данной Институтом Ленина, настоящая формулировка прекрасно иллюстрирует основной недостаток в работе Музея ре-

волюции—отсутствие подлинной большевистской целеустремленности.

Н. Романовская не ограничивается только тем, что формулирует установку для Музея революции. В роли теоретика и законодателя историко-революционного музейного творчества она дает установку и для Музея Ленина. По ее мнению, стержневая установка этого музея ограничена «личностью и деятельностью вождя революции, революционера, его биографическими данными и историей учения» (с. 51). Замечательная иллюстрация к положению С. И. Мицкевича насчет «вынесения из прошлого уроков для современности, для нашей будущей борьбы за мировую революцию».

На печальные размышления наводит этот юбилейный, выпущенный к пятилетию Музея революции сборник. Скорейшее выполнение принятых Институтом Ленина решений становится насущнейшей политической задачей.

Л. Мамет.

Х Р О Н И К А

В ОБЩЕСТВЕ ИСТОРИКОВ-МАРКСИСТОВ

КОМИССИЯ ПО ИСТОРИИ ПРОЛЕТАРИАТА ПРИ ОБЩЕСТВЕ

Комиссия по изучению истории пролетариата СССР была создана по решению Всесоюзной конференции историков-марксистов, на которой был заслушан доклад т. Панкратовой: «Основные проблемы истории рабочего класса». Конференция отметила необходимость систематического научного исследования отдельных этапов исторического прошлого рабочего класса СССР, его происхождения, его социологического облика, эволюции его экономического положения, его исторической борьбы на пути к завоеванию и утверждению пролетарской диктатуры. Именно в этом направлении и оформила свою программу специальная комиссия, созданная 15 мая при О-ве историков-марксистов, в составе следующих тт.: т. Покровский (председатель), т. Панкратова (ученый секретарь) и члены: Анатольев, Горин, Кривошеина, Невский, Максаков, Милонов, Мартов, Пионтковский, К. Сидоров, Татаров, Шестаков, Яроцкий, Меламед, Томсинский.

Комиссия разработала обширный план научно-исследовательской работы, который целиком вошел в план работы аналогичной секции Института истории, как только он был создан осенью 1929 г. Большая часть работников комиссии вошла в состав секции Института в качестве его штатных или внештатных научных сотрудников.

В начале академического 1929/30 г. между секцией Института и комиссией Общества произошла диференциация. Вся исследовательская работа сконцентрирована в секции Института, а вся общественно-научная и массовая работа — в комиссии Общества.

После этого разграничения работа комиссии развернулась в следующих направлениях:

а) в направлении выявления об'единения и оформления всей научно-исследовательской работы по истории рабочего класса и рабочего движения в СССР посредством установления деловой связи с теми учреждениями и организациями, которые ведут или подготовляют исследовательскую и научно-общественную работу в данной области, и

б) в направлении постановки и обсуждения докладов членами комиссии или специально привлекаемыми научными работниками как на заседаниях комиссии, так и на организуемых комиссией массовых собраниях и заседаниях.

Исходя из этих двух задач, комиссия провела и наметила следующую работу.

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

В первую очередь были выяснены те научные кадры, которые могут и должны быть сгруппированы вокруг основного ядра комиссии. Членов Общества, принимающих то или иное участие в работе комиссии, привлечено 60 человек и не-членов О-ва — до 40 чел. Последние являются главным образом работниками Истпрофов, ЦК и губотделов профсоюзов, Истпартов, музеев, архивных и тому подобных учреждений. Таким образом, комиссия имеет довольно значительный актив, прочно связанный с ней и регулярно посещающий доклады на открытых собраниях комиссии. Второй задачей комиссии является организация комиссий по истории пролетариата в провинции. Трудности реализации этой задачи заключаются прежде всего в отсутствии или слабой организованности провинциальных отделений общества историков-марксистов. Тем не менее. уже в настоящее время организованы и функционируют комиссии в Ленинграде, Нижнем-Новгороде, Минске, Смоленске, Ростове, Свердловске, Златоусте. В процессе организации находятся комиссии по истории пролетариата и в ряде других городов.

Комиссия установила деловой контакт, а временами и совместную работу с целым рядом организаций и учреждений, задачи которых соприкасаются с задачами комиссий,—в первую очередь

с Истпрофом ВЦСПС, Истпрофами МОСПС, ЛОСПС и ЦК профсоюзов, а также с теми секциями и институтами Коммунистической академии, которые ведут или должны вести смежную с комиссией работу (экономика труда, правовое положение рабочего класса, женский труд и т. п.). В прошлом году комиссия выделила своих представителей в комиссию МК ВКП(б) по изучению состава рабочего класса Московской области и в комиссию МОСПС по монографическому изучению промышленных предприятий. Эту же работу представители комиссии продолжают и в текущем году. Комиссия решила углубить свои связи с рабочей массой, наметив постановку ряда докладов по истории рабочего класса, и особенно по истории отдельных предприятий, на рабочих собраниях, на предприятиях и в клубах как в Москве, так и в провинции. Для облегчения этой работы комиссия устанавливает связи с фабрично-заводскими организациями и ячейками Истпарта и Истпрофа на предприятиях, где таковые имеются, что даст возможность выявить, где возможно и необходимо (по состоянию архивов и других источников) в первую очередь поставить изучение истории рабочего класса и истории предприятия. Представители комиссии принимали участие в работах Всесоюзного с'езда архивных работников, на котором были заслушаны доклады тт. Максакова и Панкратовой: «Архивы как источники изучения истории пролетариата СССР». Намечено участие и постановка доклада об изучении истории пролетариата на Всеукраинской конференции историков-марксистов и на совещании истпрофов при ВЦСПС.

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Научно-исследовательская работа членов комиссии выражается в подготовке и чтении докладов на заседаниях комиссии. В случаях, когда доклады являются интересными и для других секций О-ва или Института, устраиваются об'единенные заседания. В течение октября—ноября были заслушаны следующие доклады:

1. Результаты экспедиции на Урал с целью обследования местных архивов по истории рабочего класса—тов. Кац.

2. Состояние архивных материалов по истории пролетариата СССР—т. Максаков.

3. Методы и материалы монографического обследования промышленных предприятий:

Завод «Серп и молот»—тов. Раковский.

«Трехгорная мануфактура»—т. Рожкова.

4. Рабочие волнения в связи с реформой 1861 г.—т. Нечкина.

5. Рабочее движение 80-х гг.—т. Невский.

На остальные месяцы намечены следующие доклады:

1. Оппортунизм и борьба с ним в профдвижении России—т. Милонов.

2. Проблема конституирования рабочего класса в России—т. Мартов.

3. Рабочие в разиновском движении—т. Томсинский.

4. Рабочий класс в период континентальной блокады в России—т. Злотников.

5. Крестьянская реформа 1861 г. и рабочий класс—т. Нечкина.

6. Рабочий вопрос в партии Народной воли—т. Анатольев.

7. Новые материалы о зубатовщине—т. Милонов.

8. Рабочий вопрос в правительственных комиссиях 1905—7 гг.—т. Гессен.

9. Столыпинская реформа и рабочий класс—т. Панкратова.

10. Рабочий контроль в 1917—18 гг.—т. Фрейдлин.

11. Особенности развития рабочего класса на Урале—т. Бессонова.

12. Рабочие Мальцевских заводов—т. Парадизов.

13. Из истории рабочего класса в Донбассе—т. Скубицкий.

14. Рабочее движение на Урале в 70 гг.—т. Банин.

15. Стачка в СССР—т. Черменский.

16. Фабричная инспекция в царской России—т. Ломтатидзе.

17. Спорные вопросы в истории профдвижения—т. Антошкин.

18. Железнодорожники в революции 1905 г.—т. Ростов.

19. Революционное движение в Курских ж.-д. мастерских—т. Гуляев.

III. НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

В ближайшие 2 года комиссией будет издан научно-популярный двухтомник по истории рабочего класса в СССР.

I том. Рабочий класс в дореволюционной России (размер 30 печат. листов. Срок издания I тома—конец 1930 года).

1. Возникновение рабочего класса (рабочий класс крепостной России)—т. Нечкина.

2. Развитие крупной промышленности и рабочего класса во второй половине XIX века—т. Симоненко.

3. Пролетариат окраин царской России—т. Ясинский, т. Драбкина.

4. Идейно-классовое оформление пролетариата накануне 1905 г.—т. Панкратова

5. Стачечное движение в 1905 г.—т. Пионтковский.

6. Рабочие организации в 1905 г. (Советы и профсоюзы) — т. Кривошеина.

7. Рабочий класс в период реакции—т. Граве.

8. Рабочий класс в период нового революционного под'ема—т. Граве.

9. Рабочий класс в период войны—т. Чаадаева.

10. Рабочее движение в 1917 г. (до Октября)—т. Сидоров К.

11. Советы и рабочий класс в 1917 г.—т. Горин.

12. Профессиональное движение (в 1905—1917 гг.)—т. Милонов.

13. Рабочее законодательство царской России—т. Татаров.

14. Женский труд в царской России—т. Рязанова.

15. Мелкобуржуазные партии и рабочий класс—т. Горев.

16. Большевики и рабочий класс (роль партии в «большевизации» массового движения и в оформлении идеологии рабочего класса)—т. Невский.

II том. Рабочий класс при диктатуре пролетариата. (Размер—20 печатн. листов, срок выхода в свет—1931 год).

1. Октябрьская революция и рабочий класс—т. Горин.

2. Рабочий класс в эпоху военного коммунизма—т. Минц.

3. Рабочий класс в гражданской войне и при контрреволюционных правительствах—тт. Пионтковский и Гуковский.

4. Рабочий класс при переходе к новой экономической политике—т. Анатольев.

5. Состав рабочего класса СССР—т. Маркузон.

6. Экономическое положение пролетариата в период нэпа—т. Яроцкий.

7. Профдвижение после Октября—т. Милонов.

8. Рабочее образование и формирование рабочей интеллигенции после Октября—т. Мартов.

9. Рабочий класс в социалистическом строительстве (в организации и управлении, социалистическом соревновании и т. п.)—тт. Баранов и Краваль.

10. Безработица в СССР—т. Маркус.

11. Рабочее законодательство в СССР—т. Войтинский или т. Тетенборн.

12. Женский труд в СССР—т. Рязанова.

13. Рабочая печать при диктатуре пролетариата—т. Нюренберг.

14. Партия и рабочий класс в эпоху диктатуры пролетариата.

РЕЗОЛЮЦИЯ

О-ва историков-марксистов по докладу тов. Максакова

Заседание от 29 декабря

Общее собрание О-ва историков-марксистов, заслушав сообщение тов. Максакова об обнаруженных в Академии наук архивных материалах, выражает свое негодование по поводу их сокрытия в течение ряда лет руководителями Академии.

Собрание оценивает сокрытие материалов, имеющих актуально-политическое значение, как явление политической контрреволюции и научного вредительства.

Собрание считает необходимым привлечение к ответственности всех лиц, причастных к этому контрреволюционному акту, и поставить всю работу Академии наук под тщательный и широкий контроль общественных и научных организаций.

Собрание считает совершенно недопустимым хранение архивных материалов в Академии наук или в другом учреждении вопреки существующим законоположениям.

Собрание предлагает всем членам О-ва историков-марксистов оказать всяческое содействие органам Центрархива по выявлению хранящихся в научных учреждениях и организациях и у отдельных лиц архивных материалов, подлежащих передаче Центрархиву.

В ИНСТИТУТЕ ИСТОРИИ ПРИ КОМАКАДЕМИИ

СЕКЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ

Секция методологии истории в отличие от прочих секций Института не имела подобной организации в О-ве историков-марксистов. Поэтому секция не могла опереться на чью-либо предыдущую деятельность в отношении подготовительной работы и подбора работников. Нет аналогичной организации в обществе и сейчас, за исключением Социологической секции, работа которой в некоторых областях примыкает к работам Секции методологии.

Исходя из этого положения Секция методологии должна вести не только научно-исследовательскую работу, но в первую очередь выявить всех работников-марксистов в области методологии истории.

Работа секции охватывает следующие разделы: 1) методология истории в западноевропейской литературе, особенно в области критики буржуазных теорий; 2) основные проблемы марксистского понимания методологии истории; 3) вопросы историографии; 4) вопросы техники исторического исследования. Секция сконструировалась в составе: председатель—М. Н. Покровский, секретарь—И. Л. Татаров, кроме того членами бюро состоят А. Д. Удальцов, Ц. Фридлянд, С. С. Кривцов.

По первому разделу намечены работы о Допше, о Трельче, о Максе Вебере, о Зомбарте, о Михельсе.

Доклад на тему «Марксизм как методология истории в оценке западноевропейской историографии» (Ц. Фридлянд) поставлен на торжественном заседании Института истории.

В ближайшее время будет поставлен доклад А. Д. Удальцова о Допше. Совместно с Социологической секцией О-ва и Секцией исторического материализма Института философии будут поставлены доклады об общей теории общественных формаций, о феодализме, проблеме генезиса торгового капитала, проблеме образования наций и национального государства.

В отношении историографии секция намечает разработку следующих проблем: Маркс и Энгельс как историки; Ленин как историк; Плеханов как историк; Рожков как историк.

В области техники исторического исследования секция собирается на первых порах поставить специальный доклад об источниковедении.

Секция намечает следующий издательский план:

1. Сборник «Методология истории в западноевропейской литературе» (2 тома избранных отрывков).
2. Сборник статей о формациях (совместно с Социологической секцией).
3. Сборник статей против буржуазных теорий в области методологии истории.
4. Сборник статей о Допше.

СЕКЦИЯ ПО ИСТОРИИ ПРОЛЕТАРИАТА СССР

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОСТАВ СЕКЦИИ

Секция по изучению истории пролетариата СССР Института истории организована в составе 12 штатных и 8 внештатных действительных членов и научных сотрудников Института истории. Кроме того, в работах секции принимают участие аспиранты старших курсов Института истории и слушатели ИКП. В общем, секция имеет сплоченную группу товарищей, принимающих активное участие в ее работе. Персональный состав секции: действительных членов—10: Горин, Горев, Гайстер, Кривошеина, Невский, Милонов, Мороховец, Панкратова, Пионтковский, Яроцкий; научных сотрудников—10: Граве, Гуковский, Драбкина, Нечкина, Максаков, Мартов, Сидоров Кузьма, Чаадаева, Ясинский; слушателей ИКП и аспирантов Института истории—10: Гудошников, Гайсинович, Анатольев, Зельцер, Малаховский, Мильштейн, Парадизов, Рожкова, Скубицкий, Симоненко. Таким образом, в составе секции насчитывается 30 товарищей.

Все члены секции распределены по комиссиям. Таких комиссий в текущем году организовано и функционирует пять: 1) библиографическая, 2) анкетно-биографическая, 3) архивная, 4) редакционно-издательская и 5) комиссия по монографическому изучению истории промышленных предприятий. Общее руководство работой секции осуществляет бюро в составе: тт. Панкратовой (зав. секцией), Чаадаевой (ученый секретарь секции) и 3 членов бюро: тт. Невского, Кривошеиной, Горина.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

В течение октября—ноября состоялось 3 общих собрания секции, 2 заседания библиографической комиссии, 1 заседание анкетно-биографической, 1—архивной и 1—редакционно-издательской ко-

миссии. Комиссия по монографическому изучению промышленных предприятий работала совместно с аналогичной комиссией при МОСПС. В ближайшем будущем совместная работа обеих комиссий будет сосредоточена при секции по истории пролетариата.

На общих собраниях секции был рассмотрен и утвержден план работы секции на год, распределены обязанности между членами секции, рассмотрен и утвержден издательский план, принят ряд организационных мероприятий по выяснению архивных фондов по истории пролетариата, обсужден и утвержден план юбилейного сборника к 25-летию революции 1905 г., разработаны принципы и порядок организации коллективной работы членов секции. Было решено всю работу секции организовать на началах коллективности путем работы в комиссиях и обсуждения на пленарных заседаниях планов индивидуальных монографий членов секции. Кроме того, все члены секции принимают участие в двух коллективных изданиях—двухтомной истории рабочего класса (совместно с комиссией по истории пролетариата при О-ве историков-марксистов) и в юбилейном сборнике «Пролетариат в 1905 г.».

РАБОТА КОМИССИЙ

Библиографическая комиссия, под руководством тт. Невского, Нечкиной и Мороховца, своей задачей ставит разработку плана научной библиографии по истории рабочего класса и рабочего движения, привлечение к этой работе соответствующего кадра работников и подготовку к печати библиографических сборников, по утвержденным в секции и в коллегии Института планам. В течение истекшего года комиссия созвала два совещания, с привлечением крупнейших специалистов-библиографов и представителей лучших библиотек, как библиотеки Комакадемии, Института Ленина, б-ки Ленина, ИКП, б-ки и научного кабинета Истпрофа ВЦСПС и др. В результате обсуждения первоначальный план библиографирования был переработан и переносится на обсуждение и утверждение пленума секции.

Анкетно - биографическая комиссия, под руководством тт. Горева и Чаадаевой, ставит своей задачей разработку методологических оснований для изучения анкетно-биографических материалов, как источника истории пролетариата, разработку анкетных образцов и плана собирания анкетно-биографического материала и его изучения. В целях наиболее углубленной разработки плана этой работы, являющейся первым опытом проверки и методологии использования такого субъективного источника, каким является анкетно-биографический и автобиографический материал, комиссия наметила созыв совещания с участием представителей от Истпарта, Общества старых большевиков, Общества политкаторжан, Истпрофов и ряда персонально приглашенных старых рабочих (беспартийных и партийных). Кроме того, комиссия приступила к подбору и изучению библиографии вопроса и выявлению состояния и степени разработки анкетного материла по отдельным организациям и промышленным предприятиям. Намечается также созыв совещания-собеседования со старыми рабочими, которых удастся выявить в связи с изучением двух предприятий: «Трехгорной мануфактуры» и завода «Серп и молот». В частности комиссия в первую очередь считает целесообразным изучение, путем анкет и автобиографий, дореволюционного рабочего быта и издание наиболее интересных автобиографий рабочих-революционеров.

Архивная комиссия, под руководством тт. Максакова и Татарова, занята выявлением архивных фондов по истории пролетариата и подготовкой большой картотеки, с целью облегчения пользования общеархивными фондами. В плоскости практической постановки вопроса стоит и задача создания единого архива труда.

Комиссия по монографическому изучению промышленных предприятий, под руководством тт. Панкратовой и Гайсиновича, ставит своей задачей разработку методологии и плана работы по изучению истории отдельных промышленных предприятий. Два предприятия («Трехгорная мануфактура» и завод «Серп и молот») являются об'ектом изучения специальной комиссии МОСПС, в которой активное участие принимают и представители секции—тт. Панкратова и Гайсинович. Кроме того, намечены для изучения новые предприятия: Орехово-Зуевская мануфактура и б. Мальцевские заводы.

Редакционно-издательская комиссия, под руководством тт. Граве, Панкратовой и Пионтковского, ставит своей задачей руководство работой по подготовке к печати и редактирование подготовляемого в 1930 г.: 1) юбилейного

сборника к 25-летию революции 1905 г. и 2) издание монографии по истории пролетариата СССР. План сборника «Пролетариат в революции 1905 г.».

1. Пролетариат и его роль в революции в исторических концепциях меньшевиков и большевиков—М. Н. Покровский.
2. Русско-японская война и рабочий класс—т. Томсинский.
3. Текстильщики и революция—тов. Панкратова.
4. Металлисты в 1905 г.—т. Булкин.
5. Железнодорожники в 1905 г.—тов. Таняев.
6. Печатники в 1905 г.—т. Ростов.
7. Движение сельхозрабочих—т. Шестаков.
8. Рабочее движение в Польше—т. Ясинский.
9. Рабочее движение в Прибалтике—тт. Крастынь и Мишке.
10. Рабочее движение на Украине—т. Скубицкий.
11. Рабочее движение на Кавказе—т. Драбкина.
12. От стачки к восстанию (процесс и формы перерастания)—т. Кривошеина.
13. Буржуазия и рабочий класс—т. Сеф.
14. Классовая борьба в правительственных комиссиях по рабочему вопросу—т. Милонов.
15. Политические течения в профдвижении 1905—07 гг.—т. Мильштейн.
16. Мелкобуржуазные партии и пролетариат—т. Горев.
17. Большевики и массовое движение пролетариата—т. Невский.
18. Рабочая печать в 1905 г.—т. Баевский.
19. Контрреволюция и рабочий класс—т. Татаров.
20. Влияние всеобщей октябрьской стачки на международное рабочее движение—т. Бантке.

Статьи должны быть сданы не позже июня 1930 г. Сборник будет выпущен в октябре 1930 г. Размер статей от 2 до 3 печ. листов. Общий размер сборника 25 п. л.

МОНОГРАФИИ ПО ИСТОРИИ ПРОЛЕТАРИАТА В СССР

В текущем 1929/30 г. будут подготовлены к печати следующие монографии.

1. Ликвидаторство—т. Граве.
2. Реформа 1861 г. и рабочий класс—т. Нечкина.
3. История польского пролетариата (I часть)—т. Ясинский.

Кроме того, в этом же году работниками секции намечены и разрабатываются в целях издания монографий в будущем 1930/31 году следующие темы:

1. Советы в 1917 г.—т. Горин.
2. Столыпинщина и рабочий класс—т. Панкратова.
3. Политика белых правительств по рабочему вопросу—т. Гуковский.
4. Рабочий класс России в период империалистической войны — т. Чаадаева.
5. Петроградский совет в 1917 г.—т. Кривошеина.
6. Советы рабочих депутатов в первый период Октябрьской революции—т. С. Пионтковский.
7. Советы в эпоху военного коммунизма—т. В. Антонов.
8. Происхождение рабочего класса—т. Симоненко.
9. Рабочие вотчинных фабрик—т. Гудожинков.
10. История Мальцевских заводов—т. Парадизов.
11. Рабочий класс Донбасса—т. Скубицкий.
12. История Трехгорной мануфактуры—т. Рожкова.

Темы, намеченные другими сотрудниками секции, будут выявлены дополнительно.

ДОКЛАДЫ

В связи с работой отдельных комиссий и отдельных работников секции намечен ряд докладов на пленуме секции и на ее открытых собраниях. Часть этого плана докладов проведена в октябре и ноябре 1929 года, а именно:

1. Архивы как источник изучения истории пролетариата—т. Максаков
2. Материалы экспедиции по обследованию источников истории пролетариата на Урале—т. Кац.
3. Опыт изучения архива завода «Серп и молот»—т. Раковский.
4. Опыт изучения архива фабрики «Трехгорная м-ра»—т. Рожкова.

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПЛАН ОБСУЖДЕНИЯ ДОКЛАДОВ НА ЯНВАРЬ—МАРТ

1. План монографического обследования предприятий—т. Панкратова.
2. План монографии по истории польского пролетариата—т. Ясинский.
3. Анкетно-биографический материал как один из источников изучения истории рабочего класса—т. Горев.
4. План работы по библиографии истории пролетариата—т. Нечкина.
5. Проблема конституирования рабочего класса в СССР—т. Мартов. (Доклад будет проведен совместно с ко-

миссией по изучению истории пролетариата О-ва историков-марксистов.)

6. Спорные вопросы в истории профдвижения—т. Милонов.

7. План монографии т. Граве «Ликвидаторство».

8. План монографии т. Нечкиной «Реформа 1861 г. и рабочий класс».

9. Проблема деревенского отхода и диференциации деревни при изучении вопроса о составе рабочего класса—т. Гайстер.

10. Об изучении экономического положения рабочего класса (приемы исследования и материалы)—т. Панкратова.

ОБ ИЗДАНИИ ЖУРНАЛА

Кроме того, намечен с января 1930 г. выход специального органа, посвященного истории рабочего класса и рабочего движения. Журнал будет выходить один раз в 3 м-ца по 15 печ. листов каждая книжка.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

«История пролетариата СССР»

Основные разделы

I. Статьи (8—9 п. л. из 15).
II. Документы и материалы (3—4 л.).
III. Критика и библиография (1 п. л.).
IV. Хроника, работа секций и комиссий; конспекты и тезисы докладов (1 п. л.).

Содержание этих разделов

I. Статьи

1. Руководящие и обще-методологические статьи.
2. Статьи, посвященные вопросам конституирования генезиса и состава рабочего класса.
3. Вопросы экономического положения, безработицы, труда и быта.
4. Развитие промышленности в связи с развитием рабочего класса.
5. Экономическая борьба пролетариата (стачки, локауты, конфликты и т. п.).
6. Профессиональное движение (включая вопрос о кассах взаимопомощи, горнозаводских кассах и т. п.).
7. Страховое движение.
8. Рабочая кооперация.
9. Сельскохозяйственный пролетариат.
10. Деревня и рабочий класс (вопросы отхода, приливов и отливов рабочей силы в промышленность из деревни, связь с деревней и т. п.).
11. Рабочее законодательство.
12. Труд детей и подростков.
13. Женский труд.
14. Инонациональный труд.
15. Положение рабочих на окраинах (национальный вопрос и пролетариат).
16. Политическая борьба пролетариата и революционное движение (в связи с вопросами массового рабочего движения).
17. Вопросы формирования идеологии пролетариата.
18. Партия и рабочий класс.
19. Вопросы труда и быта современного пролетариата в связи с историей этих вопросов.
20. Биографический и автобиографический материал, касающийся отдельных рабочих, групп рабочих или предприятий, интересный как источник для истории рабочего движения.

II. Документы и материалы

1. Архивные материалы из местных и центральных архивных фондов, полностью или в извлечениях, с обработкой и примечаниями. Сводки и выдержки из документов.
2. Архивные материалы, сводки и описания фабрично-заводских архивов.

III. Критика и библиография

Критические статьи, рецензии, обзоры журналов, новые книги, сводки работ по истории пролетариата.

IV. Хроника и работа секции и комиссии по истории пролетариата при Об-ве историков-марксистов.

Заметки, планы работ, тезисы, содержание докладов и т. п.

СЕКЦИЯ ПО ИСТОРИИ ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛИЗМА.

Секция по истории промышленного капитализма Института истории организована в составе 10 действительных членов и 12 научных сотрудников, штатных и внештатных. Кроме того, в работах секции принимают участие аспиранты старших курсов Института истории. В целом, секция имеет группу в количестве 25 человек, принимающих активное участие в ее работе. В бюро секции входят: т. Лукин (председатель), т. Моносов, т. Косминский и т. Авербух (секретарь).

Секция ставит своей задачей изучение следующих вопросов: 1) теоретико-

экономической проблемы промышленной революции и промышленного капитализма; 2) экономической истории по странам; 3) изучение политической истории: проблема абсолютизма и буржуазных революций, в частности французской революции конца XVIII в., буржуазных революций XIX в. на Западе и в России; 4) исследование рабочего движения в эпоху промышленного капитализма и идеологии этой эпохи.

Все члены секции распределены по группам. На заседаниях групп и на пленарных заседаниях обсуждаются планы индивидуальных работ членов секций.

В текущем учебном году организованы 3 группы: 1) группа по изучению промышленного переворота на Западе и в России; 2) группа по изучению Великой французской революции; 3) группа по изучению буржуазных революций XIX века.

1. Группа по изучению промышленного переворота, под руководством Моносова, ставит своей задачей разработку методологии изучения промышленного переворота, экономической истории различных стран в эпоху промышленного переворота, изучение проблемы массовых движений и положения рабочего класса. Группа ставит своей задачей разработку плана научной библиографии и составление библиографических сборников по истории промышленного переворота.

Группа ставит своей задачей опубликование документального материала, освещающего различные проблемы промышленного переворота.

2. Группа по изучению Великой французской революции, под руководством Удальцова, ставит своей задачей изучение различных проблем Великой французской революции. Своей основной задачей она считает исследование социальных движений эпохи Великой французской революции, в частности изучение отдельных вопросов, связанных с движением бабувизма.

3. Группа по изучению буржуазных революций первой половины XIX в., под руководством Мильмана, в составе Звавича, Нечкиной, Авербух и Знаменского, ставит своей задачей научную разработку буржуазных революций XIX в. как на Западе, так и в России. Она ставит также своей задачей изучение влияния западно-европейских революций на революционное движение в России и рассмотрение проблемы массовых движений в эпоху буржуазных революций.

В текущем 1929/30 учебном году будут подготовлены следующие монографии: 1) Лукин-Антонов, Парижская Коммуна, новое переработанное издание; 2) Фридлянд, Жан-Поль Марат; 3) Мильман, Декабрист Пестель; 4) Фрейберг, Международные отношения России и Франции во второй половине XVIII в.; 5) Авербух, Русская интервенция в Венгрии в 1849 году.

Помимо отдельных монографий предположено издать: 2 сборника документов по промышленному перевороту на Западе и в России; сборник документов «Русско-американская компания»; коллективный сборник статей по Великой французской революции.

ДОКЛАДЫ

В связи с работой отдельных комиссий и отдельных работников секцией намечен ряд докладов на пленуме секций и на ее открытых собраниях.

ДЕКАБРЬ

1. Ф. Потемкин, Детский труд в эпоху промышленной революции во Франции (доклад будет проведен совместно с секцией западного общества историков-марксистов).

2. М. Нечкина, План монографии «Массовое движение в эпоху промышленного переворота».

ЯНВАРЬ

1. Н. Лукин, Продовольственная политика Конвента и классовая борьба в деревне в эпоху II и III максимума.

2. А. Аннекштейн, Педагогические идеи и педагогическая система Роберта Оуэна.

ФЕВРАЛЬ

1. А. Васютинский, Французское франк-массонство накануне революции.

2. В. Добрер, Гракх Бабеф и Гракх Вилят.

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

Социологическая секция Института истории поставила главной своей задачей в области научно-исследовательской работы изучение конкретных докапиталистических формаций. Основное направление работы в текущем году идет по линии изучения проблемы разложения родового строя и генезиса классового (и в частности феодального) общества. Второй цикл проблем связан с изучением генезиса и начальных форм развития религии и, наконец, третий

цикл посвящен изучению генезиса капитализма.

Что касается первого цикла, то здесь сосредоточены главные силы секции, и намечается разработка целого ряда отдельных тем.

Секцией утверждены следующие темы: В. Никольский, Проблема доклассового общества; П. Кушнер, Разложение родовой организации у кара-киргиз и казаков-киргиз; С. Токарев, Хозяйственные технические условия возникновения родовой организации (материнский род на примере меланезийцев); М. Косвен, Происхождение материнского рода; С. Токарев, Сохранение родовых отношений в классовом обществе (на примере Китая); М. Маркелов, Родовой строй у угро-финских народов; П. Преображенский, Проблема образования ранних форм государства; М. Косвен, Ранние формы политических организаций у народов Кавказа.

Разработку второго цикла социологическая секция решила проводить совместно с комиссией по изучению религии при Комакадемии. Совместно с этой комиссией уже разработан общий план научно-исследовательской работы. Здесь выделены отдельные группы по следующим проблемам:

1) происхождение религии (в группу входят: тт. П. Преображенский, Никольский, Лукачевский, Токарев, Рожицын, Урсынович и Авербух);

2) происхождение монотеизма (в группу входят: тт. П. Преображенский, Урсынович, Ерусалимский, Никольский, Токарев, Гуров, Рожицын и Капелюш);

3) верования народов СССР в связи с проблемой разложения родового строя (в группу входят: тт. Маркелов, Токарев, Урсынович, Толстов и Худадов);

4) религия раннего капитализма. Эта группа еще не окончательно сформирована, и самая постановка ее работ пока проблематична. Группа начнет действовать лишь после того, как удастся наладить коллективную научно-исследовательскую работу секции в области изучения проблемы генезиса капитализма.

Совместная работа социологической секции и комиссии по изучению религии при Комакадемии будет начата вводным докладом т. Лукачевского на тему о методологии изучения генезиса религиозных форм.

Независимо от этого общего плана работ в области изучения религии социологическая секция утвердила следующие индивидуальные работы отдельных своих членов:

1) П. Преображенский, Генезис ранних религиозных форм в связи с социальной ролью жречества;

2) М. Маркелов, Религиозные верования народов Волго-Камского бассейна;

3) С. Токарев, Шаманство у народов Сибири и

4) В. Никольский, Проблема анимизма.

Вопрос о коллективном изучении генезиса капитализма еще не окончательно разрешен социологической секцией. По всей вероятности, в текущем году коллективной работы в этом направлении не удастся наладить, и секция ограничится утверждением некоторых индивидуальных тем отдельных своих членов.

Социологическая секция разработала также издательский план. В первую очередь намечается публикация трудов секции как в виде сборников, так и в виде отдельных монографий. Решено также приступить к небольшой серии, посвященной современным буржуазным этнографическим течениям. Предполагается издание нескольких сборников, в которых будут даны переводы наиболее типичных методологических работ современных иностранных буржуазных этнографов. По возможности здесь будут даваться полные переводы целых статей или отдельных небольших монографий; в других случаях придется прибегать к хрестоматийной форме публикации. Сборники, рассчитанные на довольно широкий круг читателей, будут снабжены обстоятельными вводными критическими статьями, а также и примечаниями. Намечается три сборника:

1) немецкая культурно-историческая школа (Ратцель, Фробениус, Гребнер, Шмидт и др.);

2) английская этнографическая школа (Риверс, Пэрри, Эллиот, Смит и др.) и

3) новая американская школа (Боас, Гольденвейзер, Свантон, Лоуи).

В текущем году, повидимому, удастся подготовить к печати один или два сборника.

Укажем в заключение на отдельные научные работы, подготовляемые и осуществляемые социологической секцией.

Летом 1930 г. предположено провести экспедицию в Ср. Азию, в Куня-Ургенчский район и в Персинский район Ташаузского округа. Эта экспедиция, которая будет работать под руководством проф. П. Преображенского, должна будет закончить уже проводившуюся двухлетнюю экспедиционную

работу в этих и смежных районах. В связи с организацией этой экспедиции в ближайшем будущем секция откроет выставку, посвященную итогам первых двух лет работ экспедиции П. Ф. Преображенского.

Кроме экспедиции в Ср. Азию, разрабатывается план этнографической экспедиции на Алтай. Однако в текущем акад. году эта экспедиция вероятно не будет осуществлена, и ее придется перенести на 1931 г.

Наконец, большое значение должна будет иметь библиографическая работа, проделываемая секцией в Институте Маркса и Энгельса. Здесь членами секции производится выяснение тех исторических работ, которые находились в распоряжении Маркса и Энгельса, когда они формулировали свои взгляды на азиатский способ производства, античность, феодализм, крепостничество. Эта библиографическая работа теснейшим образом связана с дискуссией, которая ведется в настоящее время в социологической секции Общества историков-марксистов и которая посвящена изучению проблем формаций. Одновременно производится и составление библиографии работ, которые находились в распоряжении Маркса и Энгельса и легли в основу их высказываний по вопросам генетической социологии.

Ответств. редактор А. В. Шестаков. Ответственный секретарь **И. Л. Татаров.**